

PC
K 93

KII 506072

Петр Куракин

Кипучие

Годы

Петр Куракин

Ключи Годы

Р о м а н

Л е н и з д а т , 1964

Есть люди, биография которых неотделима от биографии народа. К таким людям относится и герой романа Куракина «Кипучие годы».

В маленьком заводском городке Печаткино в канун первой мировой войны начинается нелегкий путь рабочего паренька Яшки Курбатова. С интересом следит читатель за первыми шагами молодого комсомольца, который постепенно вырастает в коммуниста-ленинца, партийного руководителя.

Автор проводит своего героя через тяжкие испытания, порожденные культом личности. Но даже и в самые трудные дни Яков Курбатов не теряет достоинства коммуниста, твердой веры в партию, в победу ленинской правды.

Исправленное и дополненное издание романов
«Жизнь побеждает» и «Кипучие годы»

Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле...

А. Твардовский.
За далью даль.

КНИГА ПЕРВАЯ

ДАЛЕКАЯ ЮНОСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Тородская окраина больше напоминала деревню: те же рубленые избы, те же колодцы с «журавлями», ограды палисадников и сладковатый, с малых лет знакомый Яшке запах свежего хлеба и парного молока. Быть может, поэтому он и любил тихую Духовскую улицу, заросшую по краям огромными, серыми от дорожной пыли лопухами, и терялся всякий раз, попадая на шумную базарную площадь или в вокзальную толчею.

Здесь, на Духовской, всегда было спокойно, и жизнь, казалось, всегда текла неторопливо, не изменяясь в своем течении. Разве что только подгулявшие мастеровые заведут поздним вечером нестройную песню, переполошат слободских псов, — и снова тишина, и слышно, как далеко-далеко, на другом конце города, перекликаются маневровые паровозы...

У дяди Яшка жил уже второй год и вспоминал о матери только тогда, когда тетка говорила, отворачиваясь:

— И не дерет тебе кусок рта? Кукушка — мать у тебя...

После таких слов Яшка долго не мог уснуть и, лежа в углу на своем сеннике, всматривался в темноту, слушал, как за стеной, в хлеву, тяжело ворочается и вздыхает хозяйская корова. И ведь не удерешь никуда.

Дядя Коля — брат матери — работал в депо паровозным машинистом. Длинный, немного сутулый, будто стесняющийся своего роста, человек, с огромными, похожими на грабли, руками, он по-своему любил и по-своему жалел Яшку, и когда Аннушка принималась за свое «не дерет тебе кусок рта», он только молча подмигивал племяннику: мол, не слушай ты ее, вздорную бабу. Аннушка и на самом деле была вздорной; иногда Яшка просыпался по ночам от ее неприятного, резкого голоса:

— Где ты всё шляешься? Погубить нас хочешь, ирод? Куда я с двумя ребятами денусь? По миру хочешь пустить?.. У, аспид.

Дядя отмалчивался, хмурился, но когда жена расходилась особенно яростно, пытался уговорить ее:

— Да чего ты кричишь-то? Ну, посидел с ребятами, поговорил... Так уж за это и в тюрьму, что ли, посадят?

Уговорить Аннушку было невозможно; дядя махал рукой и шел спать, но долго еще слышались громкие всхлипывания и злые слова...

Раз в месяц дядя, тишайший человек, запивал, и хотя в слободе пили все, часто и помногу, но так люто не пил никто. Дядя загуливал бесшабашно и пил всё: денатурат, политуру, одеколон — лишь бы пахло спиртом. Во хмелю он был буен, правда, не дрался, не избивал жену, как другие, но зато ломал и рвал всё, что попадалось под руку. Потом отходил и начинал ругаться; ругал всех — жену, начальство, царя, и присмиревшая Аннушка сидела на лавке, беспомощно сложив на коленях больные от вечной стирки руки, сидела молча, только иногда прося шепотом:

— Тише ты, родненький... Тише про царя-то.

Единственной радостью Яшки были друзья. Здесь, на Духовской, жили такие же ребята, как и он сам, — чумазы, сытые только по праздникам и, быть может,

потому близкие Яшке. Временами на улице раздавался пронзительный тройной свист, и Яшка, чем бы он ни был занят, бросал всё: три свистка — бой с екатерининцами...

На соседней, мощенной булыжником, Екатерининской улице, где вечерами зажигались фонари, жил разный, но по большей части богатый народ. Ватагу ребят с Екатерининской возглавлял сын пристава — Генка. Щеголеватый гимназист, он первым выходил на Духовскую и, раскручивая над головой лакированный ремень с пряжкой, кричал:

— Эй, золоторотцы! Идите, вымоем.

Если попадало «духовчанам» — Генка ликовал, но когда побитыми оказывались «екатерининцы» — на Духовской появлялся пристав, Генкин отец. Заходил он и к дяде Коле, грозя штрафами «за щенка»; это давало Аннушке повод сказать лишний раз о куске хлеба и о том, что мать у Яшки — кукушка.

Но к осени у ребят с Духовской появились совсем другие дела...

Там, где дорога, выбравшись из слободы, пересекала поле и сворачивала к лесу, на скорую руку были выстроены длинные серые, с крохотными оконцами бараки. Никто не знал, зачем они здесь появились и почему натянута на кольях колючая проволока. Лишь когда в один из ненастных дней прошла по Духовской колонна грязных, измученных людей в куцых серо-зеленых шинелях, все поняли: лагерь. Пленные шли мимо молчаливых жителей слободы, пряча глаза и боязливо оборачиваясь; толпа ребятишек бежала за ними поодаль, не обращая внимания на лужи; женщины, проводив взглядом пленных, начинали робко вытирать глаза.

Не прошло и недели, как ребята уже подбирались к лагерю. В воскресенье лагерники не работали, и из бараков доносились негромкие, грустные песни. Яшка прислушивался к незнакомым словам и говорил Паше Залевину:

— Слышишь — поют... Подойдем поближе?

— Боязно. Поймают — бить будут.

И всё-таки знакомство состоялось...

С обеих сторон забора, выстроенного позади бараков, рос мелкий кустарник. Здесь ребята и проделали

лаз. Пленные германцы оказались не такими уж страшными, как об этом говорили. Некоторые из них искусно плели из конского волоса с бисером кольца, браслеты и сережки, а один даже сплел стек, который мальчуганы продали за три рубля сыну купца Свешникова. Солдаты давали мальчишкам свои изделия для продажи, а те приносили им конский волос, бисер, ветки рябины для дудок... На этой «коммерции» ребята немного зарабатывали. Новое знакомство было для Яшки первым толчком для долгих раздумий. Однако, чем больше он думал, тем безнадежней запутывался в своих мыслях.

Вот, например, Франц... Он часто вынимал из кармана помятую фотографию и показывал ребятам; на темном фоне отчетливо выступали две кудрявые, ясноглазые детские головки.

— Клеба, клеба им нато! А папа ин руссиш пльен. Ирма, Марта — кушать ньет.

Он прятал фотографию и, встав, медленно уходил в барак, не оборачиваясь... Яшка, ложась дома спать, думал: «Зачем война? За веру, царя и отечество. А зачем же тогда надо всем воевать? Раз за веру, собрались бы все попы и монахи с одной и другой стороны и подрались бы. Чья возьмет — того и вера будет. Раз за царя — вышли бы Вильгельм, Николай со своими министрами и подрались бы на кулачках. Кто кого положит, тот и будет главным царем. А вот за отечество?..» — здесь его мысли путались окончательно. Однажды, не выдержав, он спросил о войне у дяди, когда Аннушки не было дома. Тот, внимательно поглядев на Яшку, неожиданно протянул к нему свои длинные руки, прижал к куртке, пахнувшей коксом, и сказал:

— Мал ты еще, брат, не поймешь... Только ведь и отечество бывает разное. Вырастешь — узнаешь.

Однако это знакомство с пленными оказалось для Яшки не только источником раздумий...

Конский волос ребята доставали у извозчиков. Как-то раз трое ребят, в том числе и Яшка, шли из лагеря продавать браслеты, сделанные немцами. Возле чайной они увидели несколько пролетов; лошади лениво помахивали длинными, блестящими хвостами. Извозчиков не было, они пили чай. Недолго думая, ребята вытащили складные ножики и начали резать из

хвостов волос. Вдруг раздался вопль Мишки Косолапова:

— Ой, дяденька! Отпусти, больше не буду!

Его держал за ухо здоровенный извозчик. Через секунду Яшка и его приятель Паша Залевин бились в сильных извозчицких руках. Все трое очутились в полицейском участке. Сквозь слезы Яшка не сразу разглядел, кто это стоит перед ними, и вздрогнул, когда откуда-то сверху раздался знакомый голос Генкиного отца:

— Ну, подлецы, что это вы вздумали лошадям хвосты портить? Зачем, голодранцы, резали, ну?

Пристав ударил кулаком по столу. Ребята молчали.

— Что молчите, золоторотцы? Ну-ка, Пашута, покажи им, как цыганы пашут!

Невысокий, коренастый городской вразвалку подошел к Пашке Залевину и провел большим пальцем по его стриженной голове против волоса. Пашка закричал.

— Посмотри, что там у них в карманах, — приказал пристав. — Давай всё ко мне на стол.

И на стол посыпались кольца, браслеты, серьги, сделанные пленными.

Пристав, щуря глаза, повертел в руках эти безделушки и, отойдя к окну, деланно зевнул:

— Значит, с врагами отечества водитесь? Так...

«Откуда он знает?» — тревожно подумал Яшка. А пристав, не меняя позы, величественный в своем серо-голубом мундире, всё говорил тем же тихим, даже, пожалуй, ласковым голосом:

— Научил вас кто-нибудь, а? Да вы не бойтесь, рассказывайте. Или, хотите, я сам вам всё расскажу? Плеточку за три рубля продали? А третьего дня еще на три рубля восемь гривен наторговали? Пять фунтов воблы снесли врагам веры нашей, а?

«Знает, — тоскливо мелькнуло в Яшкиной голове. — Всё знает...»

Пристав, словно наслаждаясь растерянностью ребят, продолжал перечислять дела их с такой точностью, что Яшка, подавив в себе страх, покосился на всхлиывающего Пашку: не он ли сказал? Нет, не он, иначе ему не показали бы «цыгана».

— Ну? — веселился пристав. — Как же теперь? Кто научил, может, скажете?

— Сами мы пошли, — буркнул Яшка.

— Ах сами? Тогда... — он не договорил. Удар обжег щеку Яшки, и, не удержавшись, он упал. Голос пристава гремел сверху:

— Марш отсюда! Брысь! Я еще покажу вам, чертово семя!

Все трое, выскочив из дверей, толкая друг друга, наконец очутились на улице. Внезапно Залевин схватил Яшку за рукав:

— Гляди!

Небрежно сдвинув на затылок фуражку, заложив ногу за ногу, возле забора стоял Генка. Улыбаясь, он глядел на ребят, так же, как и его отец, щурия зеленоватые глаза. Яшка вспомнил, что говорил Генке о их знакомстве с пленными и о нехитрой «коммерции».

— Может, подарите браслетик? — спросил гимназист.

Всё стало ясно: «продал» их Генка.

— Ух, паскуда, доносчик! За сколько продал? Подожди, еще рассчитаемся с тобой!..

Генка презрительно сплюнул в сторону ребят.

А через три дня в класс вошли несколько учителей и отец Николай — преподаватель закона божьего. Ученики поднялись, гремя крышками парт, и застыли; каждый думал о том, не его ли сейчас вытащат к стене, испещренной царапинами, оставленными здесь многими поколениями наказанных ребят.

Однако никого не вызвали. Встав на кафедру, отец Николай воздел руки. Что он говорил — Яшка так и не мог вспомнить позже: что-то о богоотступниках, «об отечестве не радеющих», и о каре земной и небесной. Как сквозь туман донеслись до него слова:

— Иаков Курбатов, признаешь ли ты, что, богоотступничая, презрел и власть божию на земле и отечество свое?

— Отечество бывает разное, — вырвалось у Яшки.

— Что-о? Вон!

Кто-то схватил его за ухо, кто-то толкнул в спину. Он очнулся только тогда, когда чей-то голос крикнул: «Можешь больше не приходить», — и дверь захлопнулась за ним, задребезжав стеклами.

Тихо заскрипели половицы, когда он пошел по длинному коридору. Потом, остановившись, прижался

горящей щекой к холодной стене, глотая подступивший к горлу плотный, неприятный комок.

Двери в учительскую были распахнуты. Яшка, проходя мимо, увидел знакомые, с блестящими застёжками поповские боты. Он был один в коридоре, в учительской — пусто. Он шагнул туда, нащупав в карманах гвозди, оглянулся, схватил со стола мраморное пресс-папье и, встав на колени, быстро прибил боты к полу. Потом схватил стоявшую на столе чернильницу и кинул ее в ненавистные боты, чувствуя, что слезы прошли...

2

В нескольких десятках верст от губернского города, на берегу быстрой и неширокой речки, за пять лет до войны вырос целлюлозный завод. Строил его предпримчивый петербургский капиталист Печаткин. Но когда началась война, Печаткин — разумеется, за немалую мзду — добился от казны постоянных заказов на снаряды, приостановил производство целлюлозы и начал строить корпуса артиллерийского завода. Цехи строились наспех; рядом с ними вырастали деревянные бараки для рабочих; срочно была проложена одноколька до города, и первый состав осторожно и долго полз до нового завода, везя семьи рабочих. Не прошло и нескольких месяцев, как большой, всё время разрастающийся посёлок уже стали называть Печаткино.

На печаткинском заводе работала Яшкина мать. Туда, тайком удрав от дяди, ехал сейчас и Яшка. Всё его имущество уместилось в небольшом узелке: штаны и пара рубашек, книги и коньки «Нурмес», купленные матерью на прошлое рождество.

Он ехал, ещё не представляя себе, что скажет матери. Сознаться, что его выгнали из школы, было стыдно; мать, конечно, расстроится. Можно наврать, что начался тиф и школьников распустили. Но Яшка знал, что лгать матери нельзя, нехорошо это. Подъезжая к посёлку Печаткино, Яшка так ничего и не придумал; он лежал на полке, подложив узелок под голову, и слушал незнакомую, плавную речь попутчиков: это были эстонцы из Тюри, завербованные на завод...

Поздней ночью, уставший, продрогший, он разыскал

барак, где жила мать. Какая-то незнакомая женщина провела его по узкому коридору, ощупью нашла дверь и втокнула Яшку в темную, душную комнату. Он стоял, стараясь во тьме рассмотреть что-нибудь, и слышал только прерывистое дыхание людей: здесь все спали.

— Мама, — тихо позвал он. Кто-то заворочался со сна, выдохнул неразборчивые слова; Яшка снова позвал мать.

— Что? — донеслось откуда-то. — Кто это?

— Это я, Яшка...

— Яшенька!

Теплые руки схватили его. Мать гладила Яшку по лицу, не понимая спросонья, как он очутился здесь, и шептала ему в самое ухо:

— Господи, как же так... Что случилось, господи... Почему ты приехал?

Яшка всхлипнул, прижимаясь к матери. Сбивчиво, глотая слова, он рассказал ей всё — и про пленных германцев, и про Генку, и про то, как его бил пристав. Мать, не разобрав и половины того, что он рассказал, жесткой ладонью вытерла ему слезы и начала растегивать куртку:

— Ладно, бог с ней, со школой. Ложись, усни, сынок... Завтра договорим. Ах ты, господи, господи!

В Печаткине школы не было, и для Яшки начались скучные, долгие дни, похожие один на другой. В первое время он еще бродил по незнакомому поселку и присматривался. Его поражали огромные цехи артиллерийского завода, он подолгу стоял и смотрел на лесотаску, по которой непрерывно двигались дрова для кочегарки. А потом и ходить стало некуда; хорошо, что он захватил с собой несколько интересных книг, в том числе и такую интересную книгу, как «Антон Кречет».

Всё чаще и чаще вспоминал он теперь губернский город, где можно было сходить на каток или в кинематограф «Аполло», или посмотреть в заезжем балагане говорящих кукол.

Через несколько дней мать, вернувшись с работы, сказала Яшке:

— Ну, сынок, хочешь завтра побывать в моем цехе?

Яшка, конечно, очень хотел. Утром он встал вместе с матерью и торопливо глотал хлеб с луком, прислуши-

ваясь, как разливается за окном низкий, ровный заводской гудок.

Но цех, где мать работала браковщицей, не произвел на Яшку особого впечатления. Здесь делали донца для шестидюймовых снарядов. Из кузнечно-прессовой мастерской сюда поступала заготовка, на токарных станках с нее снимали излишек металла, нарезали резьбу. Готовые донца мать сдавала в кладовую.

В перерыв к матери подошел какой-то рабочий и, вытирая концами измазанные в масле руки, спросил, кивнув на Яшку:

— Это твой, что ли?

— Мой.

— Вот он, значит, какой... Ну, так ты сегодня с ним придешь? — И, не дожидаясь ответа, спросил уже Яшку: — Что, брат, интересно? Хочешь на завод, герой?

Яшка не знал, почему он «герой», и не ответил; мать, отворачиваясь, ответила за него:

— Мал он еще, Павел Титович. Двенадцати лет нет ему. Не примут, да и жалко.

Павел Титович подмигнул Яшке, улыбнулся, открывая крупные, крепкие зубы:

— Ничего, крепче будет. Так ты, Настя, значит, к восьми приходи...

Вечером они пошли к Алешиным — на именины. Алешины жили в отдельном домике, сколоченном, как и все дома в поселке, на живую нитку, но зато здесь жила вся семья. Старик, Тит Титович Алешин, согласился приехать сюда из Питера, заранее договорившись с вербовщиком, что семью не рассуют по разным баракам. У старика были золотые руки, и администрация согласилась.

У Тита Титовича было три сына: Павел работал на заводе, средний сын — Михаил — был сейчас в действующей армии. До этого он работал в Питере у Лесснера, был связан с подпольной большевистской организацией и его уволили с завода в самом начале войны «по подозрению». Младшему — Алексею шел всего двадцатый год, но это не мешало ему быть хорошим токарем. Любил он погулять, потанцевать, одеться, «покрутить» с девушками и выпить по случаю в компании.

Всего этого, конечно, Яшка не знал. Не знал он и того, что Павел Титович, овдовевший лет шесть назад,

ухаживает сейчас за его матерью. Он впервые в жизни шел в гости на именины, немного волновался и, забегаая вперед матери, заглядывал ей в глаза: как она — спокойна ли? Мать была спокойна.

Гости уже собрались. Сегодня справлялись именины дочери Павла Титовича — Клавы, и здесь были ее подруги, сверстницы Яшки; Клава была старше его на год. Их познакомили, и парнишка, смущенно протянув Клаве руку, буркнул: «Яшка». Та прыснула: «А по бабюшке как?» Он совсем смутился, но выручила бабушка Клавы, Марфа Ильинична:

— Цыц ты, насмешница!

Все сели за стол. Марфа Ильинична подала горячий пирог с палтусом и другой — со свинойной. На столе стояла разная закуска, бутылки с самогом. Марфа Ильинична сварила пиво и брагу: пиво было хорошее, а брага крепкая. Все выпили; Яшке налили маленькую рюмку самогона. Когда он хлебнул этой бесцветной, чуть мутной жидкости, у него перехватило горло, он поперхнулся и закашлялся, выскочил из-за стола. Бабушка Марфа заругалась, ткнула Павла Титовича в затылок:

— Что ты, бесстыжий, делаешь? Не видишь — ребенок еще. Ух, ума-то у тебя!

— Ребенок? — Павел Титович захохотал. — Он скоро рабочим будет, а ты говоришь — ребенок.

За столом стало весело, глаза у всех заблестели, языки развязались. Спели «Варяга», Павел Алешин подыгрывал на гитаре.

— Ладно, взрослым хватит, — заворчал Тит Титович. — Пускай теперь дети повеселятся, именины-то вроде бы не наши...

С шумом встали из-за стола и перешли в другую комнату. Дядя Леша сыграл марш на гармошке. Девочки были веселые, и Яшка вошел в раж. Его учили танцевать вальс. Сперва ничего не выходило; он то и дело наступал на ноги Клаве, Зине и Шуре, а когда начало что-то выходить, все уже устали; Тит Титович, довольно поглаживая седые, щеточкой, усы, крикнул:

— Ну, а кто лучше споет или стишок расскажет?

Петь Яшка не умел, а стихи любил и знал их множество. Не дожидаясь, пока кто-нибудь начнет, он

встал и, протянув вверх руку, как это делал учитель словесности, прочитал первые строчки:

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена,—
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Звонкий голос Яшки перешел на высокие ноты, он переживал каждое слово, как будто ясно представлял себе и буйный Рим, и широкую арену, и полуобнаженного, залитого кровью человека:

Прости, развратный Рим,— прости, о край родной.

Все захлопали в ладоши, а бабушка Марфа утирала платком заплаканные глаза. Всем очень понравилось и само стихотворение, и его исполнение. Яшку попросили прочитать еще что-нибудь, и он вспомнил стихи, напечатанные в губернской газете. Стихотворение было о войне; она сейчас волновала всех.

От крепких твердынь Перемышля,
С далеких австрийских полей
Бедняга солдат утомленный
Плетется к деревне своей.
По прихоти баловня-ветра
Рукав его хлещет в лицо.
— А, чтоб тебя мухи заели,
Казенное треплешь добро!..

Дальше в стихотворении говорилось, как солдат подошел к своей родной деревне, но никто не выбежал встречать калек:

— Соседушки, братцы, скажите,
К чему этот весь маскарад?
Где мать, дорогая супруга,
Сестра и единственный брат?
— Жену твою некий проезжий
В столицу увлек за собой,
А мать твоя бедная с горя
В могилу сошла на покой.
Сестра твоя там, в лазарете:
У коек дежурят, не спит,
А брат твой, лихой доброволец,
В бою под Варшавой убит.

Всех неожиданно растрогали эти безыскусные и не очень-то грамотные стихи.

— Молодец у тебя, Настасья, сын, — сказал скупой на похвалы Тит Титович. — Его бы дальше учить надо. Может быть, адвокатом будет.

«Адвокат» для Тита Титовича был самый высокий чин. Как-то ему довелось попасть в Питере на открытое заседание суда, где с речью выступал знаменитый адвокат Плевако. С той поры, если Тит Титович желал кому-либо из ребят добра, он обязательно определял его в «адвокаты».

После того как Яшка кончил декламировать, веселье уже стихло совсем, да и было уже поздно. Все стали собираться по домам. Начали прощаться, бабушка Марфа подтолкнула именинницу к Яшке:

— Поцелуйся, Клава, с Яшей. Видишь, какой он молодец, как нас стихами уважил!

Клава потянулась к мальчику, но он, покраснев, быстро выскочил в прихожую, схватил свое пальто и в одной рубашке выбежал на улицу. Мать вышла за ним и недовольно сказала:

— Ну, кавалер хороший, что же это ты? Обидел Клавочку-то. И бабушка на тебя обиделась. Что же ты не поцеловался с Клавой?

— Больно надо, — буркнул «кавалер». — Буду я с девчонками целоваться. Я, мам, с женщинами никогда целоваться не буду.

— Это почему же? Чем же таким тебе женщины досадили?

Он не заметил, как улыбнулась мать, и не расслышал, как она сказала: «Ребенок...»

— Что?

— Я говорю, Павел Титыч к мастеру обещал зайти, Яшенька.

3

Здесь, в Печаткине, всё было иначе, чем в губернском городе.

Во всем — и в этих однообразных рубленых домах, и в самих людях — Яшке виделись следы какой-то спешки; казалось, люди спрашивали сами себя: зачем мы здесь? Все они куда-то торопились, постоянно что-то делали, почему-то всё время хмурились, и Яшка угады-

вал за этим какой-то незнакомый, враждебный ему ритм жизни, которому должны были подчиняться все.

Там, в городе, откуда он приехал, на окраине тоже жила беднота. Жили швеи, грузчики, сапожники, жили рабочие депо и небольших мастерских и заводов; но на всем лежал спокойный обывательский налет, свойственный глухому провинциальному, хотя и губернскому, городу.

В Печаткине же всё было наружу — и люди, и их мысли. Даже пацаны, с которыми познакомился Яшка, знали, что Печаткин — «эсплотатор». Порой во время игры кто-нибудь из них такое высказывал о царе, что Яшку мороз по коже продирает, и он сразу же вспоминал испуганный шепот Аннушки, урезонивающей расхажившегося мужа. За такие слова — он знал это — сажают в тюрьму. А у здешних ребят была какая-то притягательная легкость в словах, уверенность в своей силе, порой доходившая до бесшабашности, и Яшке приходилось привыкать к этому. Яков, чувствуя превосходство этих уже работающих на заводе мальчишек, охотно подчинялся им во всем. Скоро ребята стали относиться к Яшке как к «своему» и даже полюбили его.

* * *

В этот день он проснулся рано. До первого заводского гудка оставалось еще не менее часа, но ему не спалось. За окном начинались робкие, серые предутренние сумерки. Дождь, мелкий, холодный осенний дождь, шуршал по стеклу то яснее, то глуше. и тогда было слышно, как с потолка падают на пол звонкие капли.

Яшка, заложив руки за голову, глядел на серый, мутный квадрат окна, перечеркнутый рамой, и пытался представить себе, как он начнет работать. Пускай не гордится теперь Петька Зуев, не важничает Колька Чистяков. Где-то в глубине души Яшка завидовал им, особенно тогда, когда они возвращались с завода в промасленной одежде, с руками, пепельными от металлической пыли.

Но вчера мать купила ему на барахолке поношенные штаны из «чертовой кожи» и такие же поношенные, большие, не по ноге башмаки. Из своей старой

юбки она сшила курточку с тремя большими карманами. Мастер Филимонов, к которому мать водила его на днях на квартиру и которому в прихожей сунула десятку, велел Яшке приходить сегодня на работу в ремонтно-механический цех: мастер сказал, что Яшка будет учеником слесаря.

И вот он не может спать, а лежит с открытыми глазами и мечтает о многом, о чем прежде и думать не смел. Еще вчера все считали его маленьким: мать едва упростила Филимонова принять сына на работу, и только десятка сделала мастера уступчивым.

В каждую получку, думалось Яшке, половину денег он будет отдавать матери, а вторая половина пойдет на брюки клеш, широкую черную резину вместо ремня и белую рубашку «апаш». Надо обязательно купить рыболовных крючков, две волосяные лески (надоело ловить рыбу на суровую нитку, которая только запутывается), ну и, конечно, настоящих папирос и разную мелочь. Мать не знала, что Яшка уже давно курил втихомолку, курил окурки, подобранные на улице, а то и просто мох, которым были проконопачены стены барака...

Он не заметил, как совсем рассвело и все предметы в комнате приняли ясные очертания. Заскрипел топчан; мать приподнялась и, свесив босые ноги, долго зевала, зябко поводила плечами, словно боясь ступить на холодный пол. Яшка притворился спящим и сквозь полузакрытые глаза смотрел, как мать, усталым движением руки проведя по глазам, поднялась, вздохнула и, надев свой рабочий халат, тихо вышла на кухню.

Яшка встал, натянул купленные ему поношенные штаны, которые оказались велики и длинны, подпоясался ремешком, засучил штанины до щиколоток и стал надевать башмаки. Они тоже были велики, но мать уверяла, что такие и надо: «Вот придет зима, придется накручивать на ноги портянки, тогда и будут в пору».

Но стоя сейчас посреди комнаты, Яшка вдруг почувствовал, что ему хочется снова лечь на теплый сенник, закрыться с головой одеялом, поджав к животу колени, заснуть и никуда не идти. Ему стало как-то одиноко и холодно от сознания, что вот через полчаса надо будет выйти на улицу, на дождь, прошагать чуть ли

не через весь поселок, войти в сырой, неуютный цех и остаться там с незнакомыми, чужими людьми. Таким — растерянным — его и увидела мать:

— Сам встал? А я уж будить тебя пришла. Ну, вот, Яшенька...

— Мам...

— Что тебе?

— Ничего. Только если драться будут — убегу.

Мать испуганно схватила его за руку, будто он собирался убежать сейчас:

— Что ты, что ты... Я попрошу, чтобы тебя не забивали. А уж ты, Яша, слушайся старших. Корнея Фаддеевича слушайся. Он в большом почете у начальства — он и тебя в люди выведет. Смотри, как живет человек. Ему начальство и дом с сараем дало, у него и корова, и поросенок, и куры — видал? Вот хорошим-то людям и бог помогает, всё у них есть...

Чтобы не разбудить спящих работниц, вернувшихся с вечерней смены, мать говорила шепотом, наклоняясь к Яшке, и тот улавливал в ее голосе какое-то прежде неизвестное раздражение:

— Видно, прогневили мы бога, мало молились ему, — шептала мать. — Вот и ты, Яша, за стол садись, лба не перекрестишь. Может, сейчас нам легче будет, пятнадцать — двадцать целковых — всё хлеб. Дорого жить нынче стало...

За окном, сначала нерешительно, а потом набирая силу, раздался густой гудок: до смены оставалось пятнадцать минут. Мать намазала брусничным вареньем два куска хлеба и сунула Яшке в карман:

— Ну, иди... Дай я тебя перекрещу. О господи!..

Она стояла спиной к окну, но Яшка заметил, как на воспаленных веках у матери показались слезы. Он сам почувствовал, что сейчас может разреветься, и, нахмурившись, пошел к дверям.

На улицу из бараков уже выходили рабочие. Людской поток собирался ручейками, и возле завода уже образовалась плотная медленно движущаяся к проходной толпа.

Сзади Яшку окликнули: «Родный, погоди!..» Орудая локтями, протискиваясь между рабочими, Петька Зуев пробирался к нему, не обращая внимания на ленивые и беззлобные окрики.

— Так за тобой бежал — вспотел весь, — переводя дыхание, сказал Петька. — Ну как — робеешь?

— Да чего робеть-то...

Петька важно кивнул: мол, робеть-то, конечно, нечего, но сейчас ты, парень, врешь, робеешь, сам знаю... Косясь на взрослых, Петька сплюнул и, подталкивая Яшку вперед, деловито сказал ему:

— Ты вот что: первым делом получи у табельщика рабочий номер, вот такой. Как придешь на работу — вешай на доску, а когда домой — тогда снимай. Если не повесишь — прогул запишут, хотя ты был на работе, вроде тебя и не было. А за каждый прогул — знаешь что? Будь здоров, а денежки из полочки уж обязательно высчитают. А потом получи у мастера марки, тебе без них в кладовой инструмента не выдадут...

Петька стал перечислять, какой инструмент нужен слесарю, и Яшка тщетно пытался запомнить все эти мудреные, скороговоркой произносимые названия: ручник, зубило, кронциркуль, нутромер, линейки...

Чья-то рука схватила Яшку за плечо. Он не заметил, как дошел до проходной, и сторож, проверяющий пропуска, уже протянул было руку за Яшкиным:

— Ты куда?

— Да он новенький, — поспешно объяснил Петька, — в первый раз идет.

Сзади напирали, кричали сторожу «не задерживай», а растерявшийся Яшка шарил по карманам: где-то должна быть у него записка от Филимонова — какие-то каракули на драном листке бумаги, подтверждающие, что «податель сего Яковъ Курбатовъ пропускаица в заводъ».

* * *

Конторка старшего мастера ремонтно-механического цеха помещалась на втором этаже двухэтажной каменной пристройки. От пристройки в обе стороны шли корпуса производственных цехов артиллерийского завода. Одним окном конторка выходила в цех, а другим — на заводской двор. Отсюда было видно всё, что делалось в цехе.

Яшка стоял у дверей конторки, переминаясь с ноги на ногу. Много всяческих страхов рассказывали об

этом мастере ребята. Он еще долго не решился бы постучаться, но дверь отворилась и из конторки вышел рабочий; в отворенную дверь Филимонов увидел Яшку.

— А, пришел! Ну, заходи, не напускай холода! — крикнул мастер. — Покажись-ка сюда... Ох, какой же ты заморыш. Подойди поближе — не бойся, не съем.

От такого обращения Яшке стало и страшно, и обидно. Его словно бы сковало: язык, казалось, опух во рту, а ноги стали какими-то ватными. Мастер, легонько ткнув его в плечо, усмехнулся:

— Ладно! Давай, работай. Больно просила за тебя Настасья Ивановна, а то бы не взял. Тебе еще без порток бегать положено.

Он помолчал, пожевав бесцветными, мясистыми губами и уселся поудобнее на скрипучем резном стуле, словно ему доставляло удовольствие разговаривать с мальчишкой:

— Ты смотри только — старайся. Не будешь стараться — сразу выгону за ворота. Много вас, таких. Кем быть-то хочешь?

Яшка уже немного освоился; даже громкий, какой-то рыкающий голос Филимонова показался ему вовсе не таким уж страшным.

— Слесарем я хочу быть, Корней Фаддеич!

— Слесарем так слесарем. — Он обернулся к табельщику, который сидел здесь же, в конторке, лениво прислушиваясь к этому, должно быть привычному ему, разговору. — Митя, запиши его в списки.

Так же лениво табельщик записал Яшку, потом сунул руку в ящик стола и вытащил жестяной рабочий номер:

— Держи! Потеряешь номерок — рупь из получки высчитаем. Не вздумай себе медного сделать, а то тебя шкеты в цехе научат. Если повесишь медный — прогул буду писать, а за это у нас знаешь... К кому его представим, Корней Фаддеич?

Мастер, прежде чем ответить, долго еще ковырял в зубах обломанной спичкой, смотрел за окошко в цех, будто и не слышал этого вопроса. Молчал и табельщик, ожидая, что скажет Филимонов. Наконец, тот плюнул на пол и сказал:

— Да хотя б к Данилычу. Валяй, води его.

Яшка шел по длинному цеху, заглядывая вперед, пытаясь угадать, который из рабочих Данилыч. Наконец, Митя подвел его к пожилому рабочему; тот, шепотом матерясь и краснея от натуги, зажимал в слесарные тиски какую-то деталь.

— Данилыч, мастер к тебе ученика прислал. Слушаться не будет — так ты не стесняйся.

Слесарь мельком взглянул на Яшку, и тот увидел бесцветные, пустые глаза, отечные мешки под ними и почувствовал еле уловимый запах самогона. Он стоял, не зная, что должен сказать Данилычу, и не замечая, что сзади подошел мастер.

— Мне... за марками сходить? — буркнул Яшка.

Данилыч снова взглянул на него и снова ничего не ответил, усмехнувшись.

— Какие марки? — спросил Филимонов.

— По которым инструмент получать...

Мастер расхохотался, под подбородком у него вздулись большие мешки, поросшие ржавой щетиной. Данилыч, вторя ему, смеялся мелко и дробно, открывая гнилые коричневые пеньки редких зубов.

— О-ох, бойкий ты какой! Марки ему выдай... Марки захотел! А ты знаешь, что мы по году не только марок, а инструмента в руках не держали...

Он так же неожиданно, как и засмеялся, помрачнел, вытер ладонью покрасневший лоб и зло крикнул Яшке:

— Испортили вас, молокососов! Сопли вытереть не умеет, а со стариками равняется. Ты его, Данилыч, как следует, по-нашему учи.

Когда Филимонов ушел, Данилыч повернулся к ученику:

— Как звать?

— Яша.

— Ишь ты — Яша. А кто же так тебя зовет? Для меня ты — Яшка. Понял — Яшка. Ишь ты какой благородный! Яша! Тоже скажет... — ворчал Данилыч. — Поди слесарем хочешь быть? Работать думаешь? А знаешь ли ты, голова садовая, что ученье сразу не начинается? До него, до ученья-то, надо до мозолей на брюхе поползать. Я у хозяина только на втором году ручник и зубило в руки взял. Понял? Конечно, здесь завод, а не хозяин, а всё же...

Он не договорил.

Яшка стоял и слушал. Его утренние мысли о работе, о заводе как-то сразу поблекли, потускнели; что-то нехорошее, тревожное и тяжелое шевельнулось в сердце.

— Значит, на слесаря выучиться хочешь? Это, конечно, можно, — продолжал Данилыч. — Ты чей будешь?

— Курбатовой сын.

— Это что — той, что в пятом цехе?

— Ее, — еле слышно, в сторону ответил Яшка.

— Ну, что ж, поучить я тебя поучу, а клепка мне за это будет?

Яшка поглядел на него удивленно.

— Ну, угощение, — поморщившись, пояснил Данилыч.

— Не знаю, — снова почти шепотом ответил Яшка.

— Вот те раз — не знаю! У кого же мне, у индюка, что ли, спросить?

— Я маме деньги буду отдавать, — сказал Яшка. Но сейчас ему хотелось одного: скорее уж заняться делом, и он согласился:

— Ладно уж... Я у мамы денег выпрошу...

— Вот и давно бы так! Сейчас я тебе тиски на верстак приспособлю.

Данилыч куда-то ушел и, вернувшись со слесарными тисками, стал устанавливать их к верстаку. Потом он подал Яшке ручник, зубило и закрепил в тисках какую-то железину.

— Научись сначала рубить, — сказал он. — Держи вот ручник. Да не так держи, а ближе к краю черенка. В левую руку возьми зубило. Ну, начинай! Да не так. На зубило-то не смотри! Смотри на острие... Опять не так... Чего ты боишься? По руке ударить боишься? Без этого, брат, не научишься. Ну, руби, давай!

Яшка начал рубить. Удары выходили слабые, неуверенные. Рубка не получалась. Его невольно тянуло смотреть на ручник, когда он ударял по зубилу.

— Куда смотришь? — выругался Данилыч. — Руби, как показано... Опять не туда смотришь!

Он стукнул Яшку по затылку, и тот поклонился от этой затрещины, тоскливо подумав: «Начинается...»

Яшка продолжал рубить, стремясь ударить ручником по всем правилам. Вдруг острая боль обожгла

левую руку, он выронил зубило: из большого пальца текла кровь, он сунул его в рот.

— Ничего, ничего, — усмехнулся Данилыч. — Заживет, начиная сначала.

Яшка начал рубить, оставляя на зубиле бурые следы крови. Всё шло хорошо, и он ударил по зубилу посильнее. Снова острая боль сжала сердце, перехватила дыхание.

— Ты паутины приложь, останови кровь-то, — посоветовал Данилыч. — Вон паутины — сколько угодно.

Яшка приложил густую пыльную паутину к ране, и кровь перестала течь. Но работать он уже не мог, сидел и смотрел, как рубит металл Данилыч.

На другой день Данилыч показал Яшке, как надо нарезать болты и гайки. Яшка был уже доволен своим обучением и даже проникся благодарностью к учителю.

Но через три дня всё неожиданно изменилось: Яшку вызвали в конторку мастера Филимонова.

4

В заводском поселке и на заводе старший мастер Филимонов был фигурой весьма заметной. Сын крупного сибирского кулака-сектанта, двадцатилетним парнем он приехал в Петербург. Одно время служил приказчиком у купцов в бакалейных лавках, был нечист на руку, да так, что никто его больше не принимал, и волей-неволей пришлось ему поступать на завод Петербургской металлической компании. Вначале он служил конторщиком, но за какую-то очередную проделку его оттуда выгнали. Филимонов кое-как выучился на плохонького слесаря, зато умел подладиться к начальству. Говорили, что Филимонов был в охранке негласным агентом. Как бы там ни было, начальство заметило его, — вскоре он стал мастером.

Говорили и другое: будто в 1905 году скороспелого мастера вывезли на тачке, но потом он вернулся на старое место и строил рабочим разные пакости и подсмеивался: «Видали революцию?» Один раз ему сделали «темную» — накрыли мешком и крепко избили.

Оставаться в Питере было уже опасно, и началь-

ство посоветовало ему завербоваться в провинцию, на построенный Печаткиным военный завод.

Приехав, Филимонов сразу завел себе хозяйство, — крепкая кулацкая жилка сохранилась у него, несмотря на долгую жизнь в городе. Кроме большого огорода у него были корова и коза, поросенок, куры, гуси, индюшки, и Филимониha торговала на рынке.

Старшему мастеру было уже пятьдесят пять. Был он коротконог; толстый, выпирающий вперед огурцом живот обтягивала жилетка с серебряной цепью и многочисленными брелоками. Рабочие, да и все в поселке, звали его не иначе, как «пузаном».

В приплюснутом, одутловатом, с маленькими, вечно беспокойными глазками лице Филимонова проскальзывало что-то бабье: всё оно было какое-то рыхлое, мягкое, и казалось, ткни пальцем — и, как на свежей булке, останется вмятина.

Вызванный к мастеру Яшка перепугался и всю дорогу до дверей конторки лихорадочно соображал, в чем же он успел провиниться. Как и в прошлый раз, он долго не решался войти, чувствуя, как неприятно замирает и проваливается куда-то сердце. Очевидно, Филимонов видел, как Яшка шел по цеху: он сам пинком отворил дверь.

— Эй, как там тебя? Шибздик! — делая вид, что он забыл имя Яшки, сказал мастер. — Знаешь, где я живу? Ну вот и пойдй ко мне домой, помоги там по хозяйству.

Опешивший Яшка ничего не мог ответить. Где живет Пузан, он знал, заходил туда с матерью, но ему совсем не хотелось идти туда и быть на побегушках у злой Филимониhi.

— За полчаса до гудка придешь обратно и номер с доски снимешь. Ну, иди, иди. Вот пропуск для проходной. И чтоб как из пушки...

Яшка медленно прошел проходную и так же медленно остановился возле дома Филимонова, опрятного, с выкрашенной суриком крышей и резными наличниками на окнах. Филимониha увидела его со двора и, нетерпеливо позвав к себе, недовольно крикнула:

— Больно ты долго. Ну, давай-ка, неси скорее пойло поросенку.

Он понес тяжелое ведро в свинарник, где на соло-

менной подстилке лежал огромный боров. Борова звали Колькой. Филимонов любил давать человеческие имена животным: корову у него звали Марфой, кот был Филька и даже индюшка называлась Сонькой. Боров, почувствовав запах пищи, заворочался, неуклюже вставая на тоненькие ножки и с трудом поворачивая голову на жирной, в складках, шее. Яшка, увидев его, ахнул и неожиданно для самого себя захохотал, прислонившись к косяку: боров до удивления походил на своего хозяина.

* * *

Мальчишки теперь кричали ему вслед: «Яшка, Яшка, свинопас, поцелуй свинячий глаз». Он гонялся за ними, но те, исчезая непостижимым образом в дровянике, вдруг оказывались на крыше и уже оттуда орали на весь поселок.

Яшка грозил им кулаком и шел домой — усталый, измученный работой у Филимониhi, злой на всех — и на Филимониxu, и на борова Кольку, и на ребят. Дни тянулись однообразно, и ему казалось, что он у хозяйки работает давно и всё прежнее — просто какой-то очень хороший и неповторимый сон.

Петька Зуев тот просто сказал:

— Знаешь, от тебя коровьим дерьмом пахнет. И охота тебе была...

Яшка объяснил Петьке, что иначе нельзя, что мастер просто прогонит с завода, что мать велит терпеть. Петька слушал, позевывал и равнодушно бросал:

— Ну, ну, давай, корми своего борова. А я на твоём месте такого бы мастеру сделал! Всё равно ведь выгонит, а так — хоть с треском...

Яшка продолжал таскать свежую соломенную подстилку для свиньи, приносил воду для скотины, гонял на ближайший пруд гусей, но когда Филимониha послала его чистить свинарник, он потупился и не сдвинулся с места.

— Слышишь ты? Кому говорят!

Яшка медленно повернулся и пошел на улицу. Он вышел за калитку, постоял, ковыряя носком влажную, жирную землю, и внезапно подумал: «А ведь выгонит... возьмет и выгонит». Ему не хотелось возвращаться назад, но страх словно бы толкал его в спину, и он

вернулся, подчинившись этому страху. Вечером, когда он рассказал об этом Петьке, тот просто взъярился:

— Трус ты и больше никто. Вот что я тебе посоветую: не поддавайся ты Пузану, заедит он тебя, исплотатор. Он, знаешь, какой — смирных любит.

И Яшка соглашался с ним, соглашался потому, что ему не хотелось соглашаться с матерью, которая только и говорила о том, что нужно терпеть. Выход нашел тот же Петька.

В один из ясных дней Яшка, возвращаясь с Петькой домой, стал перебирать стершиеся медяки, всё время сбивался со счета, кряхтел, качал головой.

— Ты что? — спросил Зуев.

— Клепку надо ставить. Мой бутылку самогона потребовал. Придется в Бердинку бежать... Пойдем вместе.

Деревня Бердинка была в двух верстах от поселка, и по дороге ребята придумали — напоить филимоновских куриц и петуха, а коту и борову мазнуть под хвостом скипидаром. Скипидар был у Кольки Чистякова: он кашлял, и мать каждый вечер натирала ему грудь. На обратном пути они отлили из бутылки самогона и спрятали его в штабелях бревен. Всем хотелось посмотреть, что получится из этой затеи.

— Сделай завтра утром. Мы во второй смене работаем, придем...

На следующее утро Яшка взял спрятанную накануне консервную банку с отлитым самогоном и принес ее в коровник. Там он нашел тарелку с отбитыми краями, перелил в нее самогон и насыпал овса; скоро овес пропитался самогоном и набух.

Яшка часто кормил кур, и они знали его. Когда он вышел из коровника, куры бросились к нему. Овес он высыпал на землю, а тарелку снова спрятал в коровнике.

Ребята залегли в канаве, а Яшка спрятался за изгородью. Ждать пришлось недолго: сначала подал голос петух. Кукареканье его было странное, необычно хриплое. Потом, наступая на крыло, петух попробовал было поухаживать за курицей. Ребята помирали со смеху. Никто из них не видел, как Яшка, держа в руках кота, пошел к свинару.

Он мазнул Кольку по «пятакку», потом резко сунул скипидарную тряпку в нос коту и отскочил в сторону.

Боров, заревев, стрелой выбежал из свинарника. Всей своей тушей он навалился на забор, повалил его, выскочил на дорогу и бросился бежать по лужам, поднимая фонтаны брызг.

Кот Филька, ошалелый, с злыми от ярости глазами, вылетел на двор, постоял на месте, трясая напряженным, как струна, хвостом, и, жалобно воя, бросился на крышу.

— Ратуйте, православные! — кричала Филимониха, как мельница, размахивая руками. — Светопреставление началось! Курыдохнут, скоты с ума сходят! Манька, беги за Колькой, гони его с дороги.

Филимониха пнула свою испуганную, ничего не понимающую дочь. Рабочие, проходившие мимо филимоновского дома, хохотали, держась за животы. Слушая вопли Филимонихи, крестились старухи.

Яшка не дождался конца «светопреставления»: он тихонько вылез из канавы и побежал к заводу. В цех он вошел как ни в чем не бывало, подошел к Данилычу и попросил дать работу.

Филимонов, увидев Яшку из окна конторки, подумал: «Ишь ты, сукин сын, и двух часов не проработал». Он послал за ним табельщика.

— Ты что же, сопляк, сбежал? Я тебя совсем за ворота выгоню!

Он орал, а Яшкой овладело такое отчаяние, что ему в этот момент было всё равно. Наставления и жалобные просьбы матери «не гневить начальство» забылись.

Промасленным рукавом размазывая слезы по лицу, оставляя на нем грязные полосы, он бросал в лицо мастеру злые слова:

— Не пойду я больше туда... Я на завод, а не к вам нанимался! Не буду холуем у вас!

Высказав, как ему казалось, всё, он еще больше осмелел и поднял глаза:

— Не имеете права... Я в цехе работать хочу. Меня и так все дразнят... По улице не пройти...

Филимонов сначала остолбенел, потом разразился такой бранью, что Яшка, ожидая удара, втянул голову в плечи. Всю эту сцену наблюдал старший мастер другой смены Григорий Михайлович Чухалин. Он не выдержал, подошел к столу и, обращаясь к Филимонову, тихо сказал:

— Зря ты, Корней Фаддееч, над мальчишкой издеваешься. Неровен час, управляющий узнает, что ты за счет хозяина батраков себе содержишь, — ведь тебе же плохо будет. Переведи ты этого паренька ко мне в смену, по-моему, толк из него будет. Ну, как, согласен?

Пузан посмотрел на Яшку. Он еще ничего не знал о его проделке и только крикнул:

— Пошел отсюда вон, негодяй!

К концу дня табельщик предупредил Яшку, чтобы завтра он уже выходил работать в чухалинскую смену.

5

Завод работал уже больше года, а люди всё приезжали и приезжали в Печаткино. Никто не знал и не считал, сколько здесь собралось народу; одни говорили — восемь, другие — двенадцать тысяч.

В короткий срок возле проходной завода в один ряд выстроились четыре питейных заведения, с биллиардными и отдельными кабинетами. Быстро выросла в поселке деревянная церквушка, и хилый, чахоточный попик освятил ее под Духов день «во славу божию». И, конечно, будто из-под земли, появились в Печаткине городовые, как есть по всей форме — при шашках и с красными кантами.

Всё, всё было, как положено...

Григорий Михайлович Чухалин только удивлялся: до чего же завидное постоянство! Кабак, церковь и городской — что еще надо властям, чтобы чувствовать себя спокойно. Как-то он полушутя, полусерьезно сказал Алешину, Клавиному отцу:

— Смотри, Павел, и учись: вот работа! А мы что? Пока мы одни шрифты добываем, уже четыре пивных открыли, официанты с ног сбиваются.

Алешин не ответил на шутку.

В самом деле, группе заводских большевиков на первых порах пришлось трудно. В первые же месяцы по доносу провокатора были арестованы и сосланы восемь человек. Петроградские организации об этом узнали поздно, и когда Чухалин приехал в Печаткино, там уже оставалось только пятеро большевиков.

Первое, что сделал Чухалин, — послал одного из пятерки, Беднякова, в Питер за шрифтами. Однако время шло, а тот не возвращался, и Чухалин, внешне оставаясь спокойным, был уверен, что посланца задержали.

Григорий Михайлович работал на заводе мастером и имел по соседству с Алешиными свой небольшой домик. Впрочем, если б не Алешин, этого домика у него никогда не было бы: Павел Титович рассказал ему, как договаривался с хозяином отец, и Чухалин тут же отправился к управляющему. Пришлось разыграть из себя прохвоста, вроде Филимонова, зато в награду он получил прекрасное помещение, где большевики могли собираться.

Мастер жил один. Долгое время Алешин не решался спросить у него, женат ли он, этот немолодой уж человек. Чухалин сам сказал ему об этом в один из декабрьских дней:

— Всегда меня в это время в Москву тянет...

— Почему в Москву? Ты же питерский.

— Питерский-то питерский... А десять лет назад мою Варьку на Пресне убили...

На этом разговор и кончился, но после него у Алешина осталось чувство щемящей жалости к Чухалину, жалости, которую он боялся не только высказать вслух, но даже показать.

Быть может, так происходило потому, что Алешин сам был вдовцом и хорошо знал, чего стоит потерять любимого человека. Скупно и немногословно он передал этот разговор отцу. Тит Титович сразу как-то засуетился, забеспокоился, и впоследствии Алешин так и не мог узнать, когда же старик близко сошелся с Чухалиным. Как бы там ни было, мастер стал бывать у них чаще — «по-соседски», как говорил Тит Титович.

Обычно они сходились по субботам. На столе появлялся самовар, а в праздник — и бутылка самогонки, которую старик распивал один: Чухалин не пил, а Алешин стеснялся выпивать при нем. Разговор заходил о самом разном; однажды он коснулся ребят, работающих на заводе, и Григорий Михайлович вспомнил, что перевел на днях в свою смену паренька, Яшку Курбатова, которого Филимонов едва было не уволил.

— Это ты хорошо сделал, — одобрительно заметил

Тит Титович. — Я этого парнишку знаю: ну, чистый адвокат — Плевака. А кроме того...

Он многозначительно закашлялся, сделав вид, что поперхнулся чаем, и с ехидцей взглянул на сына. Тот покраснел, сердито шевельнув густыми, как у отца, мохнатыми бровями. Но Чухалин, ничего не заметив, спросил:

— Что?

— Да так... Вроде бы мой-то с Курбатовой того... Погуливает, одним словом.

— Вот оно что? — удивленно протянул Чухалин. — Ну, что же, дело, как говорится, молодое... На свадьбу-то пригласишь?

Алешин что-то пробормотал в ответ.

Но, прощаясь с ним в сенях, Чухалин спросил его серьезно:

— Слушай, Павел, вот о чем я тебя хотел спросить. Не помешает тебе... любовь-то эта? Нет, ты не обижайся, а дело тут такое... Я ведь давно всё заметил, всё знаю. Ну, не лежит у меня к Курбатовой душа, как-кая-то темная она, забитая, богобоязненная. А я вот тебя в Питер хочу послать. Как она — поймет, если что-нибудь с тобой случится? Жизнь-то, она, брат, у нас с тобой трудная, и жены с нами одной думкой жить должны.

Алешин ответил не скоро. В темноте сеней Чухалин не видел его лица, но чувствовал, что тот растерян.

— Так ведь что поделать, — тихо отозвался он наконец. — Люблю я ее, Григорий Михайлович. А в Питер — какой может быть разговор — конечно, поеду. Ты думаешь — Бедняков...

— Всё может быть, — отрезал Чухалин.

Три дня они к этому разговору не возвращались. А на четвертый Чухалин зашел к Алешиным и вызвал Павла Титовича во двор:

— Пойдем ко мне, потолкуем.

Алешин, предполагая, что Григорий Михайлович будет снова говорить о том же, что и три дня назад, внутренне разозлился: какое ему, в конце концов, дело до его личной жизни? Он уже заранее обдумал слова, которыми ответит мастеру.

Но, войдя в комнату Чухалина, он ахнул. Возле завешенного одеялом окна сидел смеющийся, счастли-

вый Бедняков, а в углу — рабочий пятого цеха Пушкин.

— Ты откуда? — бросился к Беднякову Алешин.

— Где был, там нет, — хохотнул Бедняков. — Был, да весь вышел, — он посмотрел в сторону печки.

Алешин улыбнулся: Бедняков всегда говорил прибаутками и полузагадками; проследив его взгляд, Алешин увидел возле большой печки стоявший на табуретке деревянный сундучок. С такими сундучками в ту пору колесили по железным дорогам мастеровые, голь перекатная, в поисках молочных рек да кисельных берегов. Замок сундучка был снят и лежал сверху.

— Да подойди, не бойся, — снова хохотнул Бедняков. — Не кусается.

Алешин, еще не веря в удачу, подошел и откинул крышку, он увидел аккуратно разложенные по мешочкам шрифты... Алешин поднял один такой тяжелый мешочек, подкинул на руке и, повернувшись к Беднякову, радостно улыбнулся:

— Значит, порядок? Эх, братцы, и закрутим теперь машинку! Держись!

— Печатника нет, — перебил Павла Чухалин. — Ты не торопись радоваться, Павел Титович, нам еще до машинки-то знаешь сколько сделать надо!

Он прошелся по комнате, скрипя половицами, и, остановившись перед Алешиным, пробасил:

— Придется тебе в город ехать — за печатником. А мы пока начнем собирать станок. Но вот листовки носить кто будет... Ну, да там придумаем.

Алешину казалось, что Чухалин просто хочет отвлечь его от Курбатовой. Он побагровел, вспомнив недавний разговор в сенях, но промолчал, забился в угол и сидел там, слушал, как Бедняков рассказывает о своем пребывании в Питере. Он так бы и молчал до конца, но Чухалин опять завел разговор о том, кто же будет переносить на завод листовки, — так, чтобы рабочие, которых время от времени обыскивали, не подвергались опасности.

— Знаете, кто может носить? Яшка Курбатов, — доносилось вдруг из угла, где сидел Алешин, — я за парня ручаюсь. Поговорить с ним только надо разок посерьезнее.

— Ну вот и поговори, — обрадованно откликнулся Чухалин. — Как приедешь, так и затащи его к себе.

По-моему тоже — смысленный парнишка. Только загнанный...

А Яшка, уставший после смены, в это время крепко спал и не знал, что именно этой ночью на многие и многие годы вперед, на всю жизнь определилась его судьба.

* * *

Из города Павел вернулся неожиданно быстро: через три дня. Отлучку он объяснил просто: болен, ездил к врачу. У него вычли из получки три рубля и пригрозили, что если такое повторится — выгонят с завода. Алешин клялся и божился, что больше он болеть не будет, и ходил именинником, с трудом скрывая улыбку, меньше всего напоминая измученного недугами человека. Что взрослые! Яшка и тот почувствовал, что здесь что-то не так, но постеснялся спросить у Павла Титовича, чем же он в конце концов болен.

Алешин, нагнав его во дворе, когда кончилась смена, обнял за плечи и спросил:

— Ну, Плевако, что к нам не заходишь? Дочка по тебе соскучилась. Пойдем сейчас, а?

Яшка забормотал, что ему надо домой, что мать будет волноваться, да и грязный он, но Алешин уже крепко держал его за плечо и посмеивался:

— Ничего. Мы матери объясним как-нибудь. А вымоешься у меня — и с мылом.

Яшка не хотел идти, но Алешин его тянул: «Да что ты ломаешься, как дешевый пряник. Сказано — идем, значит — идем...» Наконец, Яшка понял, что вовсе не в Клаве здесь дело, а нужен он самому Алешину.

Первое смущение прошло, едва они приблизились к дому. Алешин вел себя как-то непонятно. Два раза он делал вид, что у него расшнуровались ботинки, хотя Яшка видел, что с ботинками у Алешина всё в порядке. Потом, проходя мимо окон, он, зачем-то оглянувшись, стукнул два раза в раму и только после этого поднялся на крыльцо.

Двери им открыл Тит Титович, и это тоже удивило Яшку: обычно двери здесь днем не запирались. И только войдя в дом, Яшка понял, в чем дело.

Из-за перегородки вышел человек и обрадованно закивал Алешину.

— Это глухонемой, — быстро сказал Алешин Яшке. — Так что не стесняйся. Родственник наш, понимаешь...

Яшка, растерявшись, смотрел на этого человека и слова не мог вымолвить, будто сам онемел от растерянности.

— Проходи в дом-то, — подтолкнул его Алешин.

Яшка шагнул к глухонемому и тихо сказал:

— Дядя Франц... Это я, Яшка.

Все замерли. Франц, медленно повернувшись к пареньку, тихонько ахнул: «Майн готт!» — и бросился к нему; они обнялись. Франц всё разглядывал Яшку, от волнения он позабыл русские слова, которые знал, и никто не мог понять, о чем он спрашивает. Потом, повернувшись к Алешину, Франц сказал:

— Камерад... Карош мальшик... Как это? Настояши товариш...

Яшка не понимал ничего. Ни того, зачем его привел сюда Алешин (Клавы дома не было), ни того, какими судьбами здесь очутился пленный немец Франц.

А Франц обнимал его снова, всё расспрашивал, куда это «ушел маленький товариш», и Яшка, с трудом подбирая слова, рассказал о школе, о приставе, о переезде сюда. И не понял, почему Алешин, откинув его голову, сказал, глядя ему в глаза своими синими с черным ободком — совсем, как у Клавы — глазами:

— Э, брат, да я и не знал этого. Значит, хлебнул уже шилом патоки?

* * *

Что-то перевернулось в его жизни. Товарищи — они были уже словно далеко от него; Яков, встречаясь с ребятами, пытался скорее уйти, прибежать к алешинскому дому и, оглянувшись, стукнуть два раза в оконную раму, войти в дом, где его ждали. Алешин строго запретил ему носить детали станка сразу сюда. «Покрутись с ребятами, сделай вид, что играешь, потом удирай. Скажи — к Алешину пошел. Будут смеяться — не обращай внимания. Понял?» Ребята и в самом деле смеялись: «Тили-тили-теста, жених и невеста...» Дальше они прибавляли и вовсе неприличное, отчего Яшка краснел и быстро уходил.

Где собирался станок, для которого он почти ка-

ждый день выносил части с завода, Яшка не знал. На все его расспросы, куда девался дядя Франц, Алешин многозначительно подмигивал и поднимал брови. В доме всё встало на свои места. Появились куда-то уезжавшие бабушка и Клава; теперь двери Яшке открывала Клава и при этом командовала:

— Сними ботинки, я только что подмела! Теплая вода осталась — можешь мыться. И тихо, пожалуйста, а то дедушка спит.

Яшка покорно снимал ботинки, мыл руки и тихо входил в комнаты. Он подчинялся Клаве во всем, зная, что Алешин скажет ей:

— А теперь, Клабочка, оставь-ка нас: у нас свои дела.

Клава дергала плечом: подумаешь — дела, но уходила, и Яшка внутренне торжествовал.

Однажды он пришел и не застал Алешина дома. Он собрался уйти, но Клава втащила его обратно в дом за рукав и заявила, что никуда не пустит его: она в доме одна и ей просто-напросто страшно. Яшка смутился, взглянув на нее: нетрудно было догадаться, что она что-то крутит, и ей вовсе не страшно, а так — придумала предлог. Клава носилась по всему дому, притащила самовар, поставила на стол тарелку со студнем. Яшка не поднимал на нее глаз; он чувствовал, что молчать нельзя, надо что-то говорить, но слова застряли у него в горле. А Клава, сидя напротив, глядела на него в упор, подперев кулаками щеки, так что глаза у нее превратились в узкие щелочки.

Яшка, отвернувшись, увидел лежавшие на подоконнике книги и для того, чтобы нарушить тягостное молчание, спросил:

— Ты читаешь?

— Я.

Снова наступила пауза.

— А что это?

— Да так, — сказала Клава, словно бы нехотя. — Тебе неинтересно. Гоголь, «Мертвые души».

«Мертвые души» Яша читал, но многого не понял, а теперь, услышав это «тебе неинтересно», обиделся, — столько пренебрежения слышалось в Клавином голосе. Он с грохотом отодвинул от себя стакан с недопитым

чаем и поднялся, придерживая рукой металлические бабашки, насыпанные за пазуху.

— Это почему же «неинтересно»? — Яша с расстановкой и как бы в нос произнес это слово. — Думаешь, ты одна такая... умная?

Клава ответила с прежней насмешливостью:

— Да ты разве интересуешься книгами? Борова скипидаром помазать или куриц самогоном напоить — это тебе, наверно, больше по душе.

У Яшки перехватило дыхание: знает! Ну, так что тут плохого? Ведь иначе-то он не мог уйти от Филимонова. И хотя он собирался сейчас схватить шапку и, не простившись с Клавой, убежать, — что-то удержало его. Быть может, то, что в самом тоне, каким говорила Клава, слышалось осуждение, а он не мог понять, в чем же осуждают его. Девушка, деланно зевнув, отвернулась:

— Нужны тебе эти книги...

— А может и нужны, — вспылил Яков. — Подумаешь... Что ж худого, что я борова наскипидарил? Ну, так и надо...

— Дурак, — спокойно заметила Клава. — Боров виноват, что ли? Небось, самому Филимонову побоялся бы и кукиш показать. А на бессловесной скотине легко отыграться.

Яшка, разозлившись, пошел к дверям. Клава оставила его:

— Ты куда? Да постой же. Принес?

Он обернулся:

— Что принес?

— Ну, для отца — принес что-нибудь?

— А ты откуда знаешь?

— Теперь знаю, — улыбнулась она. — Давай сюда.

Яков пощупал под рубашкой теплые бабашки, отличные из обрезков металла, и буркнул:

— Ничего я не принес. А где Павел Титович?

Клава тихонько засмеялась. Отец стоял в дверях и улыбался: Яков и не заметил, как он вошел. Алешин шагнул к нему и, взлохматив его волосы, ободряюще проговорил:

— Молодчина ты, парень! А Клава в самом деле знает. Разве от нее чего-нибудь скроешь? Она у нас всюду пролезет.

Алешин говорил неправду. О существовании подпольной типографии знали пока только большевики, и Павлу Титовичу надо было говорить эту неправду, чтобы ребята, не зная толком ни о чем, считали себя участниками какого-то очень важного и опасного дела.

Ребята, конечно, и не догадывались, что в нескольких километрах от поселка, на берегу тихой речки Шограш, в обрыве была вырыта землянка. Вход в нее скрывали кусты буйно разросшегося ивняка. Чтобы войти в землянку, нужно было подъехать к обрыву на лодке и лезть по веревочной лестнице вверх. В землянке можно было жить и зимой. Здесь стояли нары, стол, несколько табуреток; в нише, полностью собранный, стоял типографский станок. А в углу, закрытое досками, хранилось святое святых, то, что с огромным трудом удалось привезти Чухалину из Москвы — оружие.

6

Листовка, которую Яшка нашел утром в своем инструментальном ящике, была невелика. Отпечатанная на серой, плотной бумаге, в которую лавочники обычно заворачивают селедку, она бы и не привлекла Яшкиного внимания, если б не приглушенные и радостные голоса рабочих, Яшкиных соседей по цеху:

— Глядите, ребята: птички-залетки.

— Давно не было милых.

— А ну, кто голосистый — читай. Да пусть мальцы на свои места встанут. Без Пузана обойдемся...

Чухалина никто и не замечал, а он стоял в стороне, улыбаясь, а когда рабочие, заметив его, утихли, кивнул головой: «Читайте, читайте, мне тоже интересно послушать».

Яшку поставили к окну. Один из рабочих сказал ему строго:

— Гляди на двор. Что мы тут делаем — тебя не касается. А увидишь кого — свистни. Умеешь свистеть-то? Покажи.

Яшка вложил в рот два грязных пальца и пронзительно, так, что у самого зазвенело в ушах, свистнул.

— Вот-вот, — одобрительно похлопал его по плечу рабочий. — Стало быть, чуть что — свисти во всю силу.

— Зачем во всю силу, — спокойно заметил мастер Чухалин. — Надо тихонько, чтоб только мы услышали.

Рабочий внимательно поглядел на него, но смолчал и повернулся к Чухалину.

Яшка стоял у окна и слушал размеренный, спокойный голос читающего листовку:

— «Товарищи рабочие! Выпуская смертоносную продукцию для братоубийственной войны, капиталист Печаткин несколько миллионов рублей в год выколачивает из нас, опускает прибыли в свой бездонный карман. Оглянитесь, как построен наш завод? Цехи сплошь деревянные, ни о какой охране труда капиталист не думает. Каждый день кто-нибудь да увечится. А о нашей жизни нечего и говорить. В бараках — рассадник заразы... Рабочие живут по шесть-семь человек в клетушке, где и двоим-то тесно... Штрафы так и сыплются на нас... Особенно зверствует хозяйский холуй Филимонов. Забыл, видимо, как его катали на тачке в пятом году».

В конце листовка призывала рабочих к борьбе. Под текстом стояла подпись: «Местная организация РСДРП(б)».

У Яшки гулко колотилось сердце. Каждое слово было понятно и ясно ему. Он словно бы разом увидел ветхие цехи, и свои покалеченные пальцы, припомнил комнату, где кроме него с матерью жило восемь рабочих, и угрозы мастера Филимонова.

Прослушав листовку, рабочие молча курили, каждый думал о своем. Возможно, они стеснялись Чухалина.

Чухалин, поднявшись на ящик, тихо спросил:

— Всё понятно, товарищи?

— Вроде бы всё... Только... как бороться-то? У меня, к примеру, батьку в шестом году услали к черту на рога. Так и пропал он...

— К тому ж, голые и безоружные мы.

— Неувязка здесь.

— Никакой неувязки нет, — спокойно сказал Чухалин. — Вспомните, как было в пятом году. Теперь, товарищи, большевики сильнее, чем одиннадцать лет назад, да, сильнее.

Последние слова он проговорил отчетливо и твердо.

Рабочие молчали. Наконец, один из них встал, подошел к Чухалину и, крепко пожав его руку, сказал:

— Ты прости нас, Михайлыч. Мы думали — ты просто хороший мужик...

Чухалин, смущенно вытащив из кармана носовой платок, снял очки и начал протирать стекла.

* * *

Яшка не мог забыть того, что сказала ему Клава. День ото дня всё острее становилась обида, нанесенная ему Филимоновым.

Завидев Филимонова, он проходил мимо него с вызывающей ухмылкой, но мастер, казалось, не замечал его, и это бесило Яшку. Хоть бы за ухо схватил, дьявол, — в кармане Яшка таскал теперь острый напильник, и он бы обязательно полоснул мастера по его пухлой, покрытой рыжими волосами руке.

Неожиданно ему пришлось снова столкнуться с Филимоновым, но уже при других обстоятельствах...

Мастера Чухалина управляющий Молотиллов на два дня послал в губернский город. Молотиллов велел Филимонову на эти два дня заменить Чухалина. Смена была ночная, и Филимонов пришел на работу вместе с табельщиком Митей. Он увидел Яшку в инструментальной и позеленел от злости:

— Марш отсюда, заморыш!

Дальше последовала такая брань, что Яшка опрометью выскочил из инструментальной кладовой, прибежал в цех и рассказал слесарям, как его шуганул Филимонов.

— Он всегда в ночной смене спит, — произнес задумчиво Петька Зуев. — Филимониha говорила, так спит, что хоть всех святых вместе с ним выноси — не услышит. Каждое утро он чуть ли не драться лезет, когда его будят. Может, смажем, а?

Яшка не понял, что значит «смажем», но согласился, догадываясь, что Зуев зря ничего не предложит. Когда же тот объяснил ему свой план, Яков пришел в восторг. Вспомнив упрек Клавы, усмехнулся: «Что-то ты скажешь теперь».

Рабочие в цехе, узнав, что на смену заступил Филимонов, подзадоривали ребят:

— Валяйте, хлопцы! Придумайте что-нибудь для Пузана. Мы хоть посмеемся.

Часа в три ночи ребята увидели через маленькое окошко табельщика, что Пузан и Митя спят. Яшка разыскал Зуева и вместе с ним попробовал открыть дверь: она была закрыта на задвижку. Выручил их один из слесарей: он сунул в скважину кусок проволоки, повертел им, и дверь открылась.

Ребята, осторожно ступая на носки, вошли в конторку. Пузан и Митя вовсю храпели. Филимонов развалился на рыжем, теплом тулупе, а табельщик — в мягком кресле, вытянув ноги вперед.

У Петьки Зуева глаза так и горели, когда он кивнул на чернильницы, стоящие на столе. Яшка посмотрел: одна была с фиолетовыми чернилами, а другая с красными, — ими обычно Чухалин писал сводки. Зуев вытащил из кармана мягкую тонкую кисточку, которой токари смазывали мыльной эмульсией обрабатываемые детали.

У Якова мелко тряслись колени. Зуев шикнул на него — начинай, и он, осторожно подойдя к Филимонову, обмакнул кисточку в чернила...

На лысине мастера Яша нарисовал большой крест, на лбу — рога, нос осторожно покрасил красными чернилами, провел две красные полосы по обе стороны рта, отчего он стал казаться огромным. Щеки сделал в крапинку.

Пузан спал, он даже не пошевелился.

Точно так же Зуев разукрасил табельщика. Тот иногда махал рукой, будто отгоняя надоедливых мух, но не просыпался.

Закончив свое дело, Петя и Яша тихо вышли из конторки, слесарь закрыл за ними отмычкой дверь. Теперь надо было что-то предпринять, чтобы мастер и табельщик проснулись.

Кто-то предложил позвонить по телефону, рассчитывая, что звонок разбудит Митю. Так и произошло. Митя испуганно вскочил и бросился к трещавшему аппарату: «Я слушаю! Я слушаю! Кто говорит?» Но трубка молчала.

Разбуженный звонком Пузан начал было ругаться, по вдруг замолчал. На лице его появилось недоумение,

потом испуг, потом губы начали расплываться в глупой улыбке.

То же самое происходило и с табельщиком. Вдруг рабочие услышали громкий, визгливый смех Филимонова. Вслед за ним мелко и дробно засмеялся Митя. Оба, указывая друг на друга пальцами, были не в силах что-либо выговорить от смеха.

Первым опомнился Пузан; заикаясь, он проговорил:

— Ну и рожа! И размалевали тебя, сволочи, как картину, прости господи. Прямо вельзевул какой-то. Умойся поди, а не то, если увидят твою рожу, год смеяться будут. Вот сволочи, не иначе, как это чертово семя... неужели и меня этак?

— И вас, бог прости, Корней Фаддеевич! — еле справляясь с новым приступом смеха, пропищал Митя.

Мастер посмотрел в окно и увидел рабочих, которые заглядывали в конторку и смеялись.

Он всё понял. Прикрыв руками лицо, Пузан бросился вон из конторки. Прибежал в умывальную и сунул голову под кран. Фиолетовые и красные чернила расплылись, покрыв сплошь лицо и лысину. Умываясь, мастер поминутно смотрел в зеркало. Хотя он и безжалостно растирал кожу, отмыть чернила оказалось делом вовсе не таким легким. Без пемзы тут не обошлось.

Филимонов, возвращаясь обратно в конторку, зашел в инструментальную кладовую, и слесари не успели опомниться, как он подбежал к Яшке и, крепко рванув его за ухо, ткнул в нос кулаком:

— На, художник, шпана подзаборная. Завтра за ворота вылетишь.

У Яшки потекла из носа кровь, от сильной боли он съежился, размазывая кровь по лицу.

— Ты чего парнишку бьешь? — угрюмо сказал один из рабочих, слесарь Мелентьев, подойдя вплотную к мастеру и раскачивая в руке тяжелый ручник.

Филимонов плюнул на пол, повернулся и вышел из кладовой.

Утром, после смены, Яша торопливо выбежал из цеха, чтобы незамеченным прошмыгнуть за ворота. Но Филимонов ждал его. Он схватил Яшку за руки, резким движением бросил на землю, но парнишка, пряча в колени лицо, успел громко крикнуть:

— Дядя Ваня-а!

Удара не последовало. Яшка осторожно открыл глаза. Рядом с Филимоновым стояло несколько рабочих, в густых сумерках были видны их злые лица:

— Ты что, мастер, опять парнишку бить хочешь? Кровь играет? Что же, можно и подрасться.

Мелентьев глухо и угрожающе сказал Пузану:

— Уйди от греха. Не то плохо может быть...

Мастер, не сказав ни слова, пошел. В дверях он обернулся:

— Вы еще, бунтовщики, вспомните меня, это как бог свят.

— Иди, иди, — махнул рукой Мелентьев. — Не боюсь. В полицию иди, жалуйся, филер паршивый.

На другой день приехал Чухалин. Яшка всё подробно рассказал ему. Чухалин сначала засмеялся, а потом, нахмурившись, качнул головой:

— Не так, Яшка, надо с этими Пузанами драться. Ну да вырастешь — поймешь. Таких, брат, надо... насмерть бить. Вот оно как дело-то обстоит...

7

Мало кто знал по-настоящему, как живет Григорий Михайлович Чухалин. Все считали его добрым человеком, знатоком своего дела — и только. Был он среднего роста, лет пятидесяти, с совершенно голой головой: как многие рано облысевшие люди, голову он брил. Ходил Чухалин в пиджаке, жилетке и в брюках навыпуск, носил неизменную кепку цвета «маренго», с желтым, засаленным ремешком у козырька. Кепка обычно была сдвинута на затылок. И, глядя на него, никто не мог бы догадаться, что этот человек возглавляет в Печаткине партийную организацию.

Приехал Чухалин в Печаткино из Петрограда. В 1912 году, после Ленских событий, он был арестован за агитацию и сослан на два года в Шенкурский уезд Архангельской губернии. Вернувшись в Питер в самом начале войны, он нигде не мог устроиться на работу, и только ввиду его высокой квалификации он был принят на печаткинский завод. Правда, после появления листовок стали поговаривать, что Григорий Михайлович

«самый главный революционер» на заводе, только тонко ведет дело, так, что комар носа не подточит. Когда мастер работал ночью, к нему не раз неожиданно являлись жандармы в штатском, в конторке начинался обыск. Был обыск у него и дома. Впрочем, встревоженное заводское начальство готово было подозревать всех. Когда кто-либо намекал на то, что Чухалин — «главный революционер», на его защиту немедленно поднимался управляющий Молотиллов.

— За Чухалина я вам полдюжины инженеров отдам, — говорил он, зная, что другого такого специалиста-практика ему и в самом деле не найти.

Яшка любил мастера. Он привязался к нему еще тогда, когда тот ровным, спокойным голосом попросил Филимонова перевести мальчишку в его смену. Он рос без отца, да и, по существу, без матери. Его доброе отзывчивое сердце нуждалось в ласке, и когда он чувствовал ее — легко привязывался к людям.

После того как Яшка пронес на завод две пачки листовок — их дал ему Павел Титович Алешин — мастер стал относиться к нему еще лучше. Временами Яшка ловил на себе задумчивый взгляд мастера и смущенно опускал глаза. Ему казалось, что Чухалин смотрит на него с какой-то непонятной, затаенной грустью, и Яшке хотелось подойти к нему и сказать: почему вы что-то скрываете от меня? Он смутно чувствовал, что взрослые живут недоступной ему жизнью, и в ней участвуют и Чухалин, и отец Клавы, и Тит Титович, и Франц; и, еще не зная, какая это жизнь, Яшка тянулся к ней.

Слова листовок заставляли его замирать от восторга. Он проносил на завод эти небольшие листки с сильно бьющимся сердцем, но не потому, что ему было страшно, а потому, что и он как бы прикасался к той тайной жизни, которую вели Чухалин и рабочие.

Твердо он знал только одно: плохого мастер Чухалин не сделает. Когда же от Мелентьева Яшка услышал, что, по всей видимости, мастер — большевик, он спросил:

— А что это такое — большевик?

— Значит, которые за народ стоят против царя и буржуев, — сбивчиво объяснил Мелентьев. Это объяснение не удовлетворило Яшку, и он, после работы зайдя к Алешину, спросил его, правда ли, что Григорий

Михайлович большевик, и что если так, то можно ли Яшке стать большевиком.

У Алешина дрогнули широкие ноздри, сдержав смех, он сказал:

— А ты помалкивай, брат. За одно это слово, как говорят, Сибирь готова.

— Ну, тогда еще листовок дайте, — вздохнул Яшка. Листовок ему больше не дали, но месяц спустя Чухалин нашел ему дело...

Это было в начале февраля; смена работала ночью. Григорий Михайлович вызвал к себе Яшку и, пригласив сесть, спросил:

— Как у тебя, Яша, язык — крепко на шарнирах сидит или как в колоколе болтается?

Яшка обиделся:

— Я пока никому ничего не болтал.

— Ну, ну... — словно извиняясь, протянул к нему руку мастер. — Очень серьезное дело есть, Яша. Если узнают, то мне, да и другим очень плохо будет. Понял? Плохо будет!

Чухалин произнес последние слова с каким-то особым значением.

— Пускай рубят меня на части, а я всё равно ничего не скажу, — выпалил Яша. В веселых глазах Чухалина появилась добрая усмешка. Яшка еще больше осмелел: — Спросите у ребят. Ябедничал я на кого-нибудь? Вот, ей-богу, никому не скажу!

Он даже перекрестился для убедительности.

— Не божись, Яша, — тихо сказал Чухалин. — Здесь нам бог не поможет. Ну да я верю тебе.

Он прошелся по конторке:

— Ты через полчаса пойдешь вниз, подежурить у дверей. О всех, кто направляется сюда, своевременно и быстро предупредишь.

Яшке поручение показалось несерьезным. Чухалин будто прочел его мысли:

— Это очень важное дело, Яша. Если ты его как следует не выполнишь — многие в тюрьму сядут, — нахмурив брови, сказал он.

— Сделаю я, — в тон ему и так же хмурясь ответил Яшка. — На совесть сделаю. Пускай скорей меня в тюрьму посадят, а я вас не подведу.

— Вот и хорошо. Тебя-то в тюрьму не посадят, мал

еще, а ты лучше так сделай, чтобы меня не подвести. Ну, иди! Я тебя позову, когда надо будет. Только помни: никому ни слова.

Яшка не уходил. Чухалин видел, что он о чем-то хочет его спросить:

— Чего ты?

— Скажите, дядя Шура, а что такое «большевик»? — спросил Яшка.

— Большевик? — переспросил Чухалин, пристально посмотрев на любопытствующего парнишку. После небольшой паузы он сказал: — Это, Яша, так зовут тех, кто добра людям хочет, кто борется, чтобы рабочим жилось лучше. Об этом как-нибудь я тебе еще расскажу. Приходи ко мне домой в воскресенье.

— Ладно, приду. А ты не большевик, дядя Гриша? — снова спросил Яшка. Чухалин засмеялся:

— Вот что, паренек. Никого об этом не спрашивай. Никто тебе не скажет. Ты лучше приглядывайся ко всему.

— Я и приглядываюсь. Только ничего понять не могу. Слышал я, что дядя Павел тоже большевик, а я смотрел, смотрел за ним, а он обыкновенный человек!

Чухалин повернул его за плечи к дверям:

— Об этом потом. Ну, ты иди теперь.

Через полчаса в конторке Чухалина собралось человек десять или двенадцать рабочих. Из соседнего цеха пришел дядя Павел.

Стояла лунная, звездная ночь. Яшка мерз в холодном подъезде. Коридор и лестница были слабо освещены; где-то на самом верху, под потолком, горела маленькая, запыленная электрическая лампочка. В такой темноте трудно было различить даже лица.

Яшка стоял уже около двух часов, его начало знобить. Он перешел на лестничную площадку и стал греться у батареи парового отопления. Случайно выгзнув в окно, он увидел, как к крыльцу подходят четыре человека. Лунный свет скользнул по стволу винтовки.

Яшка со всех ног бросился по лестнице вверх, к дверям конторки.

В конторке уже все встали и толпились у дверей на лестницу, ведущую в цех.

— Спокойнее, товарищи, быстро расходиться по цехам, — говорил Чухалин. Дядя Павел, обернувшись, хитро подмигнул Яшке.

Пока жандармы поднимались, комната мастера уже опустела. Чухалин тоже ушел в цех. Только хмурый табельщик что-то писал и около него стоял Яшка.

Дверь с грохотом открылась, как будто бы ее хотели сорвать с петель. Жандармы не вошли, а влетели в конторку и с бранью подскочили к табельщику:

— Где мастер? Встать, скотина, — ревел жандарм.

— Мастер в цехе, — спокойно ответил тот и показал рукой на окно. — А потом, ваше благородие, я не скотина, у меня человеческий облик есть. А если бы я был скотина — козел там или бык какой, — я бы на вас бодаться бросился. Так-то, ваши благородия... Позвать вам мастера, что ли, или сами в цех пройти изволите?

— Позови! — отрывисто приказал жандармский офицер.

— Яша, сбегай.

Когда Чухалин пришел, жандармы начали расспрашивать его о пожарной охране, о том, не заметил ли он в цехе посторонних. Дядя Гриша отвечал спокойно: нет, посторонних в цехе не видно, а пожарную охрану проверяли только вчера.

Скоро незваные посетители ушли. Чухалин, протянув Яшке руку, прижал его к себе и поцеловал в красную, еще пахнущую морозом щеку.

8

В конце февраля жизнь Якова Курбагова круто перевернулась.

Как-то ночью его разбудил тяжелый, будто подземный толчок, и он вскочил, закрывая лицо рукой: в комнату со звоном посыпались стекла. Далекое эхо разнесло грохот взрыва. Наспех одевшись, Яшка выскочил на улицу. Мимо него уже бежали, что-то крича и размахивая руками, люди, навстречу им бежали другие и тоже кричали, и тоже размахивали руками, а в той стороне, где был завод, стояло в морозном воздухе черное, неподвижное облако дыма.

Повинуясь толпе, Яшка побежал туда; по дороге он

ловил обрывки фраз: «Пятый цех... начисто... склады...»

Возле заводских ворот стояла плотная толпа рабочих. Взобравшись на пролетку, бог весть как очутившуюся здесь, Яшка увидел, как за забором люди носят и складывают какие-то длинные предметы. Там дымились развалины, и Яшка догадался: это то, что осталось от рабочих утренней смены. У него закружилась голова, он чуть не упал с пролетки, но пересилив себя, осторожно слез.

Внезапно он вздрогнул: мать! Она же работала там, в пятом цехе, и Алешин тоже работал там!.. Он бросился в толпу, расталкивал людей, проползал на четвереньках, пока не добрался до ворот. Здесь его остановил Чухалин:

— Ты куда, сынок?

— Туда... там... мать...

Яшка задыхался от слез, комом стоявших в горле. Чухалин, нагнувшись, поднял Яшку своими сильными руками и передал стоявшему неподалеку Пушкину:

— Отведи его ко мне...

— Я не хочу! — крикнул Яшка, отрывая от себя руки Чухалина. — Дядя Гриша, я не хочу! Мама!

Рабочие стояли молча. Яшка видел нахмуренные, злые лица, побелевшие губы: ему стало страшно. Когда ему удалось вырваться из цепких рук мастера, его обняли другие руки, и незнакомый рабочий тихо сказал:

— Иди отсюда, паренек. Сейчас не место тебе здесь.

Яшка рванулся от него прочь, вцепился в железные прутья заводских ворот и затих...

Постепенно до него стали долетать отдельные слова, потом целые фразы. Вот, забравшись на забор, кричит жандарм Бессонов:

— Это немецкие штучки! Немцы и большевики заодно, они и подложили бомбу!

— Врешь, подлюга!

— Катись отсюда!

Что-то полетело в Бессонова; он поспешно слез с забора и побежал через двор, придерживая кобуру.

Сзади раздался знакомый голос Чухалина:

— Это ложь! На нашей крови богатство зарабатывают, товарищи. Лишнюю копейку пожалел Печаткин отпустить на рабочих — вот и погубил столько народа.

Его голос слышался далеко: стояла тишина.

Чухалин говорил неторопливо, как обычно, взвешивая каждое слово:

— Пора кончать с этим, товарищи. Довольно пролилось нашей крови. Царь и капиталисты заодно, вместе душат нас! Долой войну!

Яшка увидел, как по двору пронесли носилки, покрытые мешковиной. Из-под покрывала торчала рука. Носилки наклонились, и вдруг рука вывалилась в грязь. Яшка вскрикнул и потерял сознание.

* * *

К мастеру Чухалину, только что вернувшемуся домой с аварийных работ, прибежал парнишка-телеграфист. От быстрого бега он задыхался так, что не мог выговорить ни слова. Наконец, он сбивчиво рассказал, что сегодня утром принял телеграмму, в которой говорится, что царь отрекся от престола, что временный комитет Государственной думы, во главе с Родзянко, взял власть в свои руки и призывает всех к спокойствию и порядку. Была и вторая телеграмма, рассказал телеграфист: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов предлагал создавать Советы на местах и брать власть.

— Где эти телеграммы? — спросил, быстро одеваясь, Чухалин.

— А начальник почты все телеграфные ленты забрал и побегал на квартиру к Молотилу.

Чухалин, осторожно накрыв одеялом разметавшегося на постели Яшку, выбежал на улицу.

Сначала он заскочил к Беднякову, потом к Булгакову и еще к нескольким большевикам.

Минут через пятнадцать тревожно загудел заводской гудок. Из уцелевших цехов рабочие высыпали на заводской двор, к заводу бежали люди из поселка. Под напором толпы открылись тяжелые заводские ворота.

Кто-то принес несколько пустых ящиков из-под снарядов, они стали трибуной, на которую легко вспрыгнул Бедняков. Толпа притихла.

— Товарищи! — крикнул Бедняков. — Вчера в Петрограде свергнуто самодержавие. Кровавый царь отрекся от престола. Сегодня утром пришли телеграммы о событиях в Питере. Почтарь Воробьев, Молотил и

другие господа хотят скрыть от нас эти телеграммы! Все они сейчас собрались на квартире у Молотилова. Но революцию скрыть нельзя, товарищи! Заставим господ выдать нам телеграммы!

Толпа двинулась к воротам. Рабочие выходили и сами строились в ряды. Передние двинулись по улице, и зазвучала давно не певшаяся в полный голос революционная песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Песня еще не кончилась, а где-то в середине колонны уже родилась новая:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

У дома Молотилова уже стояло несколько сот рабочих, они прибежали сюда раньше, вместе с Чухалиным и Булгаковым.

— Товарищи, главное — спокойствие! Спокойствие, товарищи! — слышалось в рядах. Бедняков и еще несколько человек, раздвигая толпу, поднялись на крыльцо и вошли в дом. Через некоторое время в дверях показался огромный, страшный в ярости кузнец Смирнов. Он, как котенка, держал за шиворот почтаря Воробьева и толкал вперед. В сопровождении рабочих вышел мертвенно бледный Молотилев и вслед за ним жандармский ротмистр. Толпа загудела:

— Давай их сюда!..

— Хватит, поцарствовали!

— Смотрите, какие морды отъели!

На крыльцо вышел Бедняков, размахивая над головой лентами телеграмм.

9

Яшка очнулся только на третий день — бледный, с коричневыми тенями под глазами. Еще боясь открыть глаза, он лежал и слушал, как кто-то ходит по комнате, осторожно передвигая мебель, и, наконец, тихонько позвал:

— Мама!

Шаги смолкли. Яшка, открыв глаза, увидел прямо перед собой стенку с какими-то незнакомыми обоями, часы-ходики и фотографию в резной рамке: эти вещи он тоже видел впервые. Он захотел приподняться и не смог. Всё тело было словно привязано к постели сотнями невидимых веревочек, которые больно и глубоко врезались в кожу. Яшка выдохнул: «Пить», и когда почувствовал на губах холод кружки, вспомнил всё...

Его выходила Марфа Ильинична Алешина. Три дня назад чудом спасшийся от смерти Павел Титович принес Яшку от Чухалина и, уложив в свою кровать, сел, обхватив голову руками:

— Настасья... погибла...

Мать охнула, прислонившись к дверному косяку, и долго смотрела на Яшку печальными, глубокими, какие часто бывают у старух, глазами. Потом, подойдя к кровати, она медленно провела рукой по шершавой Яшкиной щеке, сердито нахмурившись, сказала сыну:

— Чего панихиду развел? А еще мужик. Ступай-ка, накопи дров — с утра печь не топлена.

Алешин, опешивший от спокойного тона матери, послушно встал и ушел; только тогда Марфа Ильинична разрыдалась, беззвучно шевеля мягкими ввалившимися губами и вытирая щеки краешком передника. Ей было жаль всех: и Настасью, и осиротевшего Яшку, и сына, оставшегося бобылем, и себя. Скоро уж и помирать, а оглянешься — и пусто позади, будто и не прожито шестьдесят пять лет на земле...

Яшка постепенно начал узнавать вещи: и эти часы-ходики, и фотографии в рамке на стене, и старомодный пузатый комод, на котором стояли в вазочке ломкие бессмертники.

И снова в памяти вспыхнуло увиденное там, на заводском дворе. Поднеся ко рту руки, Яшка сдавленно закричал. Из соседней комнаты вышла Марфа Ильинична; у нее шевелились губы, очевидно, она что-то говорила...

Потом он несколько дней пролежал, отвернувшись к стене. Его заставляли есть — и он ел нехотя, с трудом. Закрывая глаза, он снова представлял себе мать, ее усталое бледное лицо со скорбными складками в уголках рта. Временами ему казалось, что мать здесь, в ком-

нате, и он пытался встать. Нет, это Тит Титович осторожно входил в комнату и, увидев, что Яшка беспокоился, махал руками: лежи, лежи, я на секундочку, в комод только загляну...

Из комода брали вещи и меняли на продукты — для Яшки... Он, конечно, ничего этого не знал.

Жуткое чувство одиночества, быть может, и убило бы его, но вечерами, когда собиралась вся семья, он словно бы оживал и незаметно для себя начинал слушать, о чем говорят взрослые. Он и не догадывался, что люди собирались и разговаривали иногда ради него, ради того, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей.

Слушая эти разговоры, Яшка начал представлять себе, что творилось за стенами маленького домика, ставшего ему родным.

В Совет, как он узнал, было избрано одиннадцать человек. Из них шесть большевиков, среди них Бедняков, Пушкин и Чухалин; один анархист — Федоров и четыре эсера — один «правый» и три «левых».

На другой день был избран первый легальный заводской комитет. Председателем его стал Павел Титович Алешин.

Яшка не знал многих слов, произносимых взрослыми. «Митинг», «эсеры»... Тит Титович кое-что объяснял ему по-своему:

— Эсеры, это, брат, навоз... Не трогаешь, а всё равно воняет. С ними никогда не связывайся — замараешься.

Тит Титович рассказал о митинге на площади перед заводом. Он то и дело хитро подмигивал Яшке, порой вставляя какое-нибудь соленое словцо, и Марфа Ильинична замахивалась на него тряпкой:

— Не охальничай, безбожник!

Г...4 марта заводской гудок созвал рабочих на площадь. На трибуне стояли трое незнакомых: один из них выделялся плюшевой шляпой, двое были в форменных фуражках с синими и зелеными околышами. С ними разговаривали о чем-то оживленно Молотилов и эсер Карякин.

Когда народ собрался, помощник Молотилова — Ермашев объявил, что слово имеет представитель губернской власти.

Люди притихли.

Плюшевая шляпа заговорила:

— Граждане русской республики! В столице пашей, в Петрограде, образовано Временное правительство, оно приступило к работе, к подготовке выборов в Учредительное собрание, которое должно отразить волю народа и выбрать законное правительство земли русской...

— Кто в правительстве? — крикнули из толпы.

— Сейчас, граждане, прочитаю! — представитель стал читать. Как только он произнес первую фамилию — председателя Совета министров князя Г. Е. Львова, — толпа загудела и заволновалась. Другие фамилии уже невозможно было расслышать.

— Опять князь!

— Царя по шапке, так на шею князь сел!

— Эй! Скажи, а как насчет войны? Когда мир будет?

Толпа волновалась всё больше и больше, оратор беспомощно разводил руками: ему не давали говорить.

На трибуну вышел пожилой токарь Захар Аввакумович Пушкин. И сразу смолкли голоса, наступила ровная, ожидающая тишина.

— Вот что, товарищи! Вы не кричите, а то господа не привыкли к крику. Чего доброго испужаете их... Давайте мы так рассудим. Пускай у них будет князь Львов, а мы его и знать не хотим. У нас своя власть есть? Есть! Совет рабочих депутатов, который мы выбрали. Правильно я говорю?

— Правильно, давай дальше! — раздались одобрительные голоса, хлопки.

— Ну вот, господа, видите? — обернулся Пушкин к представителям из губернии. — Делать, выходит, вам больше здесь вроде бы как и нечего. Управляющий, наверное, даст вам лошадку, на станцию свезти. Мы-то туда пешком ходим, а вы уж будьте так добры, на лошадке... Ну, тогда на этом и кончим. Митинг, товарищи, окончен!

Рабочие начали быстро расходиться. Губернские власти поспешно слезли с трибуны и стали усаживаться в молотилоские сани...

Услышал Яша также историю, которая произошла на заводе и взбудоражила весь поселок.

Тит Титович, рассказывая ее, вытирал слезящиеся от смеха глаза, а Клава и бабушка улыбались.

История была такой.

Когда у людей, вроде Молотилова и Филимонова, прошел первый испуг, они увидели, что жить можно, и снова подняли голову.

Как-то в один из мартовских дней управляющий, обходя завод, пришел в цех Филимонова. Пузан сопровождал его, осторожно ступая на полшага сзади, изогнув коромыслом спину. Они остановились у станка токаря Грачева — «левого» эсера, избранного в Совет рабочих депутатов.

— Ну что, власть, работаешь? — со скрытой насмешкой произнес Молотилов. Мастер мелко рассмеялся, поддакивая начальству:

— И власть нынче пошла...

— Что вам от меня надо? — нахмурившись, спросил Грачев.

— Ишь ты! Прямо губернатор!

Филимонов, увидев себя и Молотилова в плотном кольце рабочих, крикнул:

— Это что такое? Давай по местам, не то всех перепишу...

Сказано это было уже неуверенным, дрогнувшим голосом, в котором явственно слышался страх. Филимонов косился на побледневшего Молотилова, ожидая помощи. Но управляющий, поняв, что дело зашло слишком далеко, бормотал:

— Не надо, Филимонов... Оставь... Идем-ка отсюда, идем...

Но выйти из кольца рабочих уже было невозможно.

Кто-то спокойно сказал:

— Может, прокатим, а?

Филимонова схватили. Он сразу обмяк всем своим рыхлым телом и, повернувшись к Молотилову, взвизгнул:

— Господин управляющий!

— Что вы делаете? Оставьте мастера! Я милицию вызову! — крикнул Молотилов.

Этого было достаточно возбужденной толпе.

— Валяй его тоже на тачку! Везите вторую тачку!

Ждать долго не пришлось. Две тачки, в которых возили глину, с грохотом пригнали в цех.

— Давай их! С удобствами, на рессорах.

Кто-то сбегал в кочегарку и дал гудок. Из всех

цехов выбегали рабочие. Под смех, улюлюканье, веселую, крепкую ругань рабочие повезли тачки.

— Эй, рысаки, подождите, — кричали на бегу двое парней.

Тачки остановились; рабочие, подбежав, накинули на головы Филимонова и Молотилова мешки из-под сурика.

Теперь тачки катились по живому коридору. Все улюлюкали, подгоняя «рысаков».

За воротами живой груз с ходу опрокинули в канаву, полную сточной воды. Первым выбрался из нее Молотилов. Лицо его, измазанное суриком и грязью, подергивалось.

— Смотрите, ребята, монархист-то покраснел! — крикнул кто-то.

— И вежливый стал.

Молотилов, молча вытираясь на ходу, побежал к своему дому.

Пузан, тоже весь перепачканный и с синяком под глазом, был страшен. Он на карачках выполз из канавы и, с трудом встав на ноги, попятился задом от рабочих, всё время низко кланяясь:

— Что вы, ребятки... Ну, что вы, ребятки...

— Ладно, валяй, — великодушно отпустили его. После трудной работы рабочие, стоя у канавы, пересмеивались, закуривали. Никто уже не смотрел в сторону Филимонова, а тот всё еще пятился, всё бормотал:

— Ребятки, да я ж... Не надо, ребятки...

Больше Молотилова на заводе не видели. Не стало и Филимонова: он распродал свое хозяйство и уехал в Сибирь. На место Молотилова управляющим был назначен его помощник — Ермашев.

10

Из дома Алешина Яшка вышел, пошатываясь от слабости, и сразу отправился на завод. Черные, закопченные корпуса словно бы притягивали и вместе с тем отталкивали его. Он шел туда с тупой болью от сознания, что не войти ему больше в пятый цех, не подбежать к матери, не услышать ее обычного, ласкового: «Что тебе, Яшенька?» Слезы душили его, кружилась

голова. Он несколько раз останавливался, прежде чем добрел до проходной.

На заводе долго разыскивал Петьку Зуева — до тех пор, пока один из рабочих не сказал ему, отводя глаза в сторону:

— Нету твоего Петьки.

— Как нету?

— Да так вот... Схоронили.

Яшка вздрогнул, побелел, а оказавшийся неподалеку старик Пушкин с упреком сказал рабочему:

— Эх ты, ботало... Язык у тебя!

Потом Пушкин подошел к Яшке и, проведя по его щеке шершавой, колючей рукой, посоветовал:

— Разыщи Трохова. Знаешь его? Чертежник. Скажи — я послал. Он тебе найдет дело.

Никакого Трохова Яшка не знал, и он решил отправиться в поселок — посмотреть, что там происходит. Но куда бы он ни шел, повсюду казалось ему, что вот-вот вынырнет откуда-нибудь Петька Зуев, посмотрит, прищурясь, сплюнет и кивнет, как обычно: «А, это ты? Идем орла забивать».

А кругом шла своим чередом чужая жизнь, и порой ему мерещилось, что он впервые попал в этот поселок.

Еще во время болезни Яшка много узнал от взрослых о смысле происходящих событий. Властью в поселке был теперь не присланный из губернии комиссар Временного правительства, а Совет рабочих депутатов и заводской комитет профсоюза.

Одного не мог понять он: как это работают рядом рабочие, а один из них — эсер, другой — большевик, третий — анархист. Правда, все они до сих пор выступали вместе, заодно. Есть, конечно, среди них и такие, как эсер Карякин, ставший после жандармского офицера Бессонова начальником охраны, которая теперь называется милицией. Лощеный, фасонистый рабочий. Или еще Федоров, главарь анархистов. Лохматый, похожий на беглого каторжника, да и говорят о нем нехорошее: будто бы он взломщиком был и где-то ограбил банк.

В этот вечер Яшка шел мимо тринадцатого барака и увидел через окна собравшуюся здесь молодежь, подростков из разных цехов. Он робко зашел в помещение.

Какой-то незнакомый мужчина рассказывал об «отце русской анархии» Бакунине, о том, какой это был большой революционер и как мужественно дрался в Дрездене на баррикадах. Когда беседа кончилась, мужчина стал объяснять про какой-то «союз юнцов» и пригласил в него записываться. Ребята потянулись к столу, за которым шла запись. Яшка встал и ушел.

Вечером, вернувшись к Алешиным, он рассказал обо всем, что увидел, Павлу Титовичу. Тот, услышав про запись, тревожно взглянул на него:

— Ты записался?

— Нет. Зачем мне в анархисты?

Алешин, нахлобучив шапку, буркнул своим:

— Если понадобится, буду у соседа.

Идя к Чухалину, Алешин ругал себя за то, что за делами упустил такое дело, как эта «организация юнцов». Черт его знает, что замышляют анархисты: вербуют мальчишек, а потом, конечно, будут им забивать головы всякой чепухой.

Чухалин, услышав об «организации юнцов», тоже насторожился.

— Что же Трохов смотрит? Поручили ведь ему... Как бы нам здесь не опоздать, Павел. В партии сейчас существует мнение, чтобы партийные организации здесь, у нас, в низовке, вмешались в организацию рабочей молодежи. А мы упускаем ребят... Эх! Намнут нам за это бока в губкоме, ей-ей намнут!

Обычно спокойный, всегда ровный, Чухалин нервно прошелся по комнате, зябко потирая руки:

— Съезд партии соберется не сегодня-завтра. О союзах молодежи — отдельный вопрос. Поедет Бедняков на съезд; возможно, будет там и Ленин. Что Бедняков расскажет? Что у нас лохматый Федоров заправляет «юнцами», что ли? Да нас за такое из партии гнать надо!

Последние слова он даже выкрикнул, — так взволновало его собрание в тринадцатом бараке.

* * *

Гроза разразилась в июле.

Яшка, как всегда, работал в ночной смене Чухалина. Около трех часов в конторку пришли милиционеры от эсера Карякина и увели с собой мастера. Яшка всё это

видел и сразу же сказал слесарям. Те переполошились, забегали: оказалось, в эту же ночь были арестованы Бедняков, Булгаков, Павел Алешин. Утром всех их должны были отправлять в губернский город.

Слесари сразу же послали Яшку в поселок — предупредить об этом остальных большевиков.

На обратном пути он забежал к Алешиным, чтобы рассказать обо всем Титу Титовичу. Яшка разбудил всех своим стуком; открыла ему испуганная Клава. В одной рубашке, в накинутом на плечи старом пальтишке и в сандалиях на босую ногу, она долго не могла понять спросонья, что случилось.

Встал Тит Титович. Яшка скороговоркой, задыхаясь от быстрого бега, рассказал ему, как арестовали дядю Павла.

— Ну, мать, — крикнул Тит Титович за перегородку, — видно, до самой смерти не дождемся мы от сыновей покоя. Да и в гробу, наверное, нам одно беспокойство будет. Беги, адвокат, теперь уж ничего не делаешь. Посидит да вернется твой дядя Павел. Не впервой ему.

Потом он накинулся на внука:

— Ты что, Клавка, дрожишь и нюни распустила? Ты бы оделась, а то неудобно: ухажер пришел. Да не реви, дура, вернется твой отец.

Яшку не обманула эта грубость: просто старик скрывал за ней свое собственное волнение.

Яшка возвратился в цех; там стоял такой гул, что только отдельные слова вырывались из общей сумятицы ругательств и криков:

— В милицию пошли, чего там!

— Не дадим гадам Чухалина!

— Павлуху засадили. Ну уж!

От громкого и тревожного гудка проснулся поселок. Рабочие бежали, одеваясь на ходу; спешили к заводу женщины и подростки.

Милиция находилась напротив проходной завода, в здании бывшей охраны. Здесь уже стояла плотная толпа рабочих, а напротив них, на крыльце, держа винтовки наперевес, жались друг к другу карякинские милиционеры.

Кто-то намотал на палку тряпку, обмакнул ее в нефть и поджег. Получился факел, он горел ярко, и

видно было, как густой черный дым уходит вверх, к светлому летнему небу. Скоро над толпой вспыхнуло несколько факелов.

Вид большой толпы, освещенной факелами, был грозным и зловеще серьезным. Люди шумели.

— Дождались свободы! Нечего сказать!

— Опять фараоны наших арестовывают...

— Хлеба бы лучше дали.

— Войну кончать надо!

— С голоду подышаем. В брюхе у всех Иван Пискун да Марья Икотишна!

Женщины переключили свою злобу на милиционеров:

— Смотрите, какие толсторожие дармоеды.

— В окопы их! Вшей кормить!

— Они что жеребцы по поселку ходят, сколько уж девок обрюхатили.

— Давайте, бабы! Тащи их! Дадим им порку!

Передние ряды женщин двинулись к крыльцу, где топтались перепуганные милиционеры. В это время на крыльцо забрался большевик Чугунов, он крикнул, поднимая обе руки:

— Товарищи! Спокойно! Это мы всегда успеем... Мы собрались здесь по другому делу. Почему арестовали ночью наших товарищей-большевиков? Их хотят отправить в губернский город. Вы знаете, что они не преступники. Они боролись против капиталистов, за рабочий класс, за свободу, против грабительской войны, которая нужна только капиталистам. Потребуем сюда Карякина, пускай нам скажет: почему арестовали наших товарищей?

— Карякина сюда! Карякина давай!

— Был рабочий, а стал фараон!

Особенно люто кричали пожарные. Большое двухэтажное здание пожарного депо стояло рядом с милицией. Между пожарниками и милицейскими всё время были раздоры, а то и драки. Начались эти раздоры с того, что Карякин отравил брандмейстера метиловым спиртом — угостил на праздничек!

Пожарники выставили из депо рукава и грозились «потопить всю эту вшивую милицию». Крикну Чугунов «давай!», и худо пришлось бы карякинским милиционерам.

На крыльцо вышел начальник милиции. Видно было: человек струхнул; неуверенным голосом он объяснил, что арест произведен по распоряжению губернского комиссара и арестованных можно выпустить только по его приказанию.

— Ты нам не вкручивай! — крикнул кто-то. — Плевали мы на твоих комиссаров! Освобождай, а то плохо будет. Буржуйские холуи! Сели нам на шею!

Карякин отлично понимал, что дело может кончиться не одним холодным душем. «Уж если вы желаете...» — промямлил он и вошел в дом. Через несколько минут на крыльцо вышли Бедняков, Чухалин и Алешин. Их встретили молчанием: все рассматривали их, будто видели впервые, а потом люди зашумели, заговорили.

— Качать их, ребята! — предложил кто-то.

Яшка, работая локтями, пытался пробраться к освобожденным большевикам, но его отпихивали, толкали.

А Чухалин, спокойным, привычным движением протирая стекла очков, уже говорил, — говорил, как всегда, негромко и неторопливо:

— Спасибо вам, товарищи! Спасибо от всей нашей большевистской партии.

Он рассказал, к чему призывают народ большевики, о предательской роли Временного правительства, меньшевиков и эсеров, которые выполняют волю своих и иностранных капиталистов. Толпа затихла и слушала. Чухалин кончил так:

— Час еще не настал, но он скоро настанет, и рабочий класс будет хозяином своей жизни! А сейчас, товарищи, на работу и по домам! За нас не бойтесь, больше они не посмеют.

Домой они шли втроем: Чухалин, Алешин и Яшка. Но не доходя до дома, Чухалин остановился и, положив руку на плечо мальчишке, спросил:

— Дело одно сделаешь? Совсем негероическое...

— Сделаю.

— На тебе ключ. Пойдешь ко мне в дом, соберешь пару рубашек, мыло, полотенце, сапоги. А встретимся мы с тобой завтра в обед. Где железнодорожный седьмой знак — знаешь? Ну вот и всё.

Он пошел в сторону, не оборачиваясь.

— Куда это он? — тихо спросил Яшка у Алешина.

Тот не ответил. Он долго смотрел вслед уходявшему Чухалину, а потом так же тихо сказал:

— Зайди и ко мне. Соберите с Клавой, что самое нужное. Пусть Клава пойдет с тобой к седьмому знаку. — И он ушел в другую сторону. Яшка сначала оторопело глядел на широкую, немного сутулую спину Алешина, а потом, догнав его, дотронулся до рукава:

— Дядя Павел... Вы уходите? Насовсем?

Алешин обернулся. На Яшку глядели слегка грустные глубокие, синие глаза с черной каемочкой вокруг зрачков.

— Насовсем? Нет, брат, не насовсем... Мы скоро придем, Яшка.

11

К железнодорожному знаку он пошел вместе с Клавой. Они миновали последние бараки, и прямо перед ними, сливаясь далеко-далеко в узкую серебристую полосу, легла железная дорога. Сначала они шли по шпалам, непривычно короткими шагами, а потом сошли на песчаную насыпь; идти было трудно, крупный песок скрипел под ногами.

Яшка не думал, что он устанет первым, — очевидно, сказалась недавняя болезнь. Когда он присел, опустив к ногам узелок, Клава спросила: «Может, помочь?» Он не ответил ей, будто не расслышав вопроса.

Ему казалось, что всё переменялось вокруг. Каким-то необычайно нарядным стал лес, с обеих сторон подступавший к железнодорожному полотну, и эти тоненькие березы с черными, будто нарисованными полосками на белой коре, и бронзовые от солнца сосны, и одинокие ивы в низинах, покрывающиеся легким серебром, когда набегал ветер. Воздух — свежий, напоенный запахом хвои, разогретой смолы, болотистой прели — пьянил. Кузнечики неумоно звенели в траве да птицы шумно щебетали, вырываясь из лесной духоты.

Они дошли до ручья и сбежали к прозрачной, игриво журчащей возле коряг, воде. Клава первая опустила в ручей усталые, покрытые пылью ноги. А Яшка не топорился; он всё делал и воспринимал как-то медленно, наслаждаясь окружающей его красотой.

Когда их сзади окликнули: «Эй, вы, куда шагае-

те?» — он не вздрогнул, не испугался и медленно обернулся. Там, за кустами, стоял парень с винтовкой: видна была его голова, сбитый на затылок картуз с расколотым козырьком да загоревшая жилистая шея.

— А, это ты... — протянула Клава. — Смотри, как напугал.

Парень вышел из-за кустов. Яшка узнал его: раз или два он видел его на заводе.

— Куда шагаете? — повторил он.

— А тебе что? — спросила в свой черед Клава. — Нам с тобой не по пути ведь.

— Может, возьмете в компанию?

Яшка смотрел на его красивое, улыбающееся лицо, светлые волосы, свободно падающие на лоб, и хмурился. Парню было лет двадцать пять. Черт его знает, откуда он взялся и почему у него винтовка. Во всяком случае, Яшка решил, что никуда он с ним не пойдет: Чухалин не очень обрадуется, увидев его с кем-то чужим.

— Не по пути? — прищурил глаз парень. — Может, ты к эсерам записалась? Или к этим... как их... в «организацию юнцов», а?

— Никуда я не записывалась, — разозлилась Клава. — И не приставай, не то отцу скажу!

— Отцу? Ну, так бы и говорила, — захохотал тот. Яшка увидел кривые, наползающие один на другой зубы, и ему стало неприятно: красота парня сразу поблекла.

— Значит, к отцу шагаете? Ну-ну... Видал я его утром, Павла Титыча. Привет тебе просил передать.

— Спасибо, без твоих передач проживу, — обрезала Клава, поднимая узелок. — Пошли, Яшенька.

Так назвала она Яшку впервые. И он покраснел, когда увидел, как парень, оглядев Клавину фигуру, отвернулся и хмыкнул: «Ну-ну...»

Уже пройдя шагов сто, Яшка спросил:

— Кто это?

— Этот-то? Мишка Трохов.

— А чего ты его... так?

— Пусть. За девчонками много бегает.

Яшка почувствовал за этим ответом что-то еще недоступное ему — и то, что Клава здесь понимает больше его. Это открытие его удивило: Клава только на один

год была старше его. Искося поглядывая на Клаву, Яшка подумал: «Вот ты... какая...» Но какая — он так и не смог объяснить себе.

Внезапно он вспомнил, что к Трохову его посылал Пушкин: «Пойди к Трохову, он тебе найдет дело». Хорошо, что он тогда к нему не пошел.

— А чего он тут разгуливает? — спросил Яшка.

Клава пожала плечами:

— Не знаю. Может, на охоту пошел? Он у нас был несколько раз, отец его сильно ругал. «Ты, говорит, вместо того, чтоб молодежь организовывать, за поселковыми девчонками охотишься, а еще большевик».

— Он разве большевик? — удивился Яшка.

— Значит, большевик.

На этом разговор о Трохове закончился.

* * *

Его разбудили ночью. Чья-то сильная рука приподняла его за плечи, встряхнула, и Яшка, еще ничего не разбирая спросонья, крикнул.

— Чего орешь? Тише, шенок.

Ему казалось, что всё это — только продолжение очень тяжелого сна и лишь стоит захотеть и проснуться, как всё будет по-прежнему. Но ему уже заткнули рот; он видел, как кто-то нервно чиркает в темноте спички, обламывая их, и слышал сдавленный шепот:

— Не тяните. Люди могут проснуться.

Яшке было страшно, когда его несли. Крикнуть он не мог: в рот ему засунули тряпку, напрасно он пытался вытолкнуть ее пересохшим языком. Когда его бросили на пол, он застонал от боли и освободившимися руками вытащил тряпку.

Он был в незнакомой пустой комнате. Только у окна стоял стол, тоже пустой, а окошко было наглухо завешено одеялом. Яшка обвел комнату мутным взглядом, люди расплывались у него в глазах; наконец, их очертания стали ясными, и Яшка узнал одного из них — начальника милиции Карякина. Он откровенно недолюбливал этого человека. Карякин — до Февральской революции рабочий — ходил в выходной день во фраке и цилиндре на танцы. Пожалуй, ни один рабочий не получал столько, сколько он; и Чухалин однажды, прово-

жая взглядом расфранченного Карякина, сказал Яшке:
— Сукин сын этот Карякин. В нем и рабочего-то ничего нет. Так — дрянь человек.

Карякин стоял, расставив ноги в защитного цвета галифе и крагах медного цвета. Яшка, лежа на полу, видел теперь только эти начищенные краги. Он вздрогнул, когда краги приблизились к нему вплотную и когда тихий голос сверху ласково прозвучал:

— Ты прости, что мы с тобой... так. Обознались. Садись. Пить, наверное, хочешь? На, попей.

Карякин сунул ему фарфоровую кружку, и Яшка взял ее дрожащими руками, расплескивая воду.

— Да ты не бойся, Курбатов, — утешительно улыбнулся начальник милиции. — Свои ведь все люди. Валий, пей.

Когда Яшка допил воду, Карякин, будто ненароком, спросил:

— Что, хорошая вода-то? Сельтерская. А ты с перепугу и не разобрал? Небось, у Чухалина в землянке тебя такой не пойли, а?

Яшка молчал. Карякин повторил:

— Не пойли, верно?

— В какой... землянке?

— Да там, в лесу, — Карякин махнул рукой на окно. — Ты ж вчера ходил туда. Ходил ведь?

Яшка понял, чего ждал от него Карякин. Тот стоял, отвернувшись, будто этот разговор его нисколько не интересовал. Но по тому, как постукивал по крагам длинный ивовый хлыст, Яшка догадался: нервничает.

— Никуда я не ходил, — буркнул Яшка. — О какой землянке вы спрашиваете?

Прямо на Яшку смотрели узенькие воспаленные глазки; он видел, как вздрагивают тонкие ноздри начальника милиции и всё сильнее и сильнее белеют губы.

— А ты не запирайся, паренек, нехорошо это. Мы-то ведь знаем, что ходил. Дочка Павла Алешина с тобой была — Клава. Еще этого встретили... как его? Трохова. Было такое дело? Потом у седьмого железнодорожного знака передали для Чухалина и Алешина вещи. Верно ведь? И в землянку они вас к себе отвели. Ну?

— Какая такая землянка... — упрямо прикидываясь дурачком, которому начисто отшибло память, повторил Яшка. Ему вспомнилось вдруг давнее: город, и такая же

пустая комната, и оловянные тусклые глаза истязателя пристава...

Терпения у Карякина хватило ненадолго. Яшка инстинктивно закрыл локтем лицо, когда услышал свист ивового хлыста. Он бился на полу под обжигающими ударами, кричал: «Дяденька, не надо, не надо, дяденька... Я не знаю... я...» Кричал и знал, что он ничего не скажет об этой лесной землянке, где сейчас сидит спокойно самый близкий ему человек — мастер Чухалин, сидит и не подозревает ничего.

— Будешь говорить, щенок? — сверлил его один и тот же ненавистный голос.

— Не знаю... Ничего не знаю...

Боль только ожесточала его. Она уже успела ожесточить паренька за всю его короткую жизнь — эта вечная боль. И Яшка молчал...

Он молчал и тогда, когда его сбросили с крыльца, и он, отлежавшись, с трудом поднялся на ноги, пошел куда-то по темной улице.

«Кто же выдал?» — внезапно подумалось ему. Но никто не мог ему на это ответить и не у кого было спросить. Пустая улица лежала перед ним, да холодное, высокое небо, густо усыпанное звездами, раскинулось над головой.

* * *

Неизвестно, какими путями узнал Чухалин о том, что Яшку били в милиции. Тит Титович, не найдя его на заводе, пришел в барак и, под каким-то предлогом услав на кухню старуху, жившую за перегородкой, помог Яшке подняться.

— Что, больно, адвокат? — сыпал он быстрым говорком. — Ну да ничего. За одного битого знаешь, сколько небитых дают? Крепче будешь. А что не сказал — молодец, парень, ей-богу, молодец.

— А вы откуда... знаете? — улыбаясь рассохшимися, кровоточащими губами, спросил Яшка.

— Так ведь люди разные есть. Свой человек сказал. Знает, значит...

— Кто же тогда...

Яшка не договорил. Мысль о том, что о землянке, где они были, могла проговориться Клава, ужаснула его; Тит Титович понял:

— А кто его знает? Место-то никто не открыл.

По дороге, придерживая Яшку под мышки, старик перевел разговор на другое, на близкую осень, на грибы, которые растут в окрестных лесах в несметных количествах, и Яшка молча слушал его, думая о том, куда это они идут.

Они прошли весь поселок; там, у крайнего дома их ждала телега, и толстогубый мерин лениво помахивал хвостом, отгоняя мух. Незнакомый Яшке возница засуетился, подложил сена, заботливо подоткнул Яшке под бок какую-то рогожу и тронул вожжи. Мерин лениво мотнул головой и пошел. Тит Титович шагал рядом с телегой, держась за Яшкину руку. Белая рубашка отсвечивала на солнце, и подбородок у старика был совсем белым.

— Куда мы? — тихо спросил Яшка. Тит Титович долго не отвечал, щурился, жевал губами, а потом так же тихо сказал:

— Дело тебе найдено. В поселке сейчас тебе, парень, жизни не дадут. Значит, едешь к делу — и точка.

Как ни привык Яшка к частым и всегда неровным переменам в своей жизни, эта была совсем необычной.

Всё было так, как он не мог даже предполагать. На лодке Тит Титович подвез его к глиняному обрыву. Река, омывая его, становилась ярко-желтой. Старик, внимательно оглядываясь, подогнал лодку к самому обрыву и воткнул в глиняный откос багор. Сразу же сверху полетела веревка; она своей тяжестью глухо шлепнулась в воду, подняв сотни разноцветных брызг; Тит Титович подхватил ее, опять зачастил своей скороговоркой:

— Давай, я тебя под микитки-то повяжу. Как потянут — руками держись, а ногами отталкивайся от обрыва, крепкая веревка, не бойся. Ах ты, как они тебя разукрасили... Не больно так-то, а? Ну, прощай пока, адвокат. Клаве поклон передать, что ли? Лезь давай, лезь...

Там, в пещере, вырытой в обрыве, была типография. И когда Яшку подхватили руки Беднякова, Булгакова и дяди Франца, он впервые за долгое время расплакался, не стесняясь своих слез, размазывая их по лицу грязными руками, чувствуя, как ему хочется что-то сказать, а слов-то и нет, есть только радость...

Есть только радость...

Как они быстро прошли, эти три месяца! Облетел ивняк, закрывающий вход в пещеру. Отсюда, сверху, разом открывались взгляду побуревшие поля, уходящие куда-то в дымчатую, сиреневую даль. Рощи на противоположном берегу реки пожелтели. По ночам высоко в звездном небе тянулись к югу косяки диких уток; долго был слышен свист их крыльев в холодном осеннем воздухе.

А потом наступили ясные солнечные дни и в воздухе медлительно плыли сверкающие паутинки «бабьего лета». Пролетели и осенние дни.

По ночам подмораживало, ветер стучал в крепкие ставни, которыми закрывалась землянка. Выглянув как-то утром, Яшка увидел, что река побелела под берегом: это за ночь сковал мелкие заводи тонкий ледок.

Три месяца! Каждый день Булгаков, кончив набирать очередную листовку, ложился на нары, подзывал Яшку и рассказывал ему о Ленине, о революции, о том, зачем надо разогнать «исплотаторов». Яшка научился набирать на верстатке заголовки и печатать, прижимая рычагом к набору тяжелый пресс. «Товарищи рабочие! Больше ждать нельзя. Партия призывает вас взяться за оружие в нужный момент. Пришла пора, когда мы, веками бывшие в угнетении и бесправни...»

Он сам помогал дяде Францу и Булгакову спускаться на веревке в лодку винтовки...

Часто землянка пустела; Яшка оставался вдвоем с Францем и, лежа на жесткой, сколоченной из неоструганных досок скамье, слушал, как Франц тихонько играет на губной гармошке.

Как-то раз он неожиданно спросил Франца:

— Ты сюда как попал?

Франц, оторвав гармошку от губ, расхохотался:

— Вспомнил! Давно вместе — сейчас вспомнил! Да так: айн, цвай, драй — и нет Франца.

— Сбежал? — догадался Яшка. — А ты разве тоже большевик?

— Я? Нет. Я социаль-демократ... Как это... как эта рука.

Он поднял левую руку.

— Ну, левая.

— Вот. Левая социаль-демократ. Карль Либкнехт — слышал?

Подбирая слова, он долго объяснял Яшке, кто такой Карл Либкнехт, кто такие левые социал-демократы, и, наконец, Яшка понимающе кивнул:

— Тоже, в общем, вроде большевиков, значит...

На этом выяснение партийной принадлежности Франца кончилось, и Яшка остался доволен услышанным.

Ночью поодиночке возвращались жители землянки: Чухалин и Алешин, Бедняков, Пушкин и Булгаков. Просыпаясь, Яшка слышал их голоса; все говорили шепотом, Булгаков что-то раздраженно доказывал, а Чухалин повторял: «Ах ты, дьявол!»

Было ясно: у них что-то не ладится.

Как-то раз в землянке кроме Франца и Яшки остался больной Чухалин. Накануне он промок, простыл и теперь сухо кашлял. Он сидел злой, хмурый, осунувшийся, и словно не знал, куда девать себя, чем заняться. То и дело он подходил к выходу и подолгу глядел на пустую реку.

Яшка понимал: нервничает.

Он подошел к Чухалину и, дернув его за рукав, спросил:

— Что вы все... какие-то стали, дядя Гриша... Не такие, как всегда.

Чухалин улыбнулся через силу:

— Какие «не такие»?

— Ну, такие... неразговорчивые.

Чухалин задумался. Подняв голову, он встретился глазами с Францем и, медленно подходя к нему, сел рядом на скамейку, устало растирая лицо ладонями:

— Плохо, брат, Яша, дело. Провокатор появился. За последние дни — пять арестов. По баракам обыски — нас ищут. А время такое, что люди нам позарез нужны.

— Скоро? — спросил Франц, глядя на Чухалина. Они снова понимающе переглянулись.

— Очевидно, скоро, — тихо ответил Чухалин. Он поднялся, зябко повел плечами и, что-то решив, направился к выходу.

Яшка загородил ему дорогу:

— Вы куда, дядя Гриша, вам не велели.

Чухалин хотел было засмеяться, но опять сухо закашлял, его так и било...

— А ты сам... хочешь... чтоб другая жизнь началась? Чтоб всё скорей было? А?

Подойдя к выходу, он обернулся к Францу:

— Подержи веревку, пожалуйста. Ребята придут — скажешь, я к шестерке пошел, проверю, достали ли они еще оружие. Ну, не скучать!

Он подмигнул Яшке и, обхватив веревку, соскользнул вниз. Минуту спустя Франц, задумчиво сворачивая веревку, сказал, словно ни к кому не обращаясь:

— Карош революционер.

А Яшка думал о том, что вот сейчас идет, с трудом пробирается сквозь эту глухую промозглую ночь Чухалин, идет, чтоб скорей началась другая жизнь.

И когда через несколько дней, в одну из холодных и ветреных ночей октября его подняли с теплой постели, он почувствовал, что жизнь меняется. Уже там, в лодке, Тит Титович прижал Яшку к себе, ткнулся колючим подбородком ему в щеку и, тихо рассмеявшись, сказал:

— К новой жизни едешь, адвокат. То-то! Стар я вот только... Обидно маленько.

Есть только радость!.. И как ни была холодна эта ночь, как ни метались низко по небу черные, в пепельных разводах, разлохмаченные тучи — только радость чувствовал Яшка, еще не зная, о какой новой жизни говорит старик и почему обидно ему думать о своей старости.

12

В большом доме, где жил, приезжая на неделю из Петрограда, Печаткин, шел обыск. Яшка увязался за милиционерами; милиция в поселке теперь была новая, ее начальником ячейка большевиков и Совет рабочих депутатов назначили бывшего брандмейстера пожарной команды Лукина.

Яшка, затаив дыхание, вошел в этот таинственный дом, словно спрятанный от посторонних глаз за высоким кустарником и деревьями. Он впервые видел такое богатство — золоченую мебель, ковры, разрисованные потолки, дорогие безделушки на каминной полке, сто-

лах, подставках... Лукин, заметив его удивленный взгляд, усмехнулся:

— Что, брат, красиво? То-то. Теперь эта красота наша: клуб здесь устроим.

Когда милиционеры отодвинули тяжелый, мореного дуба шкаф, они увидели покрытую густой, свалывшейся паутиной старую калошу, пустые бутылки, какие-то пожелтевшие обрывки бумаги.

— Вот она, буржуазия, — усмехнулся Лукин. — Наверху красота, а под ней грязнота. Ну-ка, Яшка, дуй в завод к уборщицам, пусть приходят с тряпками и ведрами.

На улице Яшку остановил Чухалин:

— Ты куда?

Тот сбивчиво рассказал ему о доме Печаткина, и Чухалин, задумчиво улыбнувшись, отпустил его. Но Яшка не уходил: он почувствовал — Чухалин чем-то озабочен, и дернул его за рукав:

— Вы чего, дядя Гриша?

— Да так, Яша. Понимаешь, дело-то какое... Меня комиссаром на завод назначили. Вроде бы тоже старые печаткинские калоши выносить надо. Барахла-то его здесь много скопилось. Да ты иди, иди...

Яшка помчался дальше.

У Чухалина после назначения его комиссаром действительно появилось много новых забот.

14 ноября Советское правительство ввело рабочий контроль над производством. Декрет предоставлял рабочим право контроля над производством, куплей-продажей продуктов и сырых материалов, хранением их и финансовой стороной предприятия.

Общество фабрикантов и заводчиков, разумеется, не подчинилось этому декрету и разослало своим фабрикам и заводам циркуляр, в котором говорилось: «Предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства сложным механизмом промышленности, приведет ее к быстрой гибели, общество отвергает классовый негосударственный контроль рабочих и предлагает, в случае предъявления на предприятиях требований о введении рабочего контроля, такие предприятия закрывать».

До Печаткина стали доходить слухи о саботаже, о том, что отдельные предприятия закрываются. Чуха-

лин ходил по заводу, поглаживая усы и хитро посмеиваясь:

— Ничего, пусть у нас попробуют.

Но завод работал, и управляющий Ермашев, ужом извивавшийся перед Чухалиным, казалось, из кожи лез вон, чтобы заслужить доверие новой власти. Григорий Михайлович, приглядываясь к нему, догадался: да ведь он, Ермашев, просто хочет сохранить завод! На одном из собраний ячейки он высказал эту мысль, и большевики зашумели:

— Значит, рассчитывает, что старые хозяева вернутся?

— Приедут — и, пожалуйста, заводик: в целости и сохранности.

Чухалину пришлось успокоить страсти:

— Во-первых, не пойман — не вор. А во-вторых, пусть ведет себя так же, как сейчас, нам это только на руку. Мы-то ведь знаем, что старые хозяева не вернутся. А вот когда и Ермашев поймет, тогда уж за ним будем глядеть в оба. Давайте лучше послушаем Трохова.

Трохов — это тоже была одна из забот Чухалина, сильно беспокоившая его последнее время. Трохову было поручено руководить воспитанием молодежи, но дело это никак не налаживалось. Вот и на этом собрании молодежный руководитель не смог порадовать большевиков.

Поднявшись и держась за спинку стула, то и дело поднимая глаза к потолку, он начал перечислять, что сделано по организации Союза молодежи: работает «актерский кружок», ребят учат стрелять из винтовки...

— Маловато, — хмыкнул Алешин. — Я по своим ребятам сужу: Клавка Чарскую мусолит, а Яшка Курбатов мотается бог весть где.

Трохов, вскинув на него свои красивые, чуть раскосые глаза, небрежно пожал плечами:

— Они оба какие-то несознательные. Я говорил с ними, убеждал, а они не поддаются.

Чухалин рассмеялся, откидывая назад голову. Смеялся он так заразительно, что все находящиеся в комнате, кроме Трохова, заулыбались.

— Не поддаются? А может, ты убедить не умеешь?

Трохов снова пожал плечами: дескать, ничего смешного не вижу.

— И вообще, — обиженно сказал он, — в этом Курбатове сидит какой-то мелкобуржуазный элемент.

Чухалин нахмурился. Яшку он любил, — это была очень строгая и скрытная любовь одинокого человека. После того как он узнал, что Яшку били в милиции и ничего не выбили из него, Чухалин почувствовал к нему почти отцовскую привязанность. Поэтому и ответил он тогда Трохову так резко, что тот в смущении замолчал.

— Вы в людях разбираетесь, как свинья в апельсинах.

А встречались они теперь с Яшей редко. На Чухалина и Алешина свалилось столько разных дел, что впору было только за полночь притащиться домой, поесть, что найдется, и свалиться спать. Чухалин даже осунулся за эти недели. Алешин как-то с усмешкой заметил ему:

— Что, Михайлыч, революцию-то, выходит, легче было делать, а?

— Легче, — сознался Чухалин. — А помнишь, как Ленин сказал: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных...» Ну, дальше как?

— Экзамен? — улыбнулся Алешин. — «Мы должны теперь Россией управлять».

— Вот и управляй, — отозвался Чухалин. — А что с хлебом беда — это, брат, нож острый. Ох, чует мое сердце, будет нам от этого бед... Голод, Павлушка, лучший агитатор против нас.

Действительно, с хлебом становилось всё хуже и хуже. Стояли морозы, и люди мерзли в очередях. Иногда дня по три не выдавали положенной нормы — фунт в день. Хлеб был тяжелый, как говорили — «с закалом», с овсяной колючей шелухой, но и такому были рады. Часто вместо хлеба выдавали колоб или дуранду, так называли в поселке льняные и подсолнечные жмыхи. Рабочие ходили на заметенные снегом старые картофельные поля, искали и собирали в мерзлой земле оставшиеся гнилые клубни. Остатки вещей несли в деревню, меняли на картошку, на крупу, хлеб. Ели конину.

Однажды Чухалин, войдя в цех, застал там двух

рабочих; они что-то быстро попрятали по карманам. Он сделал вид, что ничего не заметил, подошел, заговорил о делах, о том, что надо расширять больницу и открыть школу для взрослых. Рабочие слушали его молча. Наконец, один из них, мрачно сплюнув, сказал:

— Ты лучше вот что скажи, комиссар: советская власть нас долго будет голодухой жать? У нас уже животы подвело.

Чухалин кивнул:

— Знаю. И с хлебом будет пока трудно.

— Пока? — ухмыльнулся другой. — Ну вот, и мы пока...

Он вытащил из кармана пригоршню зажигалок и протянул Чухалину:

— Возьми, комиссар. Поменяешь на хлеб. Сам желтый стал, ровно японец...

Чухалин посмотрел в похудевшие лица рабочих медленным, тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел к выходу. Проходя мимо инструментальной мастерской, он зашел туда и еще издали увидел, как Яшка, склонившись над тисками, опиливает косарь, какими в деревнях щиплют лучину.

Яшка не замечал Чухалина, а тот долго стоял и глядел на него с какой-то бессильной, мертвой тоской, боясь подойти и сказать пареньку что-нибудь ласковое и утешительное.

* * *

Чухалин понимал, что первым делом надо было поднимать трудовую дисциплину. Ячейка большевиков и заводской комитет проводили многочисленные собрания и митинги, много говорили о дисциплине, но всё чаще и чаще комиссар слышал от Ермашева: «Сегодня опять-с сорвали норму».

На одном из собраний был избран товарищеский суд. Он состоял из трех членов, в него вошли старые рабочие — Фома Иванович Кижин, финн Петр Иванович Киуру и Тит Титович. Вскоре суд был буквально завален разными делами.

Когда Яшка зашел вечером к Клаве, старик Алешин встретил его словами:

— Вот видишь, адвокат, и я в свои семь десятков судьей стал. А ты Плевакой обязательно будешь. Шуст-

рый ты, да и говоришь складно. Только берегись этой породы, — кивал он на Клаву, — они под монастырь подведут!

Яшка понимал, что старик шутит, и ответил на шутку смехом.

Но старик быстро оборвал смех и, серьезно глядя в глаза Яшке, тихо спросил:

— Ты где пропадаешь?

— Так, — уклончиво ответил Яшка. — То работаю, то дома сижу...

— Почему у нас редко бываешь?

— Некогда.

— Ишь ты, какой занятой. Небось в «стенку» режешься?

Яшка молчал: старик был прав.

В поселке ребята резались в «стенку» с утра до вечера. Монету ударяли о стену, а потом «натягивали четвертью» — большим и указательным пальцами. И если доставали до обеих монет, то они считались выигранными.

Однажды ребята играли в обеденный перерыв. Вошли в азарт и решили играть после работы. Среди подростков был Васька Матвеев — семнадцатилетний подручный слесаря, первый хулиган в поселке. Он-то и предложил сыграть «по крупной»:

— А то никакого интересу нет. Так хоть тот, кто выиграет, брюхо набьет. Ну, Курбатов, будешь?

Яшка не хотел отставать от компании и начал играть.

Вначале ему везло: он выиграл больше рубля мелочи и две «керенки». А потом проиграл всё — не только деньги, но и ремень с пряжкой. Матвеев предложил сыграть на казенный инструмент, и Яшка, подумав, согласился; он проиграл взятые на марки из кладовой штангенциркуль, набор небольших сверл, три метчика и свой собственный нутромер.

Лицо у него горело так, будто ему надавали пощечин. В пальцах появилась какая-то ранее не знакомая дрожь, ему казалось, что он сейчас разревется от досады. Матвеев ухмылялся, рассовывая по карманам выигранный инструмент, и когда Яшка снова предложил ему сыграть, осклабился:

— Штаны ставишь? Или нет... Если проиграешь,

пойдешь со мной на деревню. Вроде как бы носильщиком. Что дам, то и понесешь. Ну?

Они сыграли, и Яшка снова проиграл. Матвеев, уходя, погрозил ему пальцем:

— Завтра пойдем. Будешь рыпаться — прибыю.

«Что же я наделал? — думал Яшка ночью. — Хватятся инструмента, а его и нет... Отнять по дороге у Матвеева? Убьет насмерть. У него финка в кармане. Сказать — стыдно...» Сон у него был беспокойный, он проснулся с тяжелой, гудящей головой, будто и не спал всю эту ночь.

Утром Матвеев ждал его под окном, лениво потягивая толстую, в палец, цыгарку.

Из деревни они возвращались часа через три. Яшка торопился попасть к смене и, тяжело дыша, из последних сил тащил мешок муки и бутылку с самогоном. Матвеев, шагая рядом и чертя прутиком по снегу, говорил:

— Ничего житься-то с новой-то властью. А только, парень, всё едино: каждый про себя думает. Вот и я тоже: сыт и нос в табаке. Постой-ка...

Он взял у Яшки бутылку и, приложившись к горлышку, начал пить. Острый кадык заходил под грязной кожей. Матвеев, красный, вытер слезы и протянул бутылку спутнику:

— Попробуй, хлебни. Гreet.

Яшка давно не ел. Самогон ударил ему в голову, ноги перестали повиноваться. Он плохо помнил, как добрался до барака.

Очнулся он на своей постели. Во рту была горечь. Голова трещала.

Он вышел на улицу и побрел к заводу, с омерзением вспоминая даже самый запах выпитой самогонки.

Его мучил стыд, когда он входил на заводской двор, еще не представляя себе, как будет смотреть в глаза старшим и что скажет мастеру. Пока он шел до уборной, навстречу ему никто не попался. В уборной умылся холодной водой, сунул голову под кран и напился. Вода приятно холодила во рту. Яшка постоял, подумал и нерешительно пошел в цех.

Работала уже вторая смена. На часах было без четверти шесть: он опоздал почти на два часа.

Неизвестно откуда, но здесь уже всё знали: его

встретили ехидными улыбками и нарочито громкими словами — такими, чтобы слышали все:

— Смотри, ребята, алкоголик пришел!

— Что ж дальше будет? С малых лет самогонку хлещет. Растим вот таких...

Яшка повернул к выходу, но дорогу ему загородил мастер Мелентьев. Добрейшей души человек, сам не дурак выпить, он смотрел на Яшку как-то исподлобья, словно не зная, с чего начать разговор.

— Инструмент где? — тихо спросил он.

Яшка не ответил.

— Пропил, значит? Ну что ж, иди... Протрезвись, зеленый весь.

Яшка прожил два дня, как в тумане. На третий день его вызвали на допрос к члену товарищеского суда, и он, не таясь, всё рассказал: и об игре, и о Матвееве, и о себе. «Чего таиться? — думал он. — Всё равно ведь... всё знают».

Действительно, старик Кижин, член суда, уже знал всё. До Яшки у него на допросе были Матвеев и ребята, присутствовавшие на игре.

На воскресенье в клубе было назначено заседание суда. Большая комната была заполнена, а люди всё шли и шли, принося с собой свежий морозный запах улицы. Яшка и Матвеев сидели на «скамье подсудимых» — двух табуретах с правой стороны от судейского стола.

Вышел суд. К своему ужасу Яшка увидел, что на председательское место усаживается Тит Титович Алешин. Ему показалось, что старик зло посмотрел в его сторону; покраснев, он отвернулся, чувствуя, что не выдержит и заплачет.

Секретарь суда стал читать обвинительное заключение. Потом наступила томительная пауза. Члены суда не спеша протирали стекла очков. Когда Тит Титович надел очки и взглянул на «скамью подсудимых», он сделал вид, что впервые увидел там Курбатова.

— А, и адвокат здесь? Что же это получается? Я думал, ты сам скоро судить других начнешь, Плевакой будешь. А ты, на-ко, самого судить будут. А я-то, старый дурень, считал, что парень ты хороший, вот, думал, жених будет моей внучке. Сватать за тебя Клавку хотел.

А какой бы из тебя зять получился? Верно все говорят — чистый алкоголик. Тебе не самогонку, а молоко еще сосать.

Яшка всхлипнул, и Алешин, видя, что он готов зашевелиться, поднял голос:

— Ты не реви. Плакать надо было тогда, когда такое безобразие начинал делать! А теперь поздно, слезы всё равно не помогут!

— Москва слезам не верит! — буркнул неразговорчивый финн Киуру.

Яшка всхлипывал всё чаще и чаще, а суд, казалось, не замечал ничего.

— Скажи, Яшка, часто ты на деньги играешь? — тихо, словно нехотя, спросил Алешин.

— Ни разу я не играл, Тит Титыч, — сквозь слезы сказал Яшка. — Первый раз это было...

— Может, тебя кто принудил или уж очень приглашал сыграть? — спросил Киуру.

В голове Яшки вмиг пронеслась вся картина: как он не хотел играть, слова Матвеева «сопляк» и неодобрительный гул голосов ребят.

— Нет, это я сам... Сам виноват! Никто меня не заставлял.

Ему не хотелось выдавать товарищей. Да и так-то говоря — конечно, виноват он сам: кто сильно мог заставить? Значит, еще силы воли нет. О силе воли он читал во многих книгах и знал, что ее нужно воспитывать.

А Тит Титович не унимался:

— Скажи-ка ты, Плевака, как дело было, с чего началось оно.

Яшка еле слышно начал рассказывать. Из зала слышались крики:

— Громче, громче! Ничего не слышно!

— Вы сами-то тише; знаете, что голос он пропил, — язвительно сказал один из членов суда.

Яшка стал говорить громче.

— Ну, хорошо, — перебил его Тит Титович. — За инструмент тебе особо влетит. А ты мне вот что скажи: зачем самогонку пил? Заставляли тебя, что ли? Ведь на два часа опоздал в смену, да и то не работал, а в уборной отхаживался.

— Я попробовать хотел, что за «первач» такой. Ин-

гересно было, — тихо, чтобы не слышали другие, сказал Яшка.

— Ишь ты, попробовать... Что же это вы, молодцы, когда из кладовой серную или какую другую кислоту несете, так не пробуете?

Вслед за Курбатовым допросили ребят и, наконец, Матвеева. Тот держался независимо, на вопросы не отвечал, а Яшке бросил сквозь зубы: «Сопляк и есть».

Но Яшке было всё равно: у него было сейчас такое чувство, что судят их все — все рабочие, весь завод.

Час спустя суд удалился на совещание. Никто не уходил, — ждали, какой будет вынесен приговор.

Время тянулось мучительно долго. Наконец, судьи вошли и все, кто был в комнате, встали. Поднялся и Яшка: ноги у него были как ватные, он едва держался на них.

Судьи сели. Затем Фома Иванович Кижин взял свои очки в железной оправе и неторопливо надел их. Он, как показалось Яшке, с доброй усмешкой взял в руки лист бумаги и начал читать:

— «Именем Российской Советской Республики суд, руководствуясь революционной совестью и сознанием, рассмотрел дело ученика слесаря Якова Курбатова в том, что он проиграл не свой, а принадлежащий заводу инструмент (далее следовало перечисление инструмента). Это является обкрадыванием молодого Советского государства и своих же рабочих завода. За такие дела, как и за воровство, Яков Курбатов подлежит строгому наказанию. Но, учитывая, что оный Яков Курбатов сам во всем чистосердечно признался, осудил свой поступок и обещал никогда больше его не повторять, и также учитывая, что этот поступок является отрыжкой старого, прогнившего строя, который развращал рабочих с малолетства... постановил: Якова Курбатова оправдать и предложить ему возместить заводу стоимость проигранного инструмента».

Он не поверил своим ушам. Его оправдали!? А ведь по вопросам судей он ждал самого тяжкого наказания. Он даже не мог предположить — какого.

— Подойди сюда, дурень, — сказал Алешин, хмурясь, но это была уже показная хмурость. — Ну, подойди, не бойся. Что, попало, брат, тебе? Ну, ничего.

На то и народ нас в судьи поставил. Всё ты понял, внучек, что здесь было?

— Понял, дедушка Титыч, — тихо сказал Яшка.

— Ну, теперь иди, — Тит Титович взлохматил Яшке мокрые, прилипшие ко лбу волосы.

После суда еще долго посмеивались над Яшкой в поселке.

На партячейке — этого Яшка не знал — снова обсуждали работу Трохова. Большевики взгрели его крепко: за плохую организацию молодежи, за то, что такие ребята, как Курбатов, стали жить как-то врозь и делать бог весть что.

И не знал Яшка, что, идя с Алешиным с партячейки домой, Чухалин грустно сказал:

— Кругом мы виноваты. Был парень с нами — не на радуешься. Упустили мы его — не наплакаться. Если Трохов и дальше так работать будет с молодежью, поставлю вопрос о его пребывании в партии.

— Не очень-то он много и раньше делал, Трохов, — ухмыльнулся Алешин. — Не помню я, чтоб ты на него прежде радовался.

— Что? — чертыхнулся Чухалин. — Так я ж не о нем говорю. О Яшке. Перед ним мы с тобой виноваты, что он беспризорником стал. А Трохов...

Чухалин, не договорив, остановился и поглядел Алешину в глаза:

— Знаешь, Павел Титович, о чем я думаю? Измучился весь. Кто мог указать на людей, которые нашу землянку знали, а?

— Подозреваешь? — так же тихо откликнулся Алешин. — Трохова ведь тоже в милиции Карякин бил.

— Стукнул основательно, он и выдал... Хотя... Ладно, не было у нас с тобой этого разговора. Не пойман — не вор.

Яшка всегда любил весну, еле ощутимое ее появление, когда воздух, кажется, полон каких-то особенных, необъяснимо волнующих запахов.

Эта весна была трудной. Как-то пусто стало на заводе: многие ушли на фронт, и Яшке оставалось только жалеть, что его считают еще не способным воевать. Было

голодно по-прежнему, и по-прежнему, возвращаясь домой, в простынувший барак, где по углам серебрился иней, Яшка валился на свой топчан с одной мыслью — поскорее уснуть... Перед сном он подумал о завтрашних делах: после работы — спортивная секция в союзе молодежи, заезжий акробат будет показывать упражнения. И не очень хочется идти, а надо: Трохов назначил его старостой и записал в свою тетрадь: «Я. Курбатов хочет закалять тело для пользы грядущего».

Вот теперь и ходи, закаляй тело, когда в животе урчит и всё переворачивается. Но долго ходить на эти занятия Яшке не пришлось...

Мастеру вечерней смены Мелентьеву позвонила уборщица из конторы заводоуправления и сказала, что засорилась канализация и вода не проходит в раковины.

Последнее время Яшке поручали самому выполнять многие работы. Так и теперь мастер послал его посмотреть, что стряслось в заводоуправлении.

Придя в контору, он заглянул к уборщице, чтобы узнать, где искать повреждение. Уборщицей и сторожихой была толстая, уже много лет работавшая, острая на язык тетка Поля. Говорили, что она так сторожит контору, что из нее в любое время можно вынести всё вместе с управляющим.

В конторе не было ни души. Яшка окончил работу, выключил свет и вышел в коридор. Здесь он увидел, что по лестнице поднимается незнакомый человек.

Человек был одет во френч военного покроя, в хромовые сапоги. Такого в поселке Яшка не встречал: от одного вида незнакомца становилось как-то жутковато.

Прижавшись к стенке, он стал вспоминать, на кого похож этот человек. И вспомнил: в губернском городе, в музее, он видел чучело совы, лицо незнакомое было именно таким.

Человек прошел по коридору к кабинету управляющего. Тревожное любопытство охватило Яшку. Этот поздний визит к управляющему никому не известного лица показался ему странным и подозрительным. В памяти зашевелились разные страшные случаи, грабежи и убийства, о которых он читал в книгах, взятых у ребят. Осторожно ступая ногами в рваных калошах, он направился к дверям, за которыми скрылся таинственный посетитель.

...Тихо вошел Яшка в приемную управляющего заводом. Узенькая желтая полоска света лежала на полу. За перегородкой, в кабинете, слышались неясные голоса. Люди разговаривали тихо, но слова можно было разобрать.

Яша узнал голос Ермашева:

— Сегодня ночью всё будет кончено. Завод еще работает неделю.

— Кто исполнители? Как организовано? Мы должны действовать только наверняка, — говорил другой, глухой и скрипучий голос.

— Банки с керосином и тряпки... Люди надежные... Подготовкой руководит... Может знаете? Долгалов. Ну, сын хозяйского подрядчика, лесопромышленника, — отвечал Ермашев.

— Когда начнут? По какому сигналу?

— В час ночи. Сигнал — махнет три раза фонарем.

— Что предусмотрено на случай провала? Кто знает о вашем участии в операции? — продолжал спрашивать скрипучий голос.

— Провала не будет. «Товарищи» очень беспечны. Штабеля сухие... лежат больше двух лет. На случай у каждого... порох.

Яшка понял, что речь шла о поджоге огромной лесной биржи, где хранились двух- или трехлетние запасы древесины для выделки целлюлозы и дрова для котельной электростанции, дающей заводу ток.

Ему стало жутко. Он успел подумать, что если сгорит лесная биржа, без работы и без хлеба останутся тысячи рабочих. «Бежать скорей! Предупредить всех. Поймать эту контру... Эх, успеют удрать».

За дверью продолжался разговор. Яшка словно прирос к полу, не решаясь уйти.

— Мы недовольны...

Ермашев оправдывался:

— Я сам и шагу ступить не могу. За мной следят. Бухгалтер Сидор Павлович запутал все книги, так этот комиссар чего-то подозревает, уже спрашивал меня...

— Мы накануне великих событий, накануне избавления нашей России от этих... «товарищей».

— Дай-то бог, скорей бы... Вы знаете, полковник, как мне противно делать умильное лицо и подавать руку этим хамам...

Вдруг голоса замолкли и через мгновение дверь, у которой стоял Яшка, быстро, рывком открылась. Яшка, не удержавшись на ногах, повалился на пол. «Полковник» бросился на него, захватил его голову и зажал рот рукой. Яшка укусил пальцы. Простонав от боли, человек выпустил его. Яшка бросился к окну, но незнакомец преградил ему путь и сильно вывернул левую руку; в плече что-то хрустнуло, и рука повисла, как плеть. Однако он вцепился ногтями правой в лицо «полковника», стараясь попасть в глаза. Вдруг что-то тяжелое и тупое ударило его по голове. За шею потекла теплая струйка... В глазах потемнело, и Яшка медленно стал оседать на пол. Больше он ничего не помнил...

Потом, словно сквозь сон, он услышал, как где-то далеко разговаривают двое. «Где я? Какие голоса? Где я их слышал?..»

— Что будем делать с ним?

— Что-нибудь придумаем. По-моему, он скопытился...

Кто-то стал щупать пульс.

Яшка попробовал напрячь память, но ничего не вспомнил и снова упал в черную пропасть...

Когда он очнулся, никого не было. С трудом ему удалось повернуться; внутри всё горело, нестерпимая боль разрывала затылок. Он хотел было встать на ноги и не смог. Опять в глазах вспыхнули, словно приближаясь издали, разноцветные круги. И, боясь снова потерять сознание, Яшка стал кричать, но не узнал своего голоса: был он слабый, глухой, чужой. «Нет, не слышат. Когда же смена кончится?» Он лежал на сырой земле, в какой-то глубокой канаве. Стояла ночь.

Он решил проползти до мостика. Ползти было тяжело и больно: на дне канавы стояла липкая, глинистая грязь. Он полз, отдыхал и полз снова. Ему показалось, что делает он это очень медленно. Несколько раз он снова пробовал кричать, но его никто не слышал.

Так он дополз до мостика через канаву. Здоровой рукой схватился за его край, встал, с трудом выбрался на дорогу. В нескольких шагах высился телеграфный столб с косыми подпорами. Яшка боком перекатился к столбу, немного полежал, пока утихла боль, затем,

схватившись за косую подпору, встал — и снова рухнул на землю, теряя сознание.

Очнулся он второй раз уже в комнате на диване. Голова была забинтована. Над ним склонилось серьезное и испуганное лицо дяди Лукина, а кругом стояло еще несколько человек, тоже знакомых.

— Что с тобой, сынок? — тихо спросил Лукин.

— Дядя Лукин, сколько времени? — выдохнул Яшка. Лукин поднес к его глазам большие карманные часы. Было без четверти двенадцать.

— Ой, хорошо...

Яшка, сбиваясь, путаясь в словах, рассказал всё, что произошло с ним. Рассказал о том, что через час загорится лесная биржа.

Лукин дальше не стал слушать, бросился к дверям, на ходу вытаскивая наган, и только с порога, обернувшись, крикнул:

— В больницу его! И осторожней!

Лукин побежал в цехи к рабочим. В одном из цехов он остановил мотор, — станки работали от одной трансмиссии.

В течение каких-нибудь пятнадцати минут были проведены летучие митинги, и около пятисот рабочих вечерней смены двинулись на биржу.

Им удалось поймать семь поджигателей, ждавших сигнала. Трое куда-то убежали, их поймали на другой день. Нашли бидоны с керосином, тряпки, порох. Ермашев и Долгалов были арестованы.

Вначале Ермашев запирался и ничего не хотел говорить. Но скоро он понял, что его карта бита, и выложил всё начистоту.

Полковника не поймали. Мог ли Яшка предполагать, что судьба еще раз сведет его с этим человеком, похожим на сову.

А вместо Ермашева красным директором был назначен комиссар завода Чухалин.

Когда Яшку принесли в больницу, он бредил. Его сразу же положили на стол в перевязочной, врачи внимательно осмотрели рану на голове, вывих, распухший, посиневший бок.

Диагноз был нехороший: сотрясение мозга с переломом черепа возле самого темени. Левая рука вывихнута в плече. В правом боку сломано ребро. На всем теле много кровоподтеков.

В больницу никого не пускали. Но Клава Алешина просто потребовала от отца — председателя завкома, чтобы тот поговорил с заведующим больницей.

— Да пойми ты, — уговаривал ее Алешин. — Ну, нельзя к нему сейчас.

— Не хочу понимать, — плакала Клава. — Ты сам не хочешь идти и мне не помогаешь. А я вот буду ходить за тобой повсюду и, хоть убей меня, не отстану.

Алешин сдался; заведующий больницей разрешил.

Клава вошла в палату и сразу увидела Яшку. Он лежал на спине, голова была забинтована, глаза закрыты, губы вспухли. Лицо у него было почти восковое. Но видно было, что Яшка дышал, хотя дыхание было замедленное, едва заметное.

Клава села у кровати. Она долго смотрела на Яшку, потом взяла его правую, здоровую руку и нащупала пульс. Он бился тихо, неуверенно. Клава несколько раз теряла его. Тогда она снова искала и, улыбаясь, находила слабое биение.

Клава совсем забыла о доме. Она всю ночь просидела у постели, то поправляя подушку или сбившееся одеяло, то вливая в распухший рот больного капельки воды и какое-то лекарство. Ее никто не просил уйти, с ней обращались, как с постоянной сиделкой. Утром врач спросил ее: «Как вел себя больной?»

На другой день пришла в больницу бабушка Марфа Ильинична. Узнав о состоянии Яшки и о том, что Клава просидела у его постели всю ночь, она только заплакала, махнула рукой и попросила передать внучке узелок с лепешками.

Клава сидела в палате и вторую и третью ночь; спала она урывками, днем, на стульях в углу больничного коридора.

Шла четвертая ночь... Состояние Яши по-прежнему было тяжелым. Клава сидела и тихо плакала. Потом она стала поправлять подушку под Яшиной головой. Наклонившись над ним, она осторожно поцеловала его в краешек лба, видневшийся из-под повязки.

И вдруг Яшка на миг открыл глаза и сдавленно про-

стонал. Клава, закрыв руками лицо, выбежала в коридор.

— Очнулся... Очнулся!

Врач, сестра и санитарка быстро вошли в палату и направились к койке больного. Клава шла сзади и робко глядела из-за их спин на Яшу.

Он лежал по-прежнему закрыв глаза, и только казалось, что где-то в уголках губ притаилась еле заметная улыбка.

* * *

В поселке быстро узнали, что Курбатов поправляется. Клава навещала его каждый день. Она приходила одна, реже — с подругами.

Особенно рад был Яшка, когда его навещали старые рабочие. Они беседовали с ним, как с большим, но ни разу не упомянули, что он совершил что-то героическое. Яшка и сам был уверен, что сделал он обычное дело и что любой другой на его месте поступил бы точно так же.

Ему приносили в больницу всё, что было необходимо. Хотя в поселке голодали, но у больного были масло и булка, сахар и конфеты, его кормили мясным бульоном.

Как-то пришла в больницу тетя Поля — уборщица конторы. Она принесла какой-то сверток, и когда развернула платок, все увидели ошипанного петуха.

— На-ко тебе, сынок, — сказала она, положив петуха на тумбочку. — Ишь, ироды, как тебя разукрасили... А я-то этой змее Ермашеву еще чай подавала. Обходительный такой был, гадина. Вини меня, паренек. Я виновата, что тебя так избили. Надо было мне наверху остаться, может, ничего бы и не произошло.

Тетя Поля заплакала и концами платка стала вытирать слезы.

— Что ты, тетка Поля? — с каким-то испугом, торопливо ответил Яшка. — Тогда хуже было бы. Биржа сгорела б, не накрой мы эту контру.

— И не говори... Я... я виновата. Вот ведь как дело было: свела тебя наверх, вернулась к себе, набросила на парадную дверь крючок, да и легла. А они тебя через заднее крыльцо вынесли... Вот и кочета своего я заре-

зала. Больно полезен для здоровья куриный суп. Ты скажи, чтобы сварили тебе.

Яшка слушал ее с радостной улыбкой.

— Напрасно ты, тетя Поля, петьку-то зарезала, — сказал он наконец. — Спасибо тебе, но лучше бы жил петух. Тебе ведь веселей было с ним.

Зашел к нему и Григорий Михайлович Чухалин, поцеловал и, ласково поглаживая своей шершавой ладонью бескровную Яшкину руку, спросил:

— Что, трудно, Яша? Знаю, что трудно Терпи, малыш. Видишь, сколько тут у тебя всего? — показал он на тумбочку. — Люди не забыли.

Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями.

— Ты вот, наверно, большевиком хочешь быть? И станешь им, если всё время будешь стараться для народа. Попробуй, оторви большевика от народа — что из него получится? Да просто не будет большевика, а будет пустое место. Вот так-то, Яша... Поправляйся скорее, я еще к тебе зайду. Мне, брат, тоже трудно. Был я мастером, а сейчас партия поставила меня управлять заводом. Я ведь тоже говорил, что мне трудно, ничего у меня не выйдет. А мне отвечали: «На то ты и большевик, а у большевика всё должно выйти». И вот работаю, выходит ведь.

Чухалин, прощаясь с больным, сказал, что там, внизу, ждет очереди еще один человек, но кто — не сказал, и Яшка не сводил с дверей глаз.

Это был Тит Титович. Со времени суда Курбатов его не видел, всячески избегая встречаться с ним.

Тит Титович принес с собой гостинец — перышки зеленого лука, выращенные в горшке на подоконнике.

— Это тебе, адвокат. Поешь. Больше принести нечего, да и внучка говорит, что у тебя, как у буржуя, всё есть.

— Есть, есть, дедушка. Мне ничего не надо, — забормотал Яшка, краснея.

Старик лукаво склонил голову:

— Чего краснеешь-то? Девку увидел, что ли? Как маков цвет стал. Не рад, что пришел, а?

— Да нет, что вы, дедушка, — опять забормотал Яшка. — Это я так... Мне... мне стыдно, вот что.

— Чего тебе, дурной, стыдиться-то?

— Да ведь судили вы... — тихо ответил Яшка.

Старик сидел, потирая колени и пожевывая бесцветными губами.

— Вот оно что! Что же, Яшка, стыд — неплохое чувство. Всего нехорошего стыдиться надо. А тебе сейчас чего стыдиться, всё уже давно прошло. Или после этого еще где первача хватил?

— Что вы, Тит Титович, я и в рот его больше никогда не возьму! — Яшка попытался приподняться на одном локте.

Алешин торопливо прижал его плечо к подушке.

— Уж и «никогда не возьму»! Ты много на себя не бери, мал еще, а жизнь у тебя большая. Может, и возьмешь когда-нибудь, тут плохого ничего нет. Сам я... хм... Только, Яша, всегда про стыд помни. Будет стыд — так и первач не осилит, не свернет с дороги. Знаешь, как говорят: пей, да ум не пропей. Всегда всё с умом делать надо. И к маленькому делу тоже с умом подходи. Велика ли рюмка, а если ты ее не вовремя выпьешь — обязательно сгубит она. Сам не заметишь, как сгубит. Всё ведь с малого начинается. Вот от спички целую биржу хотели сжечь. А на ней столько леса, что заводу еще на два года хватит. Понял, что значит малое-то?

— Понял, дедушка, — сказал Яшка. Но старик был настроен ворчливо; Яшку не обманывала эта ворчливость: просто старик прятал за ней ласку, которой почему-то стыдился сейчас.

— Не говори, не подумав: «Понял, понял!» Ничего ты еще не понял, душой это надо понять. Делать тебе тут нечего, ты лежи и размышляй, что тебе старшие говорят. А не думал я о тебе, адвокат, что ты такой. Себя не пожалел. Ермашев на допросе рассказывал, как ты этого полковника отдела. Говорит, как волчонок какой — глаза горят, даже и ему страшно стало. Ты этому полковнику всю фотографию, можно сказать, разрисовал.

Яшке было интересно слушать: Тит Титович говорил как-то весело, не выпячивая Яшкину заслугу.

— Наверное, думаешь, что ты герой? — насупился Алешин, перебивая себя. — Герой-то ты герой, а только подумай, почему таким стал?

Последние слова он почти выкрикнул, почему-то погрозив Яшке кулаком, и тот, не выдержав, рассмеялся, с болью растягивая губы.

— И хорошо, что понял, — уже примирительно закончил Алешин. — Клавка у тебя бывает? Чего краснеешь? Знаю, что жених да невеста. Подрастете, тогда и сосватаем вас. Может, и я до этого доживу.

— Что вы, Тит Титович, — заикаясь от волнения и мальчишеского стыда, едва произнес Яшка.

— А что? — с невинным видом произнес старик. — Верно я говорю. Подрастешь, сам внучку за тебя сватать буду. Согласен?

Яшка стыдливо молчал, не зная, что ответить. Алешин, поняв, что совсем смутил мальчишку, добродушно хлопнул его по здоровой руке:

— Ладно, не буду больше. Лежи, поправляйся.

Тит Титович ушел. Яшка лежал, закрыв глаза, и чувствовал, как что-то огромное, светлое, радостное поднимается в нем, чему он еще не мог дать названья.

* * *

За несколько дней до выписки к Яшке зашли мастер Мелентьев и знакомый слесарь из цеха.

— Как, Яша, поправился? — спросил мастер.

— Давно поправился, дядя Ваня, да вот врачи не выпускают. Всё полежи да полежи! А мне надоело, — сказал Яшка.

— О чем соскучился-то? По работе или по чему?

— И по работе и по всему. Надоело мне. От меня так больницей пахнет, что и не отмоешь.

— Вот насчет работы мы к тебе и пришли. Давай, Сидор, вынимай акт, который мы сочинили.

Мелентьев, далеко отставляя от себя бумагу, прочитал акт, по которому Яшка, учитывая его старание, полученные знания и навыки по слесарному ремеслу, переводился из учеников в подручные слесаря по четвертому разряду.

— Рад? — спросил Мелентьев.

— Очень рад! Уж если я, дядя Ваня, чего и не знаю, так я спрошу, поможете ведь?

— Как, Сидор, поможем?

— Поможем. — ответил слесарь.

— Завтра же выпишусь, — заторопился Яшка. — Работать надо. И в кружке без меня, поди, всё прахом пошло.

Яшка пролежал в больнице два месяца. Рука и правый бок у него поправились совершенно. В голове еще стоял шум: она гудела, наверное, еще месяца три. И потом были частые головные боли, но молодой организм всё-таки переборол тяжелую болезнь.

В эти дни, в больнице, он понял, что детство, каким бы оно ни было, кончилось, а та жизнь, в которую он вступал, будет совсем другой.

И как-то широко стало видно вокруг, появились новые, не испытанные раньше чувства. Пошатываясь, вошел он в полутемный, прокопченный цех и увидел улыбающихся людей, которые кивали ему, говорили между собой, очевидно — хорошее, но что — он не слышал.

15

29 октября 1918 года в Москве собрался первый Всероссийский съезд молодежных организаций, работающих под руководством партии большевиков. На съезд делегатом от заводского союза рабочей молодежи выехал председатель ячейки — Мишка Трохов.

После Октября, когда на заводе были прикрыты все эсеровские организации, руководимый эсером драматический кружок почти в полном составе влился в организацию Социалистического союза молодежи. Таким образом, союз был разбавлен всякими людьми: тут была и рабочая молодежь, но были и дети местной интеллигенции — начальников отделов, инженеров, служащих. Да что интеллигенции! Сын и дочь попа и сын дьякона из церкви села Воскресенье считались членами заводского союза! Рабочая молодежь в ячейке держалась вместе, в стороне от интеллигентов. Те тоже держались особняком и подчеркнуто брезгливо косились на рабочих.

Трохов вернулся из Москвы, и на дверях клуба появилось объявление: «26-го назначается общее собрание ячейки РКСМ». Все интересовались, что это такое — РКСМ, и Трохов снисходительно объяснял незнающим: Российский Коммунистический Союз Молодежи.

В президиум собрания среди других был избран Валя Кият, паренек, который работал в инструментальном цехе. Большеголовый, с упрямым и даже, по-

жалуй, каким-то жестким выражением темных глаз, Княт правился Курбатову, хотя они ни разу и не разговаривали как следует. И Яшка с любопытством наблюдал, как Княт деловито перебирает на столе президнума какие-то бумажки и о чем-то шепчется с секретарем — Клавой Алешиной.

Трохов то и дело поправлял шелковистые, спадающие на лоб волосы и, глядя куда-то поверх людей, сделал доклад о Всероссийском съезде. Говорить он умел складно, и всё было ясно: зачем был созван съезд, как он проходил, почему Союз стал именоваться Коммунистическим, каковы взаимоотношения Коммунистического Союза с партией. Трохов рассказал, кто был избран в первый состав ЦК комсомола, кто председатель Центрального Комитета... Потом он выпил стакан воды и, взглянув в зал, развел руками:

— Доклад окончен, товарищи. Ежели есть вопросы — ваяйте.

Первым задал вопрос Силаков, сын заведующего расчетным отделом завода:

— Как это так? Вот ты говоришь — большинство, большинство... А если я не согласен с большинством, если у меня свое личное мнение есть, то скажите, как же я буду подчиняться этому большинству? Это же насилие над личностью!

Отдельные голоса с мест закричали:

— Правильно!

Долговязый сын попа Ершин задал вопрос:

— Если я не желаю изучать коммунистическое учение, а вот в драмкружке хочу быть, танцевать хочу — тогда что?

Опять какие-то голоса крикнули: «Правильно! Нас большевиками хотят заделать».

— Вот мы и не согласны! — пробасил Ершин.

Завитая барышня Тузова, игравшая в драмкружке роли любовниц, сказала, поводя плечиком:

— Кто разрешит, чтобы вмешивались в личную жизнь? Кому какое дело, являюсь ли я примером в личной жизни? А может быть, я и не являюсь, тогда что?

В зале громко засмеялись, и кто-то крикнул:

— Пример, как хахалей раз в неделю менять.

Другой голос закончил:

— Так на то она и любовниц играет.

Валя Кият с трудом водворил порядок и кивнул Трохову:

— Будешь отвечать?

Тот глядел на зал презрительно, и когда Кият повторил: «Отвечать будешь?», — усмехнулся:

— Отвечать? На такие вопросы не отвечают. Я б за такие вопросы прямо в чека сажал. Кому же я отвечать буду? Этим... — он грубо выругался.

В зале зашумели, зашушукались. Яшка видел, как от грубого слова, сказанного Троховым, покраснела Клава. Услышав неподалеку от себя спокойно сказанное: «Дурак», он обернулся и увидел старика Захара Аввакумовича Пушкина, поднимавшего руку:

— Эй, товарищ председатель, дай мне словечко сказать.

Он не торопясь подошел к столу президиума и, взглянув на ухмыляющегося Трохова, качнул головой:

— Не прав ты, парень! Спрашивают — значит интересуются. А коли так — отвечай, всем впрок пойдет.

Он обернулся к ребятам:

— Вот приведу я вам самый простой пример. Сидят в лодке десять человек. Вдруг двое начали сильно раскачивать лодку, да так, что она стала бортом воду черпать. Большинство требует прекратить это безобразие, мол, кувырнется лодка, а эти двое заявляют: «Нет, мы не согласны с вами, нам так больше нравится. У нас тут свое мнение». И что же? Лодка опрокидывается. Ну, что вы скажете? Наверное, скажете, что это хулиганство. А в жизни и не так бывает. Вот в октябре семнадцатого года большевики обсуждали вопрос о вооруженном восстании в Питере. Все были за немедленное вооруженное восстание, только Зиновьев и Каменев с этим решением были не согласны. Тоже говорили: у нас на этот счет свое мнение. Они не подчинились большинству и выдали буржуазии планы вооруженного восстания. Товарищ Ленин заклеил позором предателей. Так вот, друзья, принцип подчинения большинству — основной принцип поведения членов партии большевиков. Без этого общего дела не сделаешь. А комсомол, как и говорится в программе, «всецело поддерживает и проводит программу и тактику РКП(б)», а уж если поддерживает, значит и следует за партией, и делает так, как этого партия требует. Ну, а если Ершин,

скажем, не хочет изучать коммунистическое учение, — что ж, и не надо. Потеря невелика, если потеряем такого кулика.

В зале громко засмеялись и крикнули:

— Пускай он закон божий изучает, как святая дева Мария без мужа рождает!

Пушкин переждал, пока наступит после смеха тишина, и продолжал, всё так же ровно, будто не речь говорил, а беседовал дома за самоваром:

— Вот барышне Тузовой тоже отвечать вроде бы нечего, с места ей ответили. Ну, посудите сами, что же будет, если вы примером не будете? Будете пьянствовать, воровать, на работе лодыря гонять — что другие скажут? Раз им можно, так нам и сам бог велел. Что тогда получится? Сообразите сами.

Когда дядя Захар кончил, с места встали Ершин, Силаков, Тузова. Валя Княт хотел было призвать их к порядку, но Силаков крикнул:

— Мы уходим. Мы не согласны, чтобы чинилось насилие над нашей личностью. Где же свобода?

Все вскочили со своих мест, голоса председателя уже не слышал никто. Разобрать, что кричали ребята, было нельзя, но что-то обидное, злое, насмешливое. Силаков уже поспешно пробирался к выходу, наступая сидящим на ноги.

Еле-еле удалось Княту установить тишину, но, не сдержавшись, он крикнул сам:

— Скатертью дорога! Баба с возу — кобыле легче! Проситься будете — не возьмем. Может быть, еще есть желающие? Давайте, воздух чище будет!

Зал молчал, больше не вышел никто. Снова со своего места поднялся Трохов:

— Видали, кто был вместе с нами? Наверное, еще найдутся такие. Партийная ячейка рекомендует нам всех, кто был в Союзе молодежи, не зачислять механически в комсомол, а устроить перерегистрацию, или проще — открыть запись в члены комсомола вновь. Каждого, кто запишется, обсудить на собрании. Чтобы не тянуть, давайте сейчас собрание закроем, запишем желающих вступить в комсомол, а завтра и будем персонально обсуждать каждого.

Яшка, отчаянно работая локтями, стал пробираться к столу президиума, за которым шла запись; его отпи-

хивали, оттесняли в сторону, и, разозлившись, он сам начал отпихивать стоящих впереди. Каждый стремился записаться пораньше, будто вдруг что-то может измениться и его имя может не попасть в списки.

Но когда Яшка, потный, взлохмаченный, протискался к столу и, схватив Клаву за рукав, крикнул: «Меня запиши!», он увидел вверху почти заполненной страницы свое имя, выведенное круглым Клавиным почерком.

— Ты... уже? — спросил он, чувствуя, как перехватывает дыхание. Его торопили, подталкивали, а он, держа Клаву за рукав, радостно думал: «Помнила... Первым записала... Самым первым!»

На следующий день, перед открытием собрания, ребята пели песни. Принесли гитару, появились мандолина и балалайка. Когда заиграли «Яблочко», в круг выскочил парнишка, токарь механического, и пошел, пошел, притопывая и вызывая желающих. Уже кто-то на мотив «Яблочка» быстро сочинил частушки:

Эх, яблочко, катись под елочку —
Комсомолец полюбил да комсомолочку!

Очевидно, не только парни умели сочинять и петь частушки, — из другого конца зала живо откликнулись девчачьи голоса:

Нам сказали на базаре,
Что мальчишки дешевы.
На копейку десять штук —
Самые хорошие.

За весельем никто не заметил, что делает на сцене Клава Алешина. Подозвав Кията, она пододвинула ему тяжелый сверток и, еле сдерживая смех, сказала:

— Это тебе.

Кият удивленно развернул бумагу: там, в свертке, была медная ступа и пестик. Председатель вскинул на Клаву настороженные, недобрые глаза:

— Ты что, думаешь, мы здесь воду в ступе толчем? Так тебя надо понимать?

Клава прыснула:

— А ты постучи пестиком о ступу. Ну, постучи, не бойся.

Кият послушно стукнул. По залу разнесся гулкий звон, все насторожились. Тогда, поняв в чем дело, за-

снявший Кият начал трезвонить, да так, что сразу смолкли песни, а те, кто был возле председательского стола, отворачивались и морщились, затыкая уши:

— Кончай благовест! Больше не будем!

Ступа эта долго еще появлялась на собраниях, и когда кто-нибудь начинал мямлить или повторяться, председатель брался за пестик. Это означало — закругляйся, нечего в ступе воду толочь, и выступающий «закруглялся».

Теперь, водворив тишину, председательствующий взял в руки список:

— Начинаем обсуждать, товарищи. Первым по списку идет Яков Курбатов. Ну как, отводы есть? Выступления будут?

— Да чего там, дальше давай.

— Знаем... Оставить!

— Пусть расскажет о себе.

— Не надо.

— А про самогоночку? А как инструмент проиграл?

Алешинская ступа гудела, покрывая все голоса. Ребята махали руками: «Оставить, оставить», но возле стола президиума уже стоял, одергивая сзади выцветшую солдатскую гимнастерку, Мишка Трохов:

— По поручению ячейки большевиков, — сказал он, морщась, хотя звон уже прекратился, — предлагается Якова Курбатова в списке оставить. Хотя от себя лично посоветую ему пересмотреть свои порочные мелкобуржуазные позиции.

Яшка вскочил, покрываясь краской:

— Какие позиции? Чего ты треплешься? — крикнул он.

— Вот-вот, — кивнул Трохов. — Недисциплинированность — одно из ярких проявлений буржуазной стихии, чуждой рабочему классу.

Он пистолетом выставил на Яшку указательный палец и, не опуская его, сказал:

— Видали? Изживать это надо, товарищ Курбатов.

— Это ты от себя говоришь или от ячейки большевиков? — строго спросил Кият. Трохов пожал плечами:

— Собственно, в чем разница? Я член ячейки.

И сел.

Кият предложил голосовать, напомнив собранию о том, что не кто-нибудь, а именно Курбатов предотвратил на заводе вражескую диверсию.

За Курбатова голосовали все. Но когда Кият спросил, кто воздержался, Яшка увидел, как Трохов уверенно поднял руку.

— Ты что? — удивленно спросил его Кият. — Только что рекомендовал...

— Личные мотивы, — отрубил Трохов. — Имею право не объяснять.

Яшка ничего не понимал. Ясно было только одно: то неприязненное ощущение, которое возникло у него при встрече с Троховым еще там, возле лесного ручья, было взаимным, но почему — он не мог объяснить себе. Он плохо следил за тем, как обсуждают других, спохватывался и начинал слушать, но снова задумывался...

Уже поздним вечером, идя с Клавой домой, он не удержался и спросил:

— Слушай, а что это Трохов... так?

— Как «так»? — рассмеялась Клава. — Насчет «личных мотивов»? Так ведь...

Она запнулась.

— Говори, раз начала.

— А чего говорить-то? Он тут ко мне начал приставать, я его отшила. Он спрашивает: «С Яшкой ходишь?», а я и сказала: «Ну и хожу, тебе-то чего?»

— И всё? — Яшка остановился в недоумении. — Но ведь он... Он большевик. Как же так это... Ты не врешь, а?

Уже дома, лежа на своем топчане, Яшка снова вспоминал слова Клавы и раздумывал над тем, что и большевики, должно быть, есть разные: Чухалин не похож на Алешина, дядя Ваня — любит выпить, Бедняков — балагур... Но все они всё-таки чем-то неуловимо близки друг другу, а Трохов был совсем другим...

* * *

— Раз, два! Раз, два! Рота-а, стой! К но-оге! — раздается команда. Это комсомольцы проходят на пустыре за заводом военное обучение. Скрипит под ногами снег; мертвенным, бледным светом освещает луна крыши рабочего поселка. Однако ребятам тепло. Они

бегают, ходят в атаку на воображаемого противника, изучают ружейные приемы. После команды «вольно!» слышится звонкий на морозе смех, кто-то первым начинает «греться»: на мягком, пушистом снегу завязывается борьба. Упадешь — не больно, только снег, попадая за ворот, тает и струйками течет под рубашкой. И всё-таки весело!

В одной из комнат клуба ребята, сидя на корточках, изучают пулемет. В другой комнате девушки учатся делать перевязки, оказывать первую помощь при ранениях и контузиях. Со смехом ловят они какого-нибудь зазевавшегося парня, тащат к себе в комнату и на «живом экспонате» проверяют свое умение. Горе такому парню, измучают его девушки, а особенно, если из рваного валенка покажется грязный палец — сгорит со стыда. Уж лучше бы бегом идти в атаку по глубокому снегу и, услышав пулемет-трещотку, падать, зарываясь с головой в снег.

Фронт приближался... При партизайке организованся отряд ЧОНа,¹ в него записались все коммунисты и комсомольцы, список отряда утверждался на партизайке.

За Яшкой были закреплены кавалерийский карабин (он был легче, чем винтовка) и револьвер системы «Смит-Вессон». Револьвер он выпросил у начальника отряда Чугунова, — ходил за Чугуновым по пятам до тех пор, пока тот не разозлился и, чтобы отвязаться, разрешил. В отряде Яшку зачислили на должность конного ординарца при командире и комиссаре отряда.

Конный двор занимал большую территорию на краю поселка. Там стояли и выездные рысаки, служившие еще бывшему начальству. Сейчас на них ездил красный директор завода Чухалин. Яшка в глубине души рассчитывал получить такого рысака, но дали ему спокойного и добродушного белогубого мерина. Звали его Рыжий.

Эта лошадь имела одну особенность. Когда-то на ней купец-лавочник из села Вознесенья ездил за товарами в губернский город. Одно время на дорогах пошаливали, и лавочник — мужик хитрый — научил лошадь особому маневру: стоило крикнуть: «Рыжий, гра-

¹ ЧОН — часть особого назначения.

бят!», как она срывалась в галоп и неслась сломя голову, вызволять из беды хозяина.

Яшка никогда не имел дела с лошадыю и поначалу подходил к Рыжему с опаской. Тот вытягивал мягкие белые губы; он любил, когда ему перепало что-нибудь. Ординарец быстро подружился с конем.

У раненых красноармейцев новоиспеченный связной выменял на махорку настоящий шлем — буденовку. И вот, в островерхом шлеме он теперь проезжал по улицам на своем Рыжем, закинув за спину карабин и с гордостью ощупывая холодную сталь «Смит-Вессона»...

Но недолго гарцевал Яшка на своем коне, вызывая зависть у заводских парней. Скоро наступили грозные события, и ему пришлось расстаться с лошадыю.

В один из весенних дней заводской гудок оповестил жителей поселка о митинге. В цехах остановились моторы, рабочие выходили на улицу, из поселка бежали на площадь женщины и подростки. Вскоре площадь у Совета заполнилась народом. На грубосколоченную деревянную трибуну поднялись Бедняков, Булгаков, Алешин и какой-то военный. В толпе говорили, что это Кедров — ленинский нарком. Толпа сразу притихла, было слышно, как звонко щебетали в деревьях птицы. Небо было чистое, уже заметно пригревало солнышко...

В последние дни поселок жил тревожно. Все знали, что высадившиеся в Архангельске англо-американцы начали наступление по железной дороге на юг. Правда, говорили, что вновь созданные части Красной Армии преградили путь интервентам и где-то шли жесткие бои... Передавали слух о том, что у станции Обозерской отряд в пятьсот американцев решил через болота и непроходимые леса обойти правый фланг красных войск, но будто бы в какой-то деревне нашелся пожилой крестьянин, который вызвался быть проводником американцев и завел их в такие болота, что ни один человек не смог вернуться обратно, все погибли.

Когда Бедняков поднял руку, чтобы открыть митинг, толпа затихла.

— Товарищи! — начал Бедняков, сняв кепку. — К нам на завод приехал Народный комиссар, командующий фронтом. Он хочет рассказать вам о положении на Северном фронте. Слово имеет товарищ Кедров.

На трибуну вышел человек в вылинявшей военной гимнастерке и мятой фуражке, он сдернул головной убор, пригладил рукой волосы и начал говорить:

— Товарищи! Вам уже известно, что первого августа в Архангельск высадились войска интервентов. Вместе с генералом Пулем в Архангельск прибыли английские, шотландские королевские стрелки...

— Это те, что в юбочках ходят? — крикнул молодой голос из толпы.

— Да, они, товарищи!

— Ну, так это нам не страшно! — звонко крикнул тот же молодой и смешливый голос.

Кедров вытянул руку вперед, призывая к тишине, и продолжал:

— Американцы послали свой 339-й полк и инженерный полк. Прибыли канадские артиллерийские и пулеметные части. Прибыл итальянский полк, французский колониальный полк... Всё такие холеные вояки... В самом Архангельске были созданы славянско-британские и русско-французские легионы. Пожаловали к нам даже австралийские и шведские наемные части. Оказали нам честь эскадра военных кораблей, более сотни самолетов и авианосцев. В общем, империалисты не в шутку хотят ограбить наш Север, где в изобилии водится рыба, много леса, пушнины, нефти, каменного угля. Корабли интервентов с нашим добром уже уходят из Архангельска к себе. И вот, товарищи, вся эта сила, вся эта армада грабителей не смогла сломить революционной стойкости наших необученных, раздетых и голодных красноармейцев. Я и приехал вам сообщить, что войска интервентов повсеместно остановлены нашими доблестными красными воинами. Мы сорвали их план соединиться с Колчаком...

Толпа загудела, послышались крики «ура!», над головами взлетели кепки.

— Товарищи! — снова зазвенел над толпой сильный голос Кедрова. — Ликовать нам еще рано. Ликовать мы будем с вами тогда, когда прогоним империалистических акул с нашей земли. А сейчас вот я призываю вас к следующему: на всякий случай мы создаем несколько линий обороны до города. Надо вырыть окопы и блиндажи. Губисполкомом для этого мобилизована городская буржуазия. Пусть поработает на пользу мировой

революции. А оборону у разъезда Печаткино надо построить вам своими силами, не останавливая работы на заводе. Я уже говорил с комсомольцами — они согласны. Второе: надо помочь нашим славным бойцам, остановившим врага. Давайте проведем сбор вещей и продовольствия и завербуем от вашего завода сотню добровольцев в ряды Красной Армии...

Участники митинга поддерживали предложения Кедрова. Было принято решение отчислить в фонд обороны однодневный заработок всех рабочих и по четверти фунта хлеба, построить оборонительную линию.

Комсомольцы выехали на рытье окопов на следующий день рано утром. Их встретили на разъезде саперы. Построили всех и повели на место работы, которое было размечено заранее. Нужно было вырыть две линии окопов полного профиля, построить блиндажи, землянки и пулеметные гнезда.

Ребята работали от зари до зари. Рыть окопы нужно было и в песчаном грунте, и в липкой глине, и на болотистых лесных полянах.

Обувь приходилось беречь и работали босиком, хотя земля еще хранила в себе зимний холод. Ноги у всех стали красные, как у гусей, покрылись цыпками и ссадинами.

Через два дня обнаружилось, что девушки отстали от парней. И ребята посмеивались над ними:

— Что, кишка у вас тонка, а еще говорите «мы да мы»... Как коровы мычите.

Клава всерьез рассердилась, и Яшка говорил ей:

— Не сердись, Клавочка, плетью обуха не перешибешь.

Но Клава не терялась и ловко отбивалась от насмешек:

— А вы не брыкайтесь, как молодые бычки, у вас еще рога не отросли. Еще посмотрим, чья возьмет, Яшенька, подожди радоваться.

За несколько дней до отъезда в поселок ребята чуть свет вышли на работу. Подойдя к участку, они так и ахнули. Девушки уже трудились вовсю, и, главное, они уже успели обогнать парней. «Как это произошло?» — недоумевали комсомольцы. Всё оказалось очень просто. После того как Яшка посмеялся над девушками, Клава пришла в блиндаж и передала разговор подро-

гам. Комсомолки решили во что бы то ни стало обогнать ребят. Они попросили помощи у военных саперов — и вот девушки оказались впереди.

Две недели комсомольцы проработали в лесу, а когда приехали обратно в поселок, гурьбой явились в партачейку к Булгакову.

— Ну вот, теперь отправляйте нас, — заявил, улыбаясь, Яшка Курбатов.

Булгаков непонимающе посмотрел на него:

— Куда это «отправляйте»?

— Как куда? — в свою очередь удивился Яшка. — На Северный фронт отправляйте, ведь нужны добровольцы...

Булгаков засмеялся и замахал руками. Потом вдруг посерьезнел и сказал:

— Опоздали вы, ребята, неделю тому назад всё закончили, сто человек уже уехали...

— Как же так? А комсомольцев почему не взяли? — закричали ребята.

— Да вот уж так... Фронт, он, знаете, ждать не может.

— А мы-то как же? — вырвалось у Яшки.

— Вы? Вы еще дождетесь своей очереди. А вот за вашу работу политотдел Шестой армии велел вам благодарность передать. Возьми эту бумагу, Курбатов, и прочитай ее на комсомольском собрании. Она Кедровым и Кузьминым подписана.

16

Пусто стало на заводе. Многие ушли на фронт, иные ринулись в путаницу железных дорог: говорили, что в Ташкенте хлебом хоть засыпаться... Изголодавшиеся люди верили всему, снимались с мест, уходили с работы и ехали, даже не представляя себе толком, где он есть, этот самый Ташкент.

Поредела и партийная ячейка. На фронт не взяли только стариков. Подходило время, когда надо было уезжать и Трохову; как ни недолюбливал его Чухалин, а, думая об отъезде Трохова, волновался: кто же будет заниматься комсомолом?

Но мысль эта уступала место другим, более тре-

возным: на заводе кончались запасы древесины, из которой делали целлюлозу. Запасы кончались, а на реке сбились тысячи хлыстов молевого сплава: не было людей, чтобы разобрать лес. Но не останавливать же завод, в самом деле.

Что-то надо было предпринимать. Из губкома Чухалину пришла грозная депеша: в ней отмечалось, что завод стал работать хуже, снарядов не хватает. Чухалин, перечитывая последние строчки — «будете привлечены к партийной ответственности. Данилов», — грустно усмехнулся: как будто Данилов не знает, что здесь творится сейчас. Мог бы и приехать, сам бы тогда увидел...

Данилов приехал неожиданно, и у Чухалина ёкнуло сердце, когда он увидел секретаря губкома, идущего через двор к заводууправлению. Тут же он разозлился на самого себя: что я виноват, в самом деле, что у меня всего не хватает?

Но Данилов, войдя в кабинет директора, казалось, и не думал распекаль его, он улыбался, еще с порога протягивая руку, басил:

— Сто лет не виделись. Ну и отошал ты, Григорий Михайлович. Скелет какой-то, только разве что костями не гремишь.

— Гремлю уже, — усмехнулся ему в ответ Чухалин. — Это хорошо, что ты приехал.

С Даниловым он был знаком давно, еще по подпольной работе в Питере, где нынешний секретарь губкома, вернувшись из Женевы, возглавил одну из питерских районных организаций. Данилов правился Чухалину своей прямоотой, своей манерой разговора, которую, как он знал, не любили многие, — Данилов долго не раздумывал над тем, как и что надо сказать, а «рубил с плеча». Тех, кто не очень-то уважал правду, даниловская манера коробила. Товарищи рассказывали, что прямота и откровенность Данилова нравились Владимиру Ильичу, у которого нынешний секретарь учился в партийной школе в Лонжюмо.

Большой, грузный Данилов, казалось, заполнил собой весь кабинет; он мерил его шагами и гудел своим басом:

— А я, брат, уже прошел по заводу, прошел... Можешь не рассказывать, сам всё знаю. И что с людьми

плохо — знаю, и с хлебом плохо — тоже знаю: меня рабочие чуть ли не час выпрашивали, как с хлебом.

— Как же с хлебом? — тихо спросил Чухалин.

— Плохо. Совсем паршиво. На Волге люди как мухи мрут... Кулачье в черноземной полосе, да и у нас тоже, попрятали всё. В ямах гноят. Ну, да ненадолго... А вот что лес у тебя на реке сбился — за это уж, брат, бить надо.

Он не дал Чухалину возразить:

— Знаю. И помолчи — всё знаю! Людей нет? А ты третьедневнишнюю «Правду» читал?

— К нам она на пятый день приходит. Что там?

— А ты почитай. Такому директору, как ты, очень полезно.

Данилов вытащил из кармана галифе сложенную во много раз газету, развернул ее на столе, разглаживая сгибы, и отчеркнул на первой странице ногтем нужное место.

Чухалин, поправив очки, наклонился. В глаза бросилась небольшая заметка:

«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения, — торопливо читал Чухалин, — для перевеса над классовым врагом, коммунисты и сочувствующие вновь должны пришпорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, т. е. увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции, — работу производить бесплатно. Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком».

Это была резолюция коммунистов и сочувствующих подрайона Московско-Казанской железной дороги. Чухалин читал, не вдумываясь в слова, стремясь уловить общий смысл заметки. Само событие — коммунистическая суббота — потрясло его; он чутьем уловил в этом что-то новое, такое, с чем ему еще не приходилось встречаться.

«Воодушевление и дружность работы небывалые. Когда без ругани и споров рабочие, конторщики, управленцы, охватив сорокапудовый бандаж колеса для пассажирского паровоза, перекачивали его на место, как трудолюбивые муравьи, на сердце рождалось горячее

чувство радости от коллективного труда и непоколебимая вера в победу рабочего класса. Мировым хищникам не задушить победителей-рабочих, внутреннему саботажу не дожидаться Колчака.

По окончании работ присутствующие были свидетелями невиданной картины: сотня коммунистов, уставших, но с радостным огоньком в глазах, приветствовала успех дела торжественными звуками «Интернационала», и казалось, что эти победные волны победного гимна перельются за стены по рабочей Москве и, как волны от брошенного камня, разойдутся по рабочей России и раскатают уставших и расхлябанных».

Когда Чухалин дочитал последние слова, Данилов сказал вдруг с необычайным волнением:

— А знаешь, кто на этом субботнике работал? Ленин. Большой, раны еще по-настоящему не зажили, а брёвна таскал.

Чухалин молчал.

* * *

Час спустя они пришли в клуб и еще издали в сенях услышали горячие, перебивающие друг друга голоса. Данилов вопросительно поглядел на директора; Чухалин улыбнулся:

— Смена кончилась, комсомол заседает. Зайдем?

Они вошли в комнату и, никем не замеченные, сели на заднюю скамейку.

Скоро Чухалин разобрал, в чем дело: в связи с отъездом Трохова проходили выборы нового секретаря.

Данилов, усмехнувшись, тронул Чухалина за рукав:

— Пойдем. Пусть сами разберутся.

Но узнав через два часа, что комсомольское собрание продолжается, Данилов заторопился:

— Видимо, не умеют ребята. Вон сколько времени потеряно. Идем, поможем.

Сесть было негде, и они пристроились за спинами комсомольцев на табуретках, выставленных в коридор. Через открытую дверь доносились голоса выступавших. Данилов, нагнувшись, спросил шепотом у одного из комсомольцев:

— Выбрали уже?

— Выбрали, — отмахнулся тот, не оборачиваясь.

— Кого?

— Да Курбатова... — и тут же закричал срывающимся голосом: — Правильна-а-а!..

— Хороший парень? — не унимался Данилов. Парень зло обернулся на него и ответил:

— Чего ж хорошего? На безрыбье и рак рыба.

— Зачем тогда избирали? Лучше не нашлось?

Комсомолец огрызнулся:

— Да дай человека послушать-то.

Чухалин, услышав о том, что секретарем выбрали Курбатова, тихонько присвистнул и прошептал Данилову на ухо:

— Это тот... Помнишь, я тебе рассказывал? Только молод, боюсь, подготовки у него никакой...

— Как будто у тебя, директора, высшее хозяйственное образование, — хмыкнул Данилов. Чухалин, смутившись, отодвинулся, подумав: «Ну, теперь парню кисло придется. Тянуть надо...»

А там, в комнате, говорили уже об отправке на фронт Трохова и еще нескольких человек, завтра они должны были явиться в город, в военный комиссариат. Собрание подходило к концу, и Кият стоя начал зачитывать протокол:

— «*Слушали:* 1. Текущий момент. Прений не было и так всё ясно.

Постановили: Считать текущий момент очень острым. Всем комсомольцам работать и действовать так же, как в прошлом году. Бюро ячейки составить план и утвердить на следующем собрании.

2. Выборы секретаря взамен Трохова.

Постановили: Выбран Яков Курбатов, за которого голосовало большинство. Но Трохов воздержался.

3. О всероссийской мобилизации комсомольцев на фронт. Докладчик Я. Курбатов.

В прениях высказались 17 человек, всё больше о том, чтобы мобилизовать на фронт не с 18, а с 17 лет. Только представитель партячейки М. Трохов воздержался, сказав: «Слабина вы еще».

Постановили: Довести до сведения губкома РКСМ, что семнадцатилетние комсомольцы могут воевать не хуже восемнадцатилетних и что они все прошли всеобуч и умеют владеть винтовкой, наступать цепями и ходить в атаку. Поэтому считать мобилизованными из ячейки на фронт всех ребят, кто старше семнадцати

лет, кроме: Семенова, Иванова, Ксенофонтова, Дробина и Лукина, как неспособных к военной службе, и Курбатова, как не совсем здорового, хотя он и возражает. Принято единогласно при двух воздержавшихся. Когда их спросили, почему они воздержались, они не ответили, а сказали только: «Так».

4. *Разное.* Задан вопрос о том, почему так долго не созывается первый губернский съезд РКСМ. Уж скоро будет второй Всероссийский съезд, а у нас в губернии еще и первого не было.

Отвечает Трохов. Он говорит, что инициативная группа мало проявляет инициативы; в этом году, видимо, губернского съезда не будет.

Трохов говорит, что это и неважно, но собрание постановляет просить губком партии провести губсъезд в ближайшие месяцы».

Кият кончил читать и устало спросил:

— Ну, будут еще мнения?

— Будут, — поднялся Данилов.

Все повернулись к нему, Кият даже приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть, кто это там басит в задних рядах, а Трохов, увидев Данилова, вскочил на сцену, широко разводя руки и улыбаясь:

— Товарищи! — крикнул он. — Ура секретарю губкома партии товарищу Данилову. Ура-а!

Всем как-то сразу стало неловко, никто Трохова не поддержал. Данилов, пробираясь к сцене, поморщился; сидевшие поблизости услышали, как он бурчал:

— Ну и прокукарекал, петух.

Трохов, глядя на секретаря влюбленными глазами, слез со сцены и плюхнулся на свое место. А Данилов, насмешливо покосившись на него, отвернулся.

— Сколько же вы, ребята, заседали сегодня, а? — спросил он, вытаскивая из кармана большие часы. — Ох, как долго заседали. А я должен сказать, что в основном впустую. Секретаря избрали — это нужное дело, а вот с отправкой на фронт... Не пойдет.

— Почему? — вскочил покрасневший Кият. Ребята зашумели, и председатель уже протянул было руку к ступе. А Данилов продолжал говорить:

— Но, мне кажется, и ругать вас за потерянное время нельзя. Хороша была бы комсомолка, если бы вы поступили иначе. Объявлена всероссийская мобилиза-

ция молодежи на фронт, партия туда посылает тысячи коммунистов. И вдруг у партии находится такой «помощник», который говорит: «Война с панской Польшей дело сейчас не наше, у нас не осталось взрослых ребят, а мы еще малолетние, мы будем за мамкину юбку держаться». Если бы вы сделали так, не обсудили, не вынесли такого решения о поездке на фронт, то я бы первый посоветовал распустить такую ячейку. Зачем партии такой помощник? Правильно вы сделали! Молодцы! Но вот нашему партийному секретарю следовало бы подсказать вам, что к чему. Слышишь, Григорий Михайлович? Почему Булгакова нет на собрании?

— Он на заводе, — мрачно отозвался Чухалин.

— Ну, поговорим с ним, — то ли с упреком, то ли с усмешкой сказал Данилов. — А вам, комсомол, я вот что посоветую: на фронт вам сейчас никак ехать нельзя. Вы не думайте, что я не верю, что вы воевать хорошо будете. Даже уверен, что воевать вы бы стали лучше, чем многие. Оружие вы знаете, военное дело тоже.

— Так чего ж делать-то? — с каким-то отчаянием крикнул кто-то из ребят. — Мы ж уже всюду растрепали, что поедem.

Данилов сунул руку в карман и вытащил газету. Ребята смотрели на него с тревожным ожиданием. Секретарь губкома, широко улыбнувшись, обвел взглядом ребят и весело спросил:

— А ну, кто тут самый голосистый? Читай вслух...

Нового секретаря, как и предполагал Чухалин, пришлось «тянуть». Его учили уму-разуму уже на втором субботнике, потихоньку, незаметно от других, подсказывали, как организовать работу, как вести себя, чтобы на первых же шагах «не подрывать авторитета».

Субботники вошли в жизнь завода как нечто обыденное. После работы десятские давали сведения о том, сколько сделано. Однажды, сдавая такие сведения, Яшка с азартом сказал Пушкину:

— Смотри, дядя Захар, сколько я сегодня сделал: больше чем в прошлый раз. Я думаю, еще больше сделаю.

— Кто, говоришь, сделал, Яша? — спокойно спросил Пушкин.

Курбатов смутился и уже не сказал, а промямлил:

— Я... дядя Захар, а сказал, что вот двадцать две сажени перенесли и напилили.

— Значит, всё же «напилили», говоришь? — с насмешкой переспросил Пушкин. — Как же ты это... Работали все вместе, а ты вроде бы об одном себе говоришь. Вот Чухалин тоже «якать» стал. Я да я! «Мой завод», «я сделал», «у меня на лесной бирже», «мои лошади»... Нехорошо как-то получается. Ведь ему лично ничего не принадлежит. Конечно, ответственность у него больше, чем у тебя, и подчиняться мы ему во время работы должны... Но «якать» зачем?

Передавая потом этот разговор Чухалину, старик-рабочий повторил всё, что сказал Яшке, и Григорий Михайлович рассмеялся:

— И меня воспитываешь? Ох, хитрый ты, Захар. Ну да верно... Верно... Трудно Курбатову еще.

Он не ошибся: Яшке действительно приходилось нелегко. На его плечи вдруг взвалилась необычайно большая и почти не знакомая ему работа. После смены он шел к Булгакову, и тот, сам уставший до предела, учил его. Именно — учил, начиная с того, как проводить комсомольское собрание, и кончая проверкой конспектов по политграмоте. Яшка только до боли стискивал зубы, чтобы не крикнуть: «Я устал! Разве вы этого не видите?»

Булгаков это видел. Однажды, после одного такого очередного занятия он, провожая Яшку до дверей, тихо и ласково спросил:

— Что, парень, нелегкая, выходит, дорога в большевики?

* * *

Да, дорога нелегкая...

Он работал на заводе, не считаясь с временем, забывая обо всем, что происходило вокруг: и о том, что с фронта вернулся раненный в руку Трохов, — всего и провоевал два дня, — и о том, что на танцах в клубе, как ему говорили, Трохов вьется возле Клавы.

Он работал торопясь, будто стараясь обогнать самого себя. Как-то мастер Мелентьев поручил ему слож-

ный ремонт большой вращающейся печи, в которой сжигался серный колчедан. Мелентьев дал Яшке подручного, рассказал, какой надо сделать ремонт и где взять запасные детали.

Колчеданная печь стояла в кислотном отделе. Ремонт был срочный, времени дали мало, — всякая задержка нарушала нормальную работу завода.

Яшка подгонял своего подручного. Часто приходилось выбегать на улицу, чтобы подышать свежим воздухом: в цехе стоял едкий пар. А потом Яшка решил не выходить на улицу: «Ничего, выдержим. Времени с гулькин нос».

В горле жгло, глаза покраснели, воспалились, горькая слюна заполняла рот, но ремонт они всё же закончили.

Ребят вовремя стащили с печи и вынесли на улицу. Оба были почти в обмороке; на носилках их отправили в больницу.

Врачи уверяли, что отравление серьезное, но Яшка наотрез отказался остаться в больнице и к вечеру попросту сбежал.

На следующий день возле проходной уже висел специальный приказ директора, в котором двум комсомольцам объявлялась благодарность; кроме того, им была выдана премия — по пять фунтов на брата сушеного урюка, который рабочим отпускали в лавке вместо сахара.

Яшка ходил гоголем. Пять фунтов урюка — это, конечно, на улице не валяется, а благодарность, которую прочли чуть ли не все в поселке, — это тоже кое-что значит. Да и ремонт был такой, что поручался обычно только слесарю шестого разряда. Можно было гордиться.

А потом Яшка «сорвался». Мастер вызвал его и, шелевя густыми бровями, сказал:

— Пойдешь сушильный агрегат ремонтировать. Знаешь, в отжимном отделе?

Он стал подробно объяснять Яшке, где и что надо сделать. Курбатов стоял и слушал его, нетерпеливо перекладывая из руки в руку зубило. Наконец он не выдержал:

— Дядя Ваня, да что я, маленький, что ли? Сам знаю...

Доброе обычно лицо мастера стало злым, в глазах пропала теплота. Мелентьев вспыхнул:

— Видишь ты, всезнайка какой! Молокосос, индюк надутый. Вот ведь сколько тебе надо: раз поблагодарили, а ты уже и нос задрал. Я давно замечаю, как ты таким фертом ходишь, а еще, оказывается, и знаешь всё. Мне вот на пятый десяток, а я, старый дурак, и до сих пор считаю, что знаю всего ничего. До сих пор, у кого только можно, учусь, ко всему приглядываюсь.

Яшка стоял красный. Он уже понимал, что сплхо-вал, и неожиданно вспомнил, какими ироническими улыбками встречали его иногда старые слесари.

А дядя Ваня всё еще кипел, однако тон его был уже другой, более душевный:

— Запомни, павлин мокрохвостый, что я скажу. Вот ты сделал досрочно ремонт печи, и завод поэтому не встал на простой. Тебе и благодарность объявили, и пять фунтов урюка выдали за старание. А знаешь ли ты, что, прежде чем пустить печь, я осмотрел твой ремонт? У двух болтов на фланцах гайки на две нитки отходили. Думаешь, если бы я недоглядел, долго печь работала бы? Тебя пожалел, видел, что стараешься. Выходит, зря я не сказал...

Яшка вспомнил, что гайки завинчивал подручный, а работу его он не проверил. А проверить был обязан.

Сейчас он стоял, стараясь не смотреть на Мелентьева. «Стыдно, ой, как стыдно!» Щеки у него пылали. Казался горьким и урюк, съеденный им. А он Клаву этим урюком угощал! Хвастался перед Титом Титовичем, перед Чухалиным. Но одна Марфа Ильинична вслух похвалила его, остальные только слушали, а старик Алешин, вспомнил Яшка, лишь неопределенно улыбался.

— Давайте, дядя Ваня, рассказывайте о ремонте, — пробормотал он.

Тот усмехнулся, отворачиваясь:

— Нет, Яша, теперь я тебе этого ремонта не дам. Возьми-ка ты керосину да тряпок, да промой как следует сушильные цилиндры, ржавчину сними.

Этого Яшка не ожидал. Он чувствовал себя уничтоженным.

— Дядя Ваня... Мне три года назад эту работу давали.

— Вот и сделаешь как следует. А работы никакой не бойся, всякая для человека не зазорна.

Так «тянули» его большевики, рабочие. И горько было ему порой, и хотелось иной раз пожаловаться, но только темней становились глаза. Как-то взглянув на себя в зеркало, Яшка удивился — губы у него стали какие-то незнакомые, плотно сжатые, с двумя черточками по краям.

Чухалин, встречая его, говорил с ним обычно, как со взрослым, и Яшка не знал, что в глубине души Григорий Михайлович затаил тревогу: «Выдержит ли? Тонка еще кишка у парня...»

18

Стояли короткие дни и длинные, темные вечера. Днем ярко светило солнце. Кое-где на крышах начинало подтаивать; в воздухе чувствовался уже еле уловимый, волнующий запах весны.

В один из вечеров, при свете больших электрических ламп, курбатовская «десятка» работала на субботнике на лесной бирже. Ребята накатывали бревна из штабеля, подавали их под пилу, а потом укладывали на «козла»; там уже девушки снимали кору. Всё шло хорошо. По обыкновению шутили, беззлобно переругивались и, разгибая занемевшие спины, закуривали. Десятка Курбатова была среди первых и красовалась на доске у Совета.

До конца работы оставалось минут пятнадцать. Вдруг загрели бревна в штабеле. Раздался пронзительный девичий крик, и Яшка, вздрогнув, кинулся к раскатившимся бревнам.

На снегу, склонив голову, сидела Клава, обеими руками обхватив ногу. Яшка перепугался: бревно могло переломить ногу.

Ребята помогли поднять Клаву, но стоять она не могла.

— Как кончите, дуйте в столовую, — дрогнувшим голосом сказал Яшка, — а я ее до дому провожу. Возьми, Колька, мой талон, похлебку за меня съешь, а хлеб принесешь к себе домой, я забегу.

Клава попробовала было идти, сделала шаг, резко вскрикнула и снова села на снег.

— Ой, Яшенька, милый, не могу .

— Посиди, посиди... Ты не бойся, это бывает...

Курбатов стоял и думал, что зря отпустил ребят, навряд ли он один сможет отнести Клаву.

— Давай-ка, держись за мою шею, я тебя на закукорках домой отнесу.

— Что ты, Яша...

Всё-таки она крепко обхватила его. Яшка поднял ее и понес. Идти было далеко, не меньше полутора верст. И когда она слишком крепко сжимала шею, Яшка хрипел:

— Не дави на горло. Задушишь.

Клава в своем зимнем пальто была тяжелая.

Совсем выбившись из сил, он с трудом дотаскил ее до крыльца дома, еле дотянулся до звонка...

Открыла им Марфа Ильинична. Увидев тяжело дышавшего Яшку и Клаву, она ахнула и заплакала.

Потом Марфа Ильинична, немного успокоившись, суежилась около внучки. Яшка хотел было уйти, но Марфа Ильинична и слышать не хотела об уходе:

— Да куда тебе идти? Отдохнешь у нас. Вон лицо-то какое — ровно у ефиопа.

Яшка взглянул на Клаву и уловил в ее глазах особенный свет. Он остался. Сняв спецовку, пошел на кухню, вымыл руки и лицо. Когда он вернулся, он увидел, как Марфа Ильинична, раскрасневшись, стаскивала с Клавы валенки. Один лежал на полу, второй старуха никак не могла снять. Как только она бралась за него, Клава бледнела и откидывала назад голову.

— Разрезать, бабушка, валенок нужно, иначе ничего не выйдет. Наверное, нога распухла, — морщась, посоветовал Яшка.

Старуха махнула рукой:

— Давай режь, дружок. Шут с ним, с валенком. Сходи на кухню, там ящик стоит с сапожным инструментом, возьми ножик.

Яшка принес нож и стал разрезать голенище, не понимая, что с ним творится. Такое с ним было впервые. Руки дрожали, он краснел и не глядел на Клаву.

Когда валенок был стащен, бабушка начала снимать с Клавиной ноги чулок, и Яшка отвернулся.

Оказалось, что нога у Клавы сильно распухла и в одном месте была багрово-синяя. Марфа Ильинична, причитая, отжимая над тарелкой тряпку, попросила Яшку помочь перенести Клаву на постель.

Осторожно, как ребенка, взял он Клаву на руки, отнес ее в другую комнату и посадил на мягкую постель. Потоптавшись немного у постели, он вдруг спохватился:

— Я за врачом побегу... врача надо.

Но Клава, страдальчески улыбнувшись, попросила:

— И так пройдет. Не уходи, Яша, посиди. Дедушка на работе, папа на субботнике... Не уходи, сегодня ведь в ячейке ничего нет...

Они остались вдвоем в комнате: Марфа Ильинична хлопотала на кухне. Клава закрыла лицо руками, потом, словно очнувшись, взяла Яшину руку и тихо пожала ее. Яшка растерялся.

В комнату вошла Марфа Ильинична, и он поспешно вскочил:

— Пойду я, Клава... Без врача нельзя.

— Посиди, — шепнула она. Но Марфа Ильинична поддержала его и, облегченно вздохнув, он побежал за врачом.

...Когда Курбатов пришел к себе в барак, сосед его, Валя Кият, уже спал. Стараясь не шуметь, он разделся и лег на свой топчан. Новое, тревожное и вместе с тем радостное чувство охватило его; он долго лежал и улыбался в темноту.

Только под утро он забылся тревожным, коротким сном.

* * *

Нога у Клавы разболелась, ходить она совсем не могла. Яков часто прибегал в дом Алешиных, усталый, измотанный: из губкома пришла директива подготовить бригаду на сплав. Всякий раз, навещая Клаву, он всё больше и больше убеждался, что их отношения стали новыми, особенными.

Как-то вечером Клава жалобно проговорила:

— Как на воздух хочется! Ходить не могу, на крыльцо и то не выйти.

— А ты не печалься...

Она даже вздрогнула, когда Яшка, ни слова не

говоря, не одеваясь, выбежал в сени, только хлопнула входная дверь.

Курбатов вспомнил, что в его бараке стояли финские сани с длинными полозьями и высоким сиденьем-креслом. Он быстро вытащил сани на улицу и подогнал к дому Алешиных.

Снова на руках вынес он повеселевшую Клаву на улицу, усадил в финские сани и встал сзади на длинный полоз.

Они ехали по тихой, безлюдной улице поселка. Небо было темное, звездное; месяц разливал по земле свой мертвый свет. Снег скрипел под полозьями, искрился и вспыхивал в лунном свете. Высоко в небе отчетливо выделялась широкая полоса Млечного Пути.

Стояли последние морозы. Порою слышалось сухое потрескивание, о котором всегда говорят, что это «морозко грозит»: на холоде трескали деревья.

Они долго ехали молча, словно боясь нарушить тишину. Первой заговорила Клава:

— Красиво, верно? Сейчас бы побежать — да в снег... Как это — стихотворение про мороз? Помнишь его? Я конец забыла.

Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит, хорошо ли метели...

Как там дальше?
Яша подхватил:

Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли...

Незаметно они очутились на окраине поселка; дальше белело, теряясь в темноте, занесенное снегом болото. Холодный ветер резал щеки и бросал в лицо тучи мелкой снежной пыли.

Здесь они простояли несколько минут. Яшка развернул сани так, чтобы ветер не дул Клаве в лицо.

— Наклонись ко мне... — тихо попросила Клава.

Яшка наклонился, и девушка, вдруг обхватив его шею руками, поцеловала в губы и сразу отвернулась.

Яшка опустил в снег. Он не мог понять, что же произошло... Он бросился к Клаве, обнял ее и стал быстро говорить, путая слова:

— Клабочка... Родная моя... Теперь я знаю, что это со мной... Жизнь за тебя отдам!..

Клава вырвалась:

— Не надо, Яшенька, потом...

Он опомнился:

— Что же... дальше-то будет, Клава? — неуверенным голосом спросил он у девушки, и та засмеялась, щуря глаза от ветра:

— Как что? Да ничего! Мы с тобой долго дружили, а теперь тоже... будем крепко дружить... Глупый ты еще, Яшеноч!

Пора уже было ехать обратно: Марфа Ильинична ждала их. Яшка нехотя повернул сани; сильный ветер обжег лицо. Но он ничего не чувствовал. Самый родной, самый близкий теперь человек сидел перед ним, он видел только платок да прядь волос, занесенную снегом, и щекой прижался к ее платку.

— Глупый ты, Яшеноч! — снова, будто с ласковым упреком, повторила Клава.

Яшка вдруг буркнул, нахмурившись:

— Я сержусь, когда ты с Мишкой Троховым танцуешь. Не люблю я его, трепач. Вояка...

— Это в тебе ревность говорит, — засмеялась девушка. — Мне вот кажется, он совсем неплохой парень. А что на фронте день всего пробыл, — так ведь ранили его, так уж получилось. И что на продсклад его послали, — ведь кому-то и на складе надо работать...

Яшка не сдавался, чувствуя, как раздражается против воли.

— Ты послушай лучше, как он заливает. На складе мог бы и старик сидеть. Зачем он таким пижоном оделся? На какие шиши фасонистую форму завел?

Злость душила его.

— Зачем же ты так о человеке говоришь? Не знаешь, а говоришь.

— О Мишке все так говорят, — снова буркнул он. — Хочешь, спроси о нем отца.

— Никого я спрашивать не буду, сама разбираюсь. Мало ли что говорят? Одно время и про тебя тоже говорили — «алкоголик», «хулиган»... Ну, мы, кажется, приехали?

В окнах горел свет, на замерзшем окне виднелась

тень Тита Титовича. Яшка поднял Клаву и понес к дверям.

Простились они сухо, и Яшка ушел с тяжелым сердцем.

* * *

Основным сырьем для завода были металл и древесина. Цехи поедали в огромном количестве горы металлического лома, штабеля стальных болванок, сотни и тысячи хлыстов.

Для заготовки древесины у завода были свои лесоразработки. Лес сплавлялся сначала в реку Кубину; на Высоковской запани бревна сбивались в плоты, и два буксирных парохода тянули их через огромное Кубинское озеро в реку Сухону, на которой стоял завод.

Май выдался жаркий. Весна была в разгаре, а из-за паводка сплотка древесины в Высоковской запани приостановилась, угрожая заводу остановкой. Впрочем, весенние паводки никогда не были здесь неожиданностью; к ним готовились, их побаивались. Но когда Чухалину сообщили, что воды столько, сколько и старожилы не припомнят, и что как-то ночью моле¹ разбило лежни на крайней секции, Чухалин заволновался не на шутку. Данилов, уезжая, всё-таки сказал ему:

— За то, что не в твоих силах, — ругать не имеем права. Но если что-нибудь по твоей вине случится, ответишь перед партией. Знаю, трудно всё усмотреть, но... надо.

Чухалин заволновался, но положение не было безвыходным. Бригада комсомольцев готовилась к работе на запани уже давно: ребята — «для практики» — учились сбивать лес на Сухоне, и просто страшно было смотреть, как стоит какой-нибудь лихач на крутящемся бревне и, орудуя багром, подгоняет другие бревна. Ледяные ванны не останавливали ребят, а случалось, в воду летели многие.

Когда Курбатов, вызванный Чухалиным, вошел в его кабинет, директор уже подписывал приказ об отправке комсомольской бригады на запань. Не поднимая головы, он отрывисто спросил:

¹ Моль, молевой сплав — бревна, не собранные в пучки или плоты. — *Прим. авт.*

— Кого бригадиром?

— Меня.

— А посерьезнее? — строго вскинул на него глаза Чухалин.

— Чего ж посерьезнее? — обиделся Курбатов. — Что я работать не умею, что ли?

Чухалин покачал головой и крикнул:

— Эж, герой! Опять ты за свое. А здесь за тебя дядя работать будет? Нет у тебя такого подходящего дяди. Так что проводить — проводи, но дальше пристани не пушу. Бригадиром, я думаю, назначим...

— Кията, — не дал ему договорить Яшка.

Наутро комсомольский секретарь стоял на пристани и с грустью смотрел, как ребята, раскачиваясь и широко разводя руки, поднимаются по шатким мосткам. Жаль было расставаться с Клавой, с Киятом; но на пристани стояла обычная предотъездная сутолока, и никто не замечал Яшкиной грусти.

Клава угадала его состояние:

— Яшенька, ты что? Мы же скоро... Да и ты, наверное, выберешься...

— Я не о том... — махнул он рукой. — Ты осторожней на сплотке.

Клава рассмеялась и крепко пожала Яшину руку. Буксирчик, сипло прогудев, шлепнул плицами по воде. Ребята стояли вдоль борта, облепили рубку, что-то кричали. На корме, чуть в стороне от остальных, сидел на канатной бухте Валя Кият, он смотрел не на берег, а куда-то в сторону, туда, где, сворачивая от железнодорожного моста, уходила к горизонту, к синеющей зубчатой кромке леса дорога. «Тоже сам не свой, — подумал Яшка. — Нет, Валентин выдержит...»

Этой ночью, накануне отъезда, Яшка разговорился с Валею, он спросил его:

— Где у тебя семья? Кто у тебя есть?

Кият промолчал, молчание было томительным.

— Не знаю, — наконец отозвался он. — Отец погиб... при взрыве...

— Да, да... — перебил его Яшка. — Ведь и у меня мать...

— Ну, а где остальные — не знаю... Где-то там... в Эстонии...

Они просидели до утра на одной кровати, и —

странная вещь! — Яшка рассказал Кияту всё о себе, начиная с битья в полицейском участке и кончая разговором с Клавой. Он и сам не мог понять, почему так, вдруг, доверился соседу по койке. Утром, провожая комсомольцев, почувствовал, что с ним, с этим парнем, ему расставаться грустно.

Еще долго были видны всё уменьшающиеся фигурки ребят...

Кто-то тронул Яшку за рукав, и он обернулся. Позади него стоял ученик из варочного отдела, худенький большеглазый Лобзик:

— Идем? Нам сегодня в день дежурить.

Они шли рядом, и Лобзик без умолку говорил, что это безобразие — назначать комсомольцев дежурить по ЧОНу в день и что надо обязательно пойти к чекисту Громову или к начальнику ЧОНа Чугуну: пусть переводят на ночные дежурства. А то пустое дело получается: ходи себе и поплевай по сторонам.

Курбатову паренек этот нравился. В нем, казалось, не было ничего, кроме огромных черных глаз да удивительной способности говорить без остановки хоть все двадцать четыре часа кряду. Ребята смеялись над ним:

— Лобзик, а тебя как заводят?

— А ты в цирк не обращался? Огромные бы деньги дали...

Но никто не знал, откуда он появился здесь, на заводе, где он жил до этого, что делал, где его родители.

Теперь Лобзик, забегаая вперед и отчаянно жестикулируя, доказывал, что «с этим безобразием пора кончать», и настойчиво спрашивал:

— Так ты пойдешь к Чугуну? Нет? Тогда я сам пойду, и я...

— Да остановись ты, — взмолился Яшка. — Голова разболелась.

— А я не могу, — выкатывая и без того огромные, с какой-то сумасшедшинкой глаза, серьезно ответил Лобзик.

Яшка вспомнил, как он ходил за Чугуновым, вымаливая у него «Смит-Вессон», и, рассмеявшись, хлопнул Лобзика по спине:

— Ладно, идем... Ну и костлявый же ты! Всю руку о твои кости отбил.

— Девчонкам нравится, — хмыкнул Лобзик.

— Что? — Яшка от удивления и неожиданности спросил, заикаясь: — К-как ты... г-говоришь?

— Нравится, говорю. Гляди.

Он оглянулся — нет ли кругом людей, вытащил из штанов рубаху, задрал ее под подбородок. На вдавленном животе была вытатуирована большая синяя змея, несущая в зубах обнаженную женщину. Лобзик пошевелил мускулами — и змея тоже зашевелилась, зашевелилась и женщина, разведя руки, словно моля о пощаде.

— Видал? Я как девчатам покажу — визжат от страха. А нравится.

Яшка, потрясенный, даже забыл спросить, откуда у него этот рисунок. Лобзик уже засовывал рубашку в штаны, довольнo улыбаясь:

— Во всем мире три таких штуки. Одна у малайского пирата, другая у меня, а третья... у одного человека.

— Какого человека?

— Так, — уклончиво ответил Лобзик, поняв, что сболтнул лишку. — Был знакомый... Ну так, значит, к Чугунову?

— Ты ему покажи это, — полушутя, полусерьезно посоветовал Яшка. — Может, за такую диковинку он тебя в специальный чоновский музей отправит. Я слышал, есть уже такой в Москве.

Лобзик метнул на Яшку недоверчивый, испуганный взгляд:

— Слушай, Курбатов, будь друг, не говори в ЧОНе об этом... Грому не говори, а? Не скажешь, а?

Яшка насторожился. Он спросил как можно равнодушной:

— Что ж у тебя за тайна такая? Девчонки, говоришь, видели, а Грому нельзя? Подумаешь, змея с теткой...

— Не говори, — взмолился Лобзик. — Я лучше тебе скажу, если слово дашь. Ну, комсомольское.

— Ну, комсомольское, — всё еще стараясь казаться равнодушным, повторил Яшка.

— Я ведь по тюрьмам шлялся... И завязал — шабаш... Мне в Бутырках печенки менты отбили. Я Дзержинскому письмо написал — судили ментов этих. А потом, знаешь, Дзержинский в больницу приходил.

Говорит — в колонию, а я собрал шмутки и рванул когти... сюда.

Яшка не заметил, что они замедлили шаги. Так случайно начавшийся разговор вдруг стал напоминать тот, вчерашний ночной, который Яшка вел с Киятом.

— Боюсь я всё-таки чека, — со вздохом признался Лобзик. — Так что ты не говори, Курбатов, а?

Яшка неожиданно обнял парнишку за острое, выпирающее, худое плечо и то ли с удивлением, то ли просительно сказал:

— А ведь ты вроде... ничего парень, Лобзик!

Чугунов был в помещении ЧОНА. Он сидел за столом, грузный, злой, не бритый, не выспавшийся, и, постукивая по выскобленным доскам своим кулачищем, читал какую-то бумажку.

— А-а, орлёнки. Чего вам? Уже на дежурство? Отменяется.

— Почему?

— В ночь будете дежурить. Приказ пришел. И вот что, ребятки... садитесь-ка... Дело тут такое... В городе застучали одну группку, они рассказали на допросе, что подготовлен поджог на заводе. Здесь, у нас. Поняли? Когда у вас смена?

Яшка ответил, и Чугунов кивнул:

— Ну вот и валяйте: отработаете, сосните минуток так полтора — и сюда.

Когда они вышли от Чугунова, Лобзик рассмеялся.

— Чего ты?

— Да ничего. Весело всё получается. Ты разбудишь меня по пути, а?

Яшка, шагая впереди, не ответил. Уже у самых заводских ворот он, будто вспомнив что-то, обернулся:

— Вот что... После смены ко мне пойдем. Кият уехал, ложись на его кровать. Барахлишко только захвати — одеяло там, подушку...

Лобзик как-то странно сверкнул на Яшку своими черными, как антрацит, глазами и улыбнулся:

— Значит — корешки?

— Какие еще там «корешки», — буркнул, не поняв, Курбатов. — Говори ты по-русски.

— Ну, дружки, значит? Гроб, могила, три креста...

Яшка оборвал его:

— Забудь ты эти свои штучки, Лобзик, могилы там

или эти... когти... И о тюрьме у нас с тобой разговора не было. Точка.

Уже входя в цех, он подумал: «Чего это он со мной так разболтался? Молчал, молчал — и нате вам». И тут же ответил сам себе: «А ты? Всё Кияту выложил... Душа, что ли, требует?»

Как ни старались наряды, как ни охранялись заводские помещения, а всё-таки однажды ночью поселок был поднят по тревоге. Горели склады готовой целлюлозы. Подожгли их одновременно, изнутри, и чоновцы увидели пожар только тогда, когда огонь начал выбиваться из широких дверей, лизать крыши... Спасти целлюлозу было уже невозможно. Единственное, что оставалось делать, — это гасить пламя, чтобы оно не перекинулось на другие постройки. Примчавшийся Чугунов, отчаянно матерясь, орал:

— Да что вы стоите, как памятники! Оцеплять надо поселок! Поселок оцеплять, говорю. Чтоб мышь не пролезла. Головой отвечаете. Без вас здесь потушат. Ну!

Яшка бежал отсюда нехотя: чёрт его знает, хватит ли народа, чтобы погасить огонь? Возле последних домов он остановился, тяжело дыша, и обернулся: пламя разгоралось всё ярче. Лобзик, бежавший рядом, тянул его:

— Эх, зря побежали... Что же там смотрят!

— Идем, идем... Ах, поймать бы!.. На месте грохну!

Они подбежали к болоту, за которым начинался низенький редкий перелесок. Прыгая с кочки на кочку, Яшка первый перебрался через болото и, выбрав место посуше, упал в кусты. Лобзик плюхнулся неподалеку: очевидно, он попал в воду, — донеслась его яростная ругань.

Неожиданно тихо стало вокруг. Уже неслышны были людские голоса, где-то в перелеске ухнул пару раз филин и замолк. Яшка лежал, вглядываясь в темноту, и ему казалось, что всюду — и за кочками, и за кустами — ползут сейчас поджигатели. Но нет, всё было тихо по-прежнему.

Яшку начало знобить. Он тихо окликнул соседа:

— Я пройду посмотреть. Скоро вернусь.

Но, поднявшись, он ахнул и застыл, глядя в сторону завода. Там вдруг широким снопом рванулось вверх ослепительное оранжевое пламя.

От горящих складов огонь перекинулся на поселок. Теперь горела вся заречная, сплошь деревянная, часть. Пожары от искр возникали сразу то на одной, то на другой улице.

Огромные клубы дыма поднимались и пропадали в высоте или вдруг, подхваченные ветром, стлались по земле. Снопы искр, головни, целые горящие бревна, как вспыхивающие фейерверки, взметывались в воздух. С треском лопались оконные стекла, трещало и стреляло разгорающееся сухое дерево. От сильной жары трудно было проходить даже посредине горящей улицы. Оставшиеся дома люди выбрасывали на улицы скарб, перетаскивали его на прилегавшие пустыри, подальше от огня. Страшные, разлохмаченные, воющие женщины с плачущими детьми метались от одного дома к другому: начиналась паника.

Курбатов медленно пошел по самому берегу болота, вдоль безмолвных крайних домов поселка, широко раскрывая глаза в темноте. Внезапно ему показалось, что возле одного из домов мелькнула тень, и он присел, боясь шевельнуться. Он не ошибся. Из калитки, крадучись, прижимаясь к забору, выбежал человек, и сразу Яшка увидел огонек, лизнувший бревенчатую стену дома. Человек нырнул в соседнюю калитку. Яшка бросился за поджигателем, вбежал в калитку:

— Стой, сука! Убью!

Поджигатель метнулся к высокому забору, отделявшему двор от соседнего дома. Он с разбегу ухватился за колья забора, закинул ногу. Но Яшка уже подскочил к нему и, не соображая, что делает, ударил прикладом. Человек, вскрикнув, упал и, поднимаясь, послушно вытянул вверх руки.

— А ну, повернись!

Поджигатель-бандит пристально взглянул на Яшку и вдруг усмехнулся:

— А, чумазый! Вон ты какой стал! Что, завоевания революции защищаешь?

Курбатов вздрогнул: «Генка с Екатерининской! Сын

пристава! Ловили... на брюхе заставляли ползать... грязь жрать».

Эта картинка из времен детства, уже, казалось, забывшегося, стершегося в памяти, отчетливо промелькнула перед Яшкой. Ну да, это Генка!

— А ну, ложись, стерва! — крикнул он каким-то не своим голосом. — Ложись, говорю!

Он щелкнул затвором. Наглая усмешка Генки сразу сменилась каким-то трусливым выражением. Яшка заорал, не помня себя:

— Ешь землю! Теперь ты ешь, гадюка! — дуло винтовки уперлось в Генкину спину.

— Да я... Да что ты...

— Ешь, сука! Ешь! В последний раз говорю, стрелять буду... — захлебываясь от злобы, орал Курбатов.

Сейчас он был готов на всё и еле сдерживался, чтобы не выстрелить.

Генка упал, губами ткнулся в жидкую грязь. Яшка скомандовал: «Ползи!» — и Генка пополз.

Яшка не слышал, как его окликнул начальник пробежавшего мимо патруля. Он всё еще орал: «Ешь... Ползи... Ешь... Ползи...» Первым увидел патрульных Генка. Он теперь был согласен на что угодно, лишь бы скорей вырваться из рук Курбатова.

— Спаси-ите! — завопил поджигатель.

...Пожар погасили только утром. Когда Генку привели к черному от копоти Чугунову, начальник ЧОНа только коротко выругался:

— Стерва!

Но Генка уже пришел в себя. Осмелевшим, плаксиво-бабым голосом он закричал:

— Я официально... требую записать в протокол допроса, как вот этот... чум... этот товарищ...

Яшка оборвал его:

— Сука ты паршивая!

Подскочив к сыну пристава, он с силой ударил его кулаком по скуле, и тот осел на пол. Чугунов схватил Яшку за плечо жесткими, как клещи, пальцами:

— Прочь! — крикнул он. — Белогвардейщину разводить вздумал? Не ты судья, а трибунал...

Генка, держась за скулу, пошел к двери. Шел он боком, пугливо косясь на Курбатова.

Во время пожара умерла Марфа Ильинична, Клавина бабушка. Старуха бросилась помогать соседям и не добежала — остановилось сердце. Она сделала еще несколько шагов, подняв руки к сухой, желтой, морщинистой шее, а потом рухнула на дорогу.

О пожаре еще ничего не знали на запани. Не знали и о том, что погибло несколько человек; туда надо было кому-то ехать, и Курбатов заявил Чухалину:

— Поеду я. Ребята здесь справятся.

Это был просто первый, необдуманный порыв; хотя Чухалин, которому сейчас было не до Курбатова, и махнул рукой — ладно, езжай, — Яшка, выйдя на улицу, разозлился на себя: «От трудного едешь... Дурак. Лобзик поедет». И пошел будить Лобзика, который только утром, продрогший и голодный, вылез из болота и сейчас отсыпался на кровати Княта.

Растолкать его оказалось делом нелегким. Парень брыкался, отмахивался обеими руками и бормотал, не открывая глаз:

— Да иди ты к лешему... Хорошему человеку поспать не дают. Ей-богу, сейчас плевать начну.

Наконец он сел, с трудом раздирая слипающиеся, тяжелые веки.

Яшка коротко рассказал ему, что нужно сделать на запани. Главное, ничего не говорить сразу, подготовить ребят: у некоторых погибли родители.

— Клаве тоже поначалу ничего не говори. Понял? Так, походи вокруг, поболтай, о чем хочешь... Любила она старуху-то. И как лес разберут, часу не сидите, приезжайте на плотях.

Лобзик, уже совсем очнувшись, зябко ежился; обхватывая руками острые, костлявые плечи и зевая, повторял:

— Это я-асно...

Яшка, провожая его до завода («Богатырь» стоял сейчас у заводского причала), думал, послать ли ему через Лобзика записку Клаве, но решил, что лучше не посылать: правду писать не надо, а веселого тоже сейчас не напишешь. Он, тронув Лобзика за рукав, только попросил:

— Клаве привет передашь. Понял?

— Ясно, — многозначительно протянул Лобзик. — Ждет, скажу, и страдает.

Яшка вспыхнул:

— Не говори ерунды. Что ж, парень с девушкой дружить не может?

— Почему же не может? Может, — усмехнулся Лобзик. — Вот моя мамка с одним цыганом дружила-дружила, а потом я родился. Да ты не смущайся, брат. Она тебе пара... Не сомневайся, всё скажу, как надо.

И мелкими шажками, дурашливо ступая на носки, он ушел к пристани. Курбатов смотрел ему вслед нахмурясь: значит, видят, заметили ребята его отношения с Клавой. Ну так что ж? Пусть замечают.

...Лобзик приехал на запань в конце дня. Здесь, вдали от чадного завода, пахнувших гарью улиц, дышалось легче, хотя ехал он неохотно: весь поселковый комсомол был мобилизован на работы. Лобзику казалось, что его отстранили от дела, и отстранил не кто-нибудь, а Курбатов, поэтому-то он и задел его перед отъездом. Сейчас он досадовал на себя за это: зря обидел парня, всё равно кому-то ведь надо было ехать.

Проходя мимо домов, выстроившихся над запанью на высоком юру, Лобзик увидел большой плакат, написанный красным и синим карандашами:

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ ЗАПАНИ!

**Сегодня в 6 часов вечера
кружками комсомольской ячейки
завода имени Свердлова
будет дан большой концерт.**

Программа

1. Драматическое представление «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке».
2. Спортивные выступления и пирамиды.
3. Разнообразный дивертисмент на местные темы.

Концерт состоится на лугу у конторы.

Просьба не опаздывать.

Лобзик прислушался: издали донеслись смех, хлопки; стараясь казаться беззаботным, он пошел к конторе. Здесь он увидел людей, сидевших полукругом прямо на траве.

Сцена-помост на лугу была построена самими ребятами. Декораций не было. Когда Лобзик подошел и, никем не замеченный, сел позади всех, спектакль «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке» уже подходил к концу.

В пьесе рассказывалось о том, как лодырь не хотел работать на советскую власть, как дезертир не хотел воевать, но пришел белый адмирал Колчак и заставил несознательного лодыря работать на него по двадцать часов в сутки, а дезертира — воевать против Красной Армии.

Лобзик похлопал ребятам вместе со всеми и, нетерпеливо вертясь, ждал, когда же кончится этот, совсем некстати затеянный, концерт. Но ждать ему пришлось долго: сразу после пьесы начались спортивные выступления.

Публика видела спортсменов впервые. Когда на сцене появились ребята в трусиках и девочки в шароварах, слышались возгласы:

— У, срамники бесстыжие, беспортошники!

— А глянь-ко! Да это девки! Чисто светопреставление! Смотри, и они в одних портках!

— Ой, ой! Что делают-то? Верхом на робятах ездят!

Но струнные инструменты, баян и песни понравились всем. А ребят, певших частушки, долго не хотели отпускать со сцены, кричали: «Еще! Еще давай!»

Частушки пели двое девчат и два парня, одетые и загримированные под деревенских. Исполняли номер под баян, сопровождая каждую частушку пляской:

Посмотрите на Ефима,
Весь оброс, одна щетина.
Как работать, так в кусты —
Без меня собьют плоты.

И все стали оборачиваться на Ефима из Катромы, смеясь и указывая на него пальцами. Ефим, не зная, что ему делать, тихо и яростно матерился. А ребята пели уже о другом сплавщике, дяде Павле:

Дядя Павел, дядя Павел
Всех нас нынче позабавил.
Влез он в воду по колено
Сплавил ровно три полена!

— Смотри-кося! — надрывался кто-то от смеха. — И дяде Павлу попало! Ох и робята приехали!

Общим одобрением были встречены частушки о начальнике и десятниках запани; хотя фамилии и не назывались, но все поняли, о ком шла речь:

И всего-то по осьмушке
Надо с каждого украсть,
Но зато такому типу
Можно жить и кушать всласть.
Как с рабочим — матерится
Наш начальник лхой,
А с начальством в обращение,
Как ягненок, тихой!

И опять кто-то надрывался от смеха, опять люди хлопали, довольные: до сих пор начальника все боялись.

— Поди-ко, приехали городские-то! Как начальника нашего продернули. И правильно! Откуда они только всё знают? Видишь, молодые, а дошлые.

— А чего им бояться-то, — обиженно сказал, ни к кому не обращаясь, стоявший рядом бородач. — Небось сегодня уезжают. Я б им показал кузькину мать, если б еще денек здесь проторчали...

Лобзик, покосившись на него, не сдержался и фыркнул. Бородач повернулся:

— А ты чего смеешься-то, рожа египетская? Комсомол сопливый... — и толкнул Лобзика в грудь; тот мягко покотился на траву. Кругом уже шумели, а сосед, поднявшись, крикнул:

— Будет зубы скалить. Давай работать, не то...

И ушел, покачивая широкими, как у женщины, бедрами.

Ребята только теперь увидели Лобзика.

— Ты? Как ты сюда попал?

— Работать приехал.

Клава Алешина расхохоталась:

— Работать? А мы уже всё сделали. За три дня весь моль разобрали. Ну и работник нагринул...

Лобзик глазами отыскал в толпе Валю Кията и, подойдя к нему, кивнул: «Айда, поговорить надо». Кият, услышав о пожаре, побледнел, заторопился...

— Никому сейчас не говори. Скажешь, когда обратно поедет. Вот сейчас плот возьмут на буксир — и поедет.

Вечером, перед отъездом, Лобзик сообщил комсомольцам о случившемся. Ребята слушали его, мрачные, насупившиеся. Когда Лобзик, волнуясь, рассказал, как Курбатову удалось схватить одного поджигателя, он невольно поглядел на Клаву. Та заметила этот взгляд и отвернулась.

— Там... все живы? — вдруг спросил кто-то.

Вопрос не был случайным: многим еще был памятен взрыв в феврале семнадцатого года. И по тому, что ответ последовал не сразу, ребята поняли: не всё ладно. Лобзик поймал на себе испытующие, ожидающие взгляды и первый отвел глаза:

— Нет...

Наступила томительная, гнетущая тишина. Почти у каждого в Печаткине оставались родные, и все тревожились сейчас за своих. Лобзик, чувствуя, что молчать он уже просто не может, тихо проговорил:

— Трое... погибли... — и медленно повернулся к Клаве: — Твоя бабушка... Мне Яшка не велел... Но лучше сразу. Она хотела помочь другим, ну и...

Клава тихонько охнула. Одна из девушек обняла ее. Так, уткнувшись в плечо подруги, она сошла на плот. Там, опустившись на сырые бревна, заплакала; девушки успокаивали ее. Кият шепнул им:

— Не надо. Пусть поплачет. Полегчает...

На каждом плоту были построены из веток шалаши. Дни стояли погожие, жаркие, наводок спал. Но когда буксир вышел на середину озера, подул свежий ветер, поднявший волну. Скоро на гребнях волн показались белые барашки, и плоты заскрипели, застонали; могучие бревна — хлысты — то вздымались на волнах, то проваливались. С трудом удавалось ходить по плотам, и казалось, что они вот-вот расползутся по бревнышку, и всё живое пойдет ко дну. Капитан буксира кричал в рупор, чтобы ребята вели себя осторожно.

Но и при такой волне «Богатырь» с плотами благополучно достиг устья Сухоны. Вокруг плотов кипела вода, брёвна зарывались в воду и белая пена клочьями летела по ветру. Хотя на «Богатыре» дали полный ход, буксирный канат то и дело ослабевал: казалось, что плоты догоняли буксир, а тот удирал от них.

Комсомольцы сидели в голове плота молча, обнявшись. Возвращение домой было тяжелым; еще утром

никто не мог даже предполагать, что оно окажется таким. Клава лежала, плотно прижавшись к бревнам, и словно не слышала, как ее несколько раз окликнули: «Иди к нам!» Наконец она поднялась: ей трудно было дальше оставаться одной.

Она пошла босиком по краю плота, по мокрым бревнам... Вскрика ее никто не услышал, но многие увидели ее взметенные руки и мелькнувшее над водой, искаженное ужасом лицо.

На плоту все оцепенели. Плавать Клава не умела. Над водой появилась на мгновение ее голова, высоко поднятая рука — и девушка пропала в кипящей воде.

Лобзик не заметил, когда упала Клава; увидев ее в воде, он коротким, неожиданно сильным прыжком перенес свое худое тело к крайним бревнам плота и как-то боком, подпрыгнув, ринулся в реку. Он успел сообразить, что Клаву снесет течением и прыгнул впереди того места, где показалась ее голова. Нырять он всегда с открытыми глазами и свободно видел под водой. Немного позади себя, в мутно-желтой пелене, он увидел плывущее вниз по течению тело. На быстрине реки оно не могло сразу опуститься на дно. Лобзик, извернувшись, схватил Клаву одной рукой, а другой отчаянно стал выгребать вверх. Приподняв над водой голову девушки, он прямо перед собой увидел проплывавшие бревна и вцепился в брошенный ему толстый канат. Десятки рук уже тянулись к пловцу.

Девушки плакали. Лобзик осторожно вынес Клаву на середину плота, к шалашу. Он расстегнул на ее спине пуговицы лифчика и дрожащими пальцами взял раскинутые руки...

Клава не дышала, глаза ее были закрыты. Минут через десять она слабо застонала, дрогнули ресницы. Тогда Лобзик, прищулив глаз, кивнул девчатам — дайте, сделайте дальше — и отошел, вытаскивая из кармана промокший кисет.

...Когда Клаву, снова потерявшую сознание, вынесли на берег, Яшка бросился к ней.

— Жива, жива! — схватил его за руку Кият. — Да очнись ты, а то тебя откачивать придется. И вот его благодари, он спас. Она тонула.

Лобзик стоял в стороне, скаля свои большие, изумительно ровные белые зубы. Яшка, чувствуя, что ему

не хватает воздуха, подошел к другу и, схватив его за руки, через силу пробормотал:

— Я... тебе, Володька... никогда...

— Ну вот еще! — смущенно отвернулся Лобзик.

— Всю жизнь... не забуду, друг... — выдохнул Яшка.

— Меня, между прочим, благодарить не за что, — заметил Володя, скрывая за напускным равнодушием свое волнение. Вдруг он повернулся к ребятам и крикнул:

— А ведь и напьюсь я на курбатовской свадьбе, ей-богу, напьюсь, друзья!

20

Долго пробыть в Печаткине не удалось. Чугунов получил приказ — поднимать чоновцев и идти за хлебом в Сухой Дол. Заодно прочесать деревни, — на допросе задержанный поджигатель признался, что остальные прчутся там.

Прежде чем уехать, Яшка забежал к Алешиным. Клава сразу заметила «Смит-Вессон» в кобуре и удивленно спросила:

— Куда ты?

— Надо, Клава.

— Всегда «надо»... — она всхлипнула, уткнув голову в плечо отца, и тот, обернувшись, кивнул Яшке: иди.

Чоновцы собирались возле клуба, и Курбатов, не оборачиваясь на алешинский дом, побежал туда.

Начальником продотряда, направляемого в дальний Тотемский уезд, был назначен сам Чугунов, а комиссаром — коммунист Рыбин, недавно присланный из города, боевой комиссар Красной Армии, весь израненный и демобилизованный по непригодности к дальнейшей службе.

В отряде было сорок человек — бойцы-чоновцы и беспартийные рабочие. Курбатова зачислили в отряд на ту же должность, в которой он числился в ЧОНе, — конным ординарцем. Между Чухалиным и Чугуновым по этому поводу была короткая перепалка, о которой никто не знал: Чухалин не хотел отпускать комсомольского секретаря, а Чугунов, ударив кулаком по столу, гаркнул на директора:

— Грош ему тогда цена, секретарю. Если бы ты на главные дела не ходил, я б тебя давно покрыл бы... А кого прикажешь взять? Этого Трохова, что ли?

Готемский уезд, куда шел продотряд, был глухой, но богатый хлебом. Железнодорожного пути туда не было. Летом по Сухоне и Северной Двине можно было проехать до уездного города Тотьмы на пароходе, но Чугунов решил пройти триста верст на лошадях и обшарить по дороге суходольские деревни. может, и не соврал поджигатель после того, как Курбатов его землей накормил...

Но триста верст!..

Чугунов, приподнимаясь в стременах, пропускал мимо себя бойцов, пустые телеги и хмурился: с таким обозом намучаешься. Крестьяне и так-то насторожены, бедноту кулачье запугало, про художества мироедов узнаешь разве что только исподтишка, да и то случайно. «Понятна задача?» — мысленно передразнивал Чугунов своего начальника Громова. А чего понимать-то? Не только отобрать излишки, но и вырвать бедняка из-под кулацкого влияния. А как его вырвешь, если бедняк с кулаком изба в избу живет, а ты приедешь и уедешь...

По разбитым, заросшим густой травой дорогам с полуразвалившимися мостиками и настилами, по хворостинным гатям отряд шел три дня, а прошли всего ничего.

Но в лесу, на лесных дорогах всё-таки дышалось хорошо, а главное, было время подумать обо всём... и Яшка вспомнил, что забыл составить график занятий по политграмоте, что не предупредил Кията, чтобы тот обязательно отослал протоколы последних собраний в губкомол, что на заводе двое пареньков-комсомольцев подрались, пустили в ход ножи; их надо обсудить, а вот ведь наверняка без него и не обсудят...

Чугунов заметил, что Яшка нервничает, спросил:

— Ты чего? Седло неудобное?

Курбатов рассказал ему всё, что его волновало, и Чугунов вдруг разозлился:

— Всё сам хочешь делать? Ты один в комсомоле, думаешь, такой умный? И без тебя обойдутся, не бойся. Ты, брат, чего-то на Чухалина стал смахивать, тот тоже всё сам да сам. Пуп земли!

Яшка промолчал. Чугунов ехал с ним рядом и тоже молчал, покачиваясь на лошади. Потом сказал:

— Как думаешь, если б партией или страной один человек управлял, что бы было?

Не дождавшись Яшиного ответа, он хлестнул коня и вырвался вперед, крикнув через плечо:

— Хреново было бы!..

Курбатов хмуро посмотрел на его широкую спину: «Опять учат...»

Но тут же злость прошла; расступились деревья, и все увидели серые бока изб, крытые соломой крыши: это была третья деревенька на трехдневном пути отряда. Уже смеркалось, и Чугунов, сверившись по карте, чертыхался: то весь день едешь — ни одной живой души нет, а тут пять деревень подряд одна на другую налезает. Он кивнул Рыбину:

— Поезжай с Курбатовым в соседнюю деревню, пошуйте, что там делается. Если поздно задержитесь — ночуйте, мы утром подойдем.

Рыбин попросил еще одного бойца, и Чугунов усмехнулся:

— Вдвоем страшновато? Ничего, места здесь тихие, до Сухого Дола еще портки протрешь.

Но бойца всё-таки дал.

Карта у Чугунова была составлена неправильно, и к соседней деревне Рыбин, Курбатов и боец-чоновец добрались только за полночь. Где-то на болотах, охватывавших полукольцом хутор, пронзительно и дико вскрикнула ночная птица, и Яшка почувствовал, как вниз по хребту побежали мурашки.

— Выпь орет, — спокойно заметил Рыбин. — Цапля такая...

Идти по деревне сейчас было бессмысленно: люди спали. Рыбин, спешившись, постучал хлыстом в первую же избу, и продотрядники долго ждали, пока там, за стеной, не зашаркали стариковские шаги.

Коней поставили в хлев. Курбатов, еле державшийся на ногах от усталости, не стал дожидаться, пока дед — хозяин избы — задует самовар, и, раздевшись, полез на русскую печь, занимавшую половину избы. Весенние ночи в этих местах прохладны, и Яшка изрядно продрог в одной гимнастерке.

Сквозь сон он слышал неясные голоса и крики, по-

том вдруг увидел рожу, заглянувшую на печь и сказавшую: «Хозяйский мальчишка». Он долго не мог поднять тяжелые, словно набухшие, веки. Однако глухой удар об пол заставил его насторожиться. Яшка повернулся, подполз к печной трубе и заглянул из-за нее в комнату. Сердце бешено заколотилось в груди, и он перестал дышать, боясь выдать свое присутствие.

В тускло горящем свете керосиновой лампы Курбатов увидел бойца отряда: он лежал на полу связанный, с тряпкой во рту. Комиссар стоял неподалеку, тоже связанный и голый до пояса. Всё лицо его было в крови. Какие-то люди сидели на лавке, у стола, и о чем-то оживленно говорили. Одного из них он как будто знал... Да, это был тот «полковник», который тогда, два года назад, приходил к управляющему заводом.

Оцепенение прошло сразу: «Молодец старикан, — не выдал!..» Он не взял с собой оружия, когда ложился спать, и сейчас лихорадочно соображал, что же делать.

Лаз на русскую печь был рядом с дверьми, выходящими в сени. Яшка тихо вылез из-под горячего тулупа, в одной рубашке и трусиках сполз вниз, под полати, в густую и мрачную темень.

Потом он попробовал бесшумно открыть дверь, но она не поддавалась. Пришлось налечь на нее плечом, — дверь, скрипнув, распахнулась. Выбежав в сени, Яшка нырнул в узкий проход, ведущий в хлев. В темноте он провалился в остро пахнущую навозную жижу и, хлюпая по ней, побежал туда, где стояли кони.

Рыжий встретил его тихим ржанием. Яшка быстро нащупал и отвязал поводок уздечки, отталкивая морду коня, который норовил ткнуть его в лицо своими бархатными губами.

Двери хлева были открыты. Яшка вскочил на теплую спину Рыжего и вылетел во двор.

— Рыжий, грабят, — шепнул он. Приученный старым хозяином, конь вздрогнул, прижал уши, и Яшка едва успел вцепиться ему в холку.

Сзади что-то заорали, потом один за другим раздалось несколько выстрелов, но пули прошли стороной. «Скорей... скорей... ско-рей...» — торопил Рыжего Яшка. А тот и так уже громко храпел, пена летела у него с губ клочьями. Но Яшка не замечал этого. Не чувст-

вовал он и холодного ветра, который пузырем надул на его спине рубашку.

Подлетев к избе, где остановился командир отряда, Курбатов на скаку спрыгнул с коня, больно стукнувшись о землю босыми пятками, и рывком отворил двери:

— Скорей... Комиссар погибает... бандиты!

Он выкрикнул это каким-то чужим, осипшим от ветра голосом. Чугунов первым пришел в себя, схватил карабин и выскочил во двор; за ним выбежали другие.

Кони стояли оседланные. Чугунов крикнул ординарцу:

— Оставайся здесь!

Но Яков, скользя голой ногой по мокрому, остро пахнущему потом крупу Рыжего, тяжело залез на лошадь и тронул уздечку. Рыжий, раздувая бока, нехотя затрусил по дороге; в галоп его уже нельзя было поднять.

Когда Курбатов добрался до деревни, стрельба уже стихла. Как потом рассказали Яшке, бандиты бросились бежать не по дороге, а скрылись за овином и ушли по тропке к лесу. Но в этом месте Чугунов не поставил отрядников: никто не знал, что там есть тропа, а по болоту, рассчитывал Чугунов, далеко не убежишь.

Комиссар Рыбин лежал на полу без сознания. Лицо стало неузнаваемым: вместо него была сплошная рана. На голой белой груди кровоточила вырезанная ножом пятиконечная звезда.

Однако комиссар жил. Сердце его, хотя и слабо, но билось.

Боец, тоже лежавший на полу, был уже мертв. Ему распороли живот и в него насыпали ржи. Сверху положили записку: «Он выполнил подрастерку».

* * *

В Печаткино отряд вернулся с хлебом, и в тот же день Чугунов отчитывался на бюро партячейки; почему-то на бюро пригласили и Курбатова, он не успел даже вымыться и сходить к Клаве. Алешин, сидевший рядом с ним, только хитровато подмигивал ему и посмеивался про себя.

Когда Чугунов коротко рассказал о стычке с бандитами, Яшка попросил слова:

— Одного из этих бандитов я знаю. Это «полковник»... Ну, тот, что с Ермашевым встретился.

Громов, что-то черкнув карандашом на листке бумаги, кивнул:

— Да, полковник Базылев. Эту птицу мы с восемнадцатого года ищем. Ловкий, подлец. Ничего, от нас не уйдет.

Бюро постановило: деятельность отряда одобрить, всем бойцам вынести благодарность. Алешин, встав, хлопнул Яшку по спине:

— Ну, теперь, небось, к ребятам побежишь, секретарь? А тебя тут уже переизбрали.

— Как переизбрали? — не понял Яшка.

— Долго отсутствовал. Надо ж кому-то работать. Выходит, не секретарь ты уже. Да не расстраивайся, Курбатов, мы тут... Словом, Булгаков, растолкуй ему.

— Пусть станцует сперва, — потребовал Булгаков.

Яшка слушал и не верил. По рекомендации бюро партячейки Курбатова заочно выбрали делегатом на губернский съезд комсомола; Данилов говорил, что будет рекомендовать его делегатом на Всероссийский съезд. По предложению Булгакова Яшу направляют в Архангельск, на курсы политруков. Значит, сначала на съезд, потом в Архангельск, не заезжая домой... Булгаков хлопнул его по спине и, рассмеявшись, пошутил:

— Дай-то бог, чтоб и меня с секретарей так же сняли.

Яшка вышел на улицу, еще ничего не соображая. Всё полетело кувырком; масса дел, которые были намечены, — всё это уже будут делать другие, хотя до отъезда еще несколько недель. «А кто же теперь вместо него? Ну и дурак же, — так растерялся, что и не спросил...» Он хмуро поглядел вслед уходившему в сторону завода Булгакову.

— Кому дела сдавать? — крикнул секретарю Яшка.

Тот обернулся, и Курбатов увидел его смеющиеся глаза.

— Да ты никак недоволен, парень? Сдавай Княту, дружку своему. И голову не вешай.

Яшка покраснел и отвернулся. Где-то в глубине души шевельнулась тревожная мысль: «Уеду... А Клава?»

Уже третий вечер они прощались и никак не могли проститься. Крепко прижавшись друг к другу, они бродили по тихим, темным улицам рабочего поселка, оставливались, целовались и снова шли.

Клава старалась его успокоить, ласково убеждала:

— Глупый ты мой! Подумаешь, полгода... Время пролетит — не заметишь.

Он несколько раз порывался сказать Клавке, чтобы она не встречалась с Троховым, но молчал: глупая ревность, зачем омрачать последние часы. В день отъезда, после гулянья Клава пригласила его зайти в дом.

— Зайдем к нам. С папой и с дедушкой простишься. Они тебя очень любят.

Они вошли. Раздевшись, Яшка прошел в комнату, а Клава осталась на кухне ставить самовар.

Дядя Павел сидел за столом и что-то писал. Дедушка читал газету и, когда Яшка вошел, сдвинул к кончику носа очки:

— Проститься зашел, адвокат? Это хорошо, что не забыл. Многие теперь старших ни в грош не ценят. Садись вот сюда да рассказывай!

— Да чего рассказывать? Вот — еду...

— Съезди, съезди. Срок невелик, а свет и людей посмотришь.

Яшка что-то пробормотал, и старик переспросил: «Что, что?»

— Не знаю, говорю, как... — повторил Яшка. — Что выйдет — не знаю. Уезжать как-то неохота...

Он посмотрел на вошедшую Клавку.

— Не дури! — сердито пробурчал Алешин, передразнивая его: — «Неохота...» Поди с Клавкой расставаться неохота, насквозь я вас вижу. Думаешь, ей охота, чтобы ты уезжал? Что, отговаривала она, небось, тебя?

— Что вы, дедушка! — Клава вспыхнула.

Она села за стол рядом с Яшей, и старик смотрел на них исподлобья. Очки у него еще ниже спустились на нос, он снял их и улыбнулся хитроватой, доброй улыбкой. Впрочем, улыбка тут же пропала. Алешин нахмурился и прикрикнул на сына:

— Хватит писать-то, писатель! Видишь — гость у нас. В последний вечер пришел проститься!

Павел Титович послушно отодвинул от себя чер-

нильницу и бумагу. Старик подмигнул ему и, кивнув головой на гостя, спросил:

— А что, Павел, неплохая пара? Что, разве неверно говорю? Краснеть вам, ребята, нечего, я правду сказал. По уши вы друг в друга врезались. Давно уж это все знают, а вы-то знаете об этом еще больше.

— Перестаньте, дедушка!

— Не перестану. Давай сосватаем их, Павел? Сегодня вот вроде помолвки сделаем, а вернется он, тогда и в Совете запишутся...

Павел Титович, чтобы не смущать и так-то уж вконец смущенных ребят, пожал плечами, глядя не на «пару», а куда-то в сторону.

— Я не против. С двенадцати лет вместе. А что любят друг друга, так это сразу видно. — Павел Титович улыбнулся. — Давай, Клава, собери по этому случаю чаек. Я слышал, ты самоваром гремела.

— Раз такое дело, — засуетился старик Алешин, — что в печи — на стол мечи. Принеси-ка, внучка... там рябиновая и смородиновая есть. Еще покойная Марфа, царство ей небесное, готовила! Вот и выпьем по поводу!

Клава покосилась на замершего от неожиданности Яшу, хотела что-то сказать, но передумала, вскочила со стула и стала собирать на стол. Принесла настойку, закуску — соленых рыжиков, огурцов, свиного сала. Подала на стол лепешки. Дядя Павел на вытянутых руках притащил кипящий самовар. Алешин уже разливал настойку; все сели за стол. Поднимая стакан, старик таинственно сказал:

— Давайте выпьем по первой, а я потом скажу — за что.

— Нет, нет! — запротестовала Клава, чувствуя какой-то подвох. — Так не бывает. Сперва всегда говорят за что, а потом уже пьют!

— Ты сейчас помолчи, внучка. Я твой дед, а деду и вперед поверить можно, он за плохое пить не будет!

Пришлось выпить без всякого тоста. Старик вытер свои седые, пожелтевшие снизу от табака усы и прищурился:

— Знаете, за что мы выпили? А за правнуков моих. Правнуков я хочу иметь! Вот таких, — он показал рукой их рост от пола. — Слышишь, Клавка? Чтобы они вечером меня и за усы и за нос теребили.

Клава и Яша сидели, опустив глаза; казалось, девушка вот-вот заплачет.

— И смущаться тут нечего, — уже ласково, спокойно говорил старик. — Взрослые вы, сами всё знаете. Давайте по второй. Вот этой смородинной выпьем. Пейте, пейте, нечего скромничать!

Тит Титович залпом выпил еще полстакана, крикнул: «Ух и хороша!» — и сразу налил себе в третий раз. Любил Тит Титович под хмельком поговорить, особенно поучить молодежь житейской мудрости:

— Слава богу, сынами бог меня не обидел, целых трое было. Да вот двое неженатиками где-то бродят, только от Павла и есть внучка. Да опять же одна. Правнуков мне, стало быть, надо, хоть последние годы жизни порадуясь.

Он снова потянулся к бутылке и налил одному Яшке.

— Да что, разве мне одному нужны они? Вот опять же с государственной точки. Чтобы нарождалось больше, чем стариков мрет. России нашей особенно люди нужны, в этом ее и сила. Поняли? Давай еще по стопочке. Э, постой, постой, молодец, вперед старших нельзя! Ну-ка, валяйте, поцелуйтесь при нас, а потом хоть потоп...

— Да что вы, дедушка! — испуганно крикнула Клава.

— Что-что, — передразнил старик. — Да ничего! Что, впервой тебе с ним целоваться, что ли? А при нас стыдно?

Пришлось поцеловаться. Дядя Павел молчаливо слушал отца и смеялся: раз уж старик вошел в раж, его перебить было трудно.

— Ну, совет вам да любви! — не вполне твердым голосом сказал Тит Титович и выпил остатки наливки, не замечая, что у него дрожат от волнения руки и капли вина стекают по подбородку.

Первым из-за стола поднялся Павел Титович. Незаметно подмигнув отцу, он подошел к Яшке и обнял его.

— Ну, до свидания, сынок! Ничего я тебе не говорю, сам всё знаешь. Одно скажу — пускай всё хорошо у тебя будет, а ты всегда собой немножко да недоволен будь. Не зазнавайся, не хвастай успехами, пускай за

тебя ими другие похвастанут. Теперь ты мне родной вроде.

Он трижды поцеловал Яшку и вышел из комнаты; старик, пошатываясь, пошел за ним.

Скоро Клава проводила Яшу на крыльцо, и здесь они в последний раз обнялись.

21

Накрапывал дождь — мелкий, холодный осенний дождь, и делегаты жались к стенке вокзального здания. Их никто не встретил, и сейчас, стоя на улице, они гадали — куда ехать. Кто-то побежал к начальнику станции позвонить по телефону в ЦК комсомола. Начальник долго не разрешал, но когда делегат грохнул кулаком по столу, отступил, пробурчав:

— Не делегаты, а шпана какая-то.

В ЦК объяснили: ехать надо на Садово-Каретную. Но где эта Садово-Каретная, не знал никто: все были в Москве впервые. Курбатов кивнул на выстроившиеся возле вокзала пролетки:

— Довезут, наверно. Ну, заплатим лишних «лимонов».

— Правильно, — подтвердил кто-то. — Зачем знать географию, когда есть извозчики.

Но извозчик, сверху вниз поглядывая на ребят, спросил:

— У вас что — «лимоны»? Моя баба этими мильёнами комнату обклеивает вместо обоев. Дадите фунт соли — довезу.

Ребята наскребли соли.

Миновали Охотный ряд, стоявшие бок о бок лавки, пустые, плотно забитые досками. С облетающих деревьев срывались галки и кружили над кривыми, исхлестанными дождем улицами. Ребята набились в пролетку так, что смотреть по сторонам могли только крайние. Поминутно друг дружке кричали:

— Да не вертись! Рассыпемся...

В самом деле, пролетка, подпрыгивая на булыжной мостовой, стонала и скрипела, словно впрямь грозила развалиться на первом же повороте.

Делегаты приехали поздно: в коридорах и комнатах

третьего Дома Советов стоял уже несмолкаемый гомон, откуда-то сверху доносилась гармошка. Курбатов заглянул в одну из комнат: там, навалившись грудью на стол, какой-то парень печатал на разболтанном «ундервуде», тыча в клавиши одним пальцем.

— Регистрация здесь? — спросил Яшка.

— Здесь, здесь. Заходи, зарегистрируем...

Находящиеся в комнате втащили Курбатова к себе и, не спросив, кто он и откуда, сунули в руки большой лист с крупным заголовком «Подзатыльник».

— Читай! — приказал печатавший на машинке парень. — Это наша газета.

— Сашка! — кричали из коридора этому парню. — Куда ты пропал? Иди, получай шамовку.

Делегаты знакомились запросто.

Большинство было в военном. Но немало было и таких, как Яшка, и это успокаивало его.

Расположиться на ночлег удалось с трудом; чудом досталась ему койка в общежитии ярославской делегации, и он приходил сюда только переночевать, — всё остальное время гонялся с ребятами по Москве, попал в облаву на Сухаревке и долго объяснял в милиции, что он никакой не карманник и не фармазон. Его отпустили, предупредив, чтоб больше он на Сухаревке не появлялся: «Там у стоячего подметки оторвут — не услышишь».

Когда он после милиции вернулся в общежитие, там всё гудело; Курбатов не сразу понял, о чем спорят ребята. Здоровенный парень с перевязанной рукой басил:

— Да ясно, о чем он будет говорить.

— Он что, советовался с тобой? — ехидно спросил один из ярославцев; известно, что ярославцы — народ на язык бойкий.

Парень, не смущаясь хохотом товарищей, наизда-тельно выставил вперед палец здоровой руки.

— Неграмотный ты. Ну, подумай сам — о чем он может говорить? И вы еще тут ржете! Ясно же: Врангель не разбит — это раз. Мировая революция еще не состоялась — два. Чего еще-то?

— Это верно... И о дискуссии в комсомоле.

— Ну да, будет он еще этим делом заниматься.

— А что? Мы, брат, мировые проблемы сейчас решаем. Мы...

Курбатов осторожно подтолкнул своего соседа по койке:

— Чего распетушились-то?

Тот поглядел на Якова отсутствующим взглядом. Курбатову пришлось повторить: «Чего спорите?», и сосед, поняв, наконец, ответил, сразу же отворачиваясь к спорящим:

— Ленин будет у нас выступать.

У Курбатова сладко замерло сердце. Где-то в глубине души он и раньше надеялся на то, что увидит Ленина, но уверенности в этом не было. Сейчас, прислушиваясь к разговорам, он пытался представить себе, какой будет эта встреча; но думал об этом не он один, и Курбатов вздрогнул, когда сосед спросил, не обращаясь ни к кому:

— А какой он — Ленин?

Все сразу замолчали. Откуда им, ярославским паренькам, было знать Ленина? Поэтому кто-то неуверенно ответил:

— Большой, надо полагать. Здоровый, вроде Кваснухина...

Кваснухин, парень с рукой на перевязи, прогудел:

— И голос у него, наверно, такой... — он потряс перед собой крепкий, тяжелый кулак.

— Верно, — отозвались с дальних коек. — На то он и Ленин.

Час спустя, лежа на койке с открытыми глазами, Курбатов не мог заснуть. То, что он, семнадцатилетний слесарь, послан в Москву и через несколько часов — если верить ребятам — увидит Ленина, наполнило его чувством гордости. Ребята уже спали. Навалившись на раненую руку, вскрикнул во сне Кваснухин, и долго еще он стонал, заставляя Курбатова тревожно подниматься на своей скрипучей, расшатанной койке. «Слева заходите... Слева... Пулемет...» — парень воевал и во сне.

Курбатов, осторожно пробираясь между кроватями, принес ему воды, и Кваснухин, проснувшись, долго не мог понять, почему его разбудили:

— Что? Опаздываем?

Пришлось шепотом успокоить его:

— Попей и спи. Никуда не опаздываем. Вон какая темень за окнами.

Что творилось в этом зале на Малой Дмитровке! Мест уже не было, а люди всё шли и шли, зал гудел, и с трудом можно было услышать в этом нестройном гуле голосов отдельные слова.

Курбатов едва пробился к сцене и сел на нее, касаясь головой рояля, свесив ноги. «Считай, мы с тобой почти в президиуме», — пошутил его сосед, парень в гимнастерке и густо-малиновых галифе.

Он оглядел зал. Сырые стены, окна в потоках дождя и поэтому мутные, непрозрачные; плакат, с которого сердитый рабочий показывал на него: «Что ты сделал для фронта?»; Курбатову почему-то стало неловко, будто он ничего не сделал, и он отвернулся.

Действительно, много ли сделано? Вон сколько ребят — в шинелях, кожанках, мятых солдатских папахах, ободранные, с забинтованными руками и головами. Курбатову снова стало неловко своей новенькой гимнастерки из «чертовой кожи»: прямо перед ним, разложив на коленях листки жесткой, как фанера, оберточной бумаги, сидел парень в перешитой бабьей кофте и в сапогах, перехваченных кусками проволоки, чтоб не отвалились подметки. Зато в первых рядах справа — красавцы матросы в лихо заломленных бескозырках и с маузерами в деревянных кобурах. Один из них, рассказывали, недавно был у Ленина, приехал делегатом от балтийской братвы — просить прибавить морякам хлеба. Ленин его выслушал и сказал: «Знаете, в Питере несколько тысяч детей на голодном пайке. Что, если бы моряки помогли им?» Балтийцы отдали детям четверть своих пайков.

За эти дни он наслушался всякого и знал одно: обладатели всех этих шинелей, курток, малиновых галифе, выкроенных из обивки господских диванов, этих подвязанных проволокой рыжих сапог, этих разломанных картузов и смятых блином бескозырок — люди, которые сделали в тысячу раз больше его. Тот же парень в бабьей кофте: давно ли его вызволили с Мудьюга?¹ И вовремя вызволили — иначе бы не быть ему здесь. Или разговор, случайно подслушанный в фойе о шест-

¹ Остров в Белом море близ Архангельска, где англо-американские оккупанты организовали концлагерь.

надцатилетнем командире полка, которого именовали Аркашкой...¹

Нет, мало было сделано Курбатовым; он чувствовал, как в нем зашевелилась обыкновенная зависть, и не сдерживал ее. Он даже усмехнулся, представив себе, что ответил бы ему вечно спокойный Кият, если бы он поделился с ним своими мыслями: «Не плачь. У нас еще впереди мировая революция». Да, этим только и остается утешаться.

Кругом него все доставали листки бумаги, карандаши, готовились записывать. Курбатов досадливо поморщился: ведь всё-таки забыл взять шитую еще в Печаткине тетрадку.

Секретарь Цекамола, — его показали Курбатову еще вчера, невысокий, широкоплечий, в поношенной синей сатиновой рубашке с расстегнутым воротом, — нервничал, то и дело посылал ребят в комнату, соседнюю с залом.

Курбатов заметил легкое движение в первых рядах, к которым он сидел лицом. Затем люди начали вставать, и словно какая-то невидимая волна прокатилась от первых рядов до последних. Курбатов только услышал короткое, как бросок, слово: «Он!» — и, обернувшись, замер.

Возле дверей, ведущих на сцену, стоял невысокого роста человек в черном пальто. Кепку он снял, и Курбатов прежде всего увидел огромный, светлый, крутой лоб. Уже потом он разглядел золотистые, лукаво улыбающиеся глаза, прикрытые тяжелыми веками, знакомый по портретам овал лица, и эти усы, и короткую бородку. Он был не таким, каким Яшка представлял его себе, и вместе с тем Курбатов почувствовал, что будто давным-давно где-то видел Ленина именно таким, каким увидел сейчас.

Потом Яшка вспоминал, что вместе со всеми до боли в ладонях хлопал, что-то кричал, кажется, одно только слово — «Ленин!» — и что Ленин, на ходу снимая пальто, как-то укоризненно и беспомощно поглядел на президиум.

Ленин положил пальто на спинку стула. Несколько

¹ Речь шла об А. П. Голикове (Аркадии Гайдаре). — *Прим. автора.*

раз он поднимал руку, а овация всё росла, ширилась; и если б Курбатов сейчас оглянулся на зал, он бы поразился тому выражению счастья, которое было на лицах делегатов. Да и сам он был счастлив, очень счастлив сейчас.

Владимир Ильич нетерпеливо ждал, всё чаще и чаще оборачиваясь к президиуму и что-то говоря: его слов не было слышно. Секретарь Цекамола, подняв над головой колокольчик, яростно потряс им, но почти не было слышно и колокольчика. Ленин наклонился к залу, вынул часы и показал их: время дорого. Какое там! Аплодисменты не утихали. Это была лавина, неудержимый поток, и Ленин понял: надо переждать.

Яшка слышал, как председательствующий, перегнувшись через стол, старался перекрыть зал:

— Владимир Ильич! Как объявить ваше выступление? Выступление, говорю, как объявить?.. Доклад о текущем моменте?

Ленин отрицательно качнул головой. Его ответа не было слышно.

Наконец, зал затих. Наступила такая тишина, что стало слышно, как хлещет по стеклам косой дождь. Ленин подошел к краю стены и как-то буднично, по-деловому сказал, оглядывая ряды:

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим — каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще.¹

Курбатов видел, как после этих слов питерские делегаты задвигались, оживленно переглянулись. Он подумал, что кому-кому, а этим боевым ребятам задачи комсомола дай бог как известны: где им только не приходилось воевать и сколько еще придется. «Очевидно, Ленин о Врангеле будет говорить», — мелькнула мысль.

А Владимир Ильич уже освоился на этой узкой сцене, заставленной стульями. Он даже прошелся по ней, откинув назад полу пиджака и засунув большой палец правой руки в вырез жилета. Курбатов, повернулся и почти навалился на соседа. Ильич подошел со-

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 31, стр. 258.

всем близко, быстро взглянул на него и на его соседей чуть задумчивыми глазами. И тут же перевел взгляд в зал, выбросил вперед правую руку:

— И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.¹

Он особенно подчеркнул это последнее слово: «учиться», и тут же сосед Курбатова толкнул Яшку в бок.

Ленин не мог не заметить, как по залу прошел легкий шум. Делегаты переглядывались; кто-то со скрипом двинул стулом... Владимир Ильич, стоя лицом в зал, чуть заметно улыбнулся и продолжал говорить, подавшись вперед:

— Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.²

Курбатов ничего не понимал еще. Учиться коммунизму — чему именно и как? Очевидно, не понимал не он один. Ленин, на секунду задумавшись, пояснил свою мысль:

— Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма?³

Опять зал замер. Делегаты, словно ухватившись за невидимую ниточку, начинали разматывать клубок мыслей, а Ленин как бы помогал им в этом, подробно объясняя каждое положение:

— Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно... Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и про-

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 31, стр. 258.

² Там же, стр. 259.

³ Там же.

изведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой...¹

При словах «без работы, без борьбы» Яшка сочувственно вздохнул. Это-то ему было понятно. А Владимир Ильич уже говорил о старой школе с какой-то резкой, непримиримой интонацией в голосе, — о том, что было в ней чуждого, почему она была лживой. Но тут же он, предостерегающе подняв руку, сказал:

— Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием.²

Курбатов старался запомнить всё. И то, почему стало всемирным учение Маркса, и что такое пролетарская культура, и что надо взять из старой школы. Когда же Владимир Ильич как-то по-особому внятно и четко произнес: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — Курбатов быстро извлек из кармана клочок бумаги и записал эту фразу.

А из зала уже шли записки с вопросами. Владимир Ильич брал их и, не разворачивая, клал в карман. Сейчас он переходил к главному в своей речи — к обобщению того, что уже было сказано и стало ясно всем:

— У предыдущего поколения задача сводилась к свержению буржуазии... Перед новым поколением стоит задача более сложная... Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы.³

Всё глубже и глубже заглядывал Курбатов в далекие грядущие времена, которые словно бы приблизились, открылись ему сейчас, и стало видно кругом то, что еще совсем недавно только смутно угадывалось.

Ленин улыбался навстречу сотням ясных, радостных лиц. Он держал в руке какую-то бумажку, очевидно,

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 31, стр. 259—260.

² Там же, стр. 261.

³ Там же, стр. 265.

конспект речи. Но, видимо, живая речь не укладывалась в рамки конспекта, — он не заглядывал в него.

Но вот сказаны последние слова о том, что поколение, которому сейчас пятнадцать лет, увидит коммунизм. О том, что мы победим и что победа в строительстве нового мира будет еще более прочной, чем во всех прежних битвах. И никто поначалу не понял, что Ленин кончил свою речь. Все молчали, словно дослушивая уже свой, внутренний голос. Владимир Ильич, подняв руку, устало провел рукой по лбу и, повернувшись к столу президиума, начал выкладывать на него записки.

Кто-то, вскочив, придвинул ему стул. И только тут снова грохнула лавина — казалось, ее не выдержат стены...

* * *

Волна отнесла Курбатова к столу. Ленин сидел, быстро прочитывая записки, раскладывая их, и вдруг то начинал смеяться, то хмурил брови, очевидно, с трудом разбирая написанное. Наконец, все записки разложены... В это время Курбатова кто-то больно прижал к краю стола. Оглянувшись, он увидел, что парень в бабьей кофте, сидевший в первом ряду, протискивается вперед, к Ленину:

— Куда ты?

Парень не ответил, скользнув по Курбатову невидящими глазами.

Он уже стоял перед Лениным и молча глядел на него.

Ильич поднял глаза. Какую-то долю секунды он рассматривал эту нескладную, нелепую фигуру, и Яшка заметил на лице Ленина что-то похожее на боль, на участие:

— У вас тоже вопрос?

— Да... Вот вы скажите... — голос у парня срывался. — Значит, и я... коммунизм увижу?

Ленин, тоже взволновавшись, встал:

— Да, да. Вы! Именно вы, дорогой товарищ!

— Спасибо, товарищ Ленин.

И парень, шаркая в тишине подвязанной проволокой подошвой, стал проталкиваться назад, держа руки у груди, будто неся врученную ему драгоценность.

Ленин опять взялся за записки и вдруг забеспокоился, сунул руку в один карман, потом в другой... Затем, нагнувшись, он встал на колено, отодвинул стул...

— Что вы потеряли, Владимир Ильич? — обеспокоенно спросил председатель.

— Да записку потерял. Хорошая была записка...

— Вы на эти ответьте, не ищите ее.

— Как не искать? Надо найти. Товарищ, может быть, волнуется, ждет, а я не отвечаю. Надо ответить.

Наконец, общими усилиями записку нашли.

Владимир Ильич обратился к залу:

— Записок, товарищи, очень много, но я постараюсь ответить на них. Меня спрашивают о военном и хозяйственном положении. К сожалению, второго доклада я вам сегодня сделать не смогу, — он лукаво улыбнулся.

Нет, это не были «вопросы и ответы». Это опять была беседа о том, что волновало людей, о чем они думали, что их радовало и печалило.

И когда час спустя от подъезда дома на Малой Дмитровке отошла, пофыркивая, крытая брезентом машина, здесь остались люди, для которых жизнь началась словно бы сызнова, — да, впрочем, оно так и было. Все они, сколько их ни собралось в этом зале — от неопытного семнадцатилетнего паренька и до бойцов, прошедших сквозь огонь и воду, — были только в самом начале жизни, той, которую они хотели построить своими руками.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Пожалуй, ничем не была примечательна эта дорога. Вагон, битком набитый людьми, едкий, ставший привычным запах жженого угля, карболовки и пота, духотища и нескончаемые разговоры каких-то буржуйского вида дам о том, что «революцию сделали, а хлебушка не дали». Однажды Яшка не выдержал и, свесившись со своей третьей полки, крикнул:

— Да чего вы языками-то треплете: не дали, не дали. Может, советская власть подрядилась бесплатно вас хлебом кормить?

— Ишь, какой идейный, — дернув плечиком, заметила одна из женщин. — А что ж ты прикажешь делать?

— Работать, вот что.. Ездите с места на место — всюду плохо... Потому и плохо, что ездят... такие.

— Верно, корешок!

Из соседнего купе высунулась взлохмаченная светловолосая голова. На Яшку смотрели лукавые, с искоркой глаза:

— Верно агитируешь. Нынешним дамочкам хлеб на блюдец с каемочкой подавай. А вот — не видали?

Он вытянул вниз руку, и женщины лениво отмахнулись от кукиша. Они и в самом деле устали, ругаться им, видимо, не хотелось.

Яшка познакомился с соседом.

Матрос, Яшкин попутчик, оказался человеком веселым. В купе не смолкал смех, когда он без остановки «травил» самые дикие морские истории. Но Яшку эта «трепотня» начинала утомлять, он охотно выходил на остановках из вагона, благо поезд стоял подолгу.

На станции Няндомы, куда поезд прибыл в полночь, Яшка пошел за кипятком. В одной гимнастерке и в шлеме, с жестяным чайником в руке, он пробирался к выходу из вагона, как вдруг расположившаяся в проходе баба дико закричала: оказалось, он наступил ей на руку. Потеряв равновесие, Яша грохнулся на бабу всем телом, и та еще сильнее завопила: «Ратуйте, православные! Где мой мешок? Грабят!»

Яшка не успел опомниться, как чья-то сильная рука схватила его за шиворот и выволокла из вагона. Только на улице он рассмотрел того, кто наводил порядок: это был его новый приятель, матрос.

— Ты что, сдурел?

— Прости, братишка, впотьмах не разобрал, — смущенный матрос отпустил его. — Это та спекулянтка меня с панталыку сбила, а я смерть воров не люблю. Каюсь, грешен, подумал — вор... Вот продова баба, каким она благим матом заорала. Ладно, я ей, стерве, штуку сотворю. Давай, будем всё же знакомы — Иван Рябов со старой галоши «Чесма».

Курбатов, улыбнувшись ему, ответил на рукопожатие, и Рябов заспешил:

— Подожди тут, а я сейчас комедию разыграю.

Он пробрался в вагон, и в открытые двери Яша слышал, как матрос крикнул:

— Приготовьте документы! Проверка!

Через некоторое время до Курбатова донесся его хрипловатый голос:

— Вас-то мне, мамаша, и надо. Ну, вставайте, со-

бирайтесь, мамаша, да пойдёмте скорей: я вас к месту назначения представлю.

— Да чего тебе надо от меня?— вздыбилась баба. — Документ мой в порядке, никуда я не пойду.

— Не в документе дело, а в том, мамаша, что вы по всем статьям подходите, — гремел матрос.

— Да куда я подхожу-то? Чего пристал ко мне? Давай мою бумажку... не пойду я, — уже испуганно запричитала баба.

— А подходите вы, мамаша, под приказ вашего святого Ивана Кронштадтского... Слышали такого? Иван Кронштадтский приказал, чтобы цыплят теперь бабы высиживали. Кур-то, считай, всех поели. Ну, собирайтесь, мамаша!

— Да врешь ты всё, дьявол! — плакала баба. — Никакого такого приказа нет. Да я их все передавлю!

Рябов объяснил ей с достоинством:

— Мамаша, я при исполнении служебных обязанностей. Прошу меня не оскорблять. Собирайтесь, мамаша! Я шутить с вами больше не могу.

Баба плакала навзрыд:

— В Тамбовскую ездила... Да пусти ты меня, красивый. Мне уже и ехать всего сто верст.

— Что это? — загремел вдруг матрос. — Вы мне, мамаша, взятку даете при исполнении моих служебных обязанностей? Граждане, всех прошу в свидетели. Вот эта гражданка мне пачку «лимонов» хотела сунуть.

Скоро Рябов, держа на плече большущий мешок, появился на площадке вагона. За ним, всхлипывая, шла мешочница.

Только они выгрузились на платформу, как третий раз грохнул гулкий вокзальный колокол. Яшка и матрос быстро вспрыгнули на ступеньки вагона:

— Мерси бонжур, как говорят, мамаша. Пишите, через сколько дней цыплята будут... Привет вашим, когда увидите наших, — помахал бабе рукой Рябов.

* * *

В Архангельске Курбатова ждал сюрприз. Подъезжая к вокзалу, он еще издали увидел одиноко стоявшую знакомую фигуру и заорал, сорвав с головы шлем:

— Лобзик! Эй, я здесь...

Минуту спустя они стояли друг против друга, и Лобзик, счастливо улыбаясь, щурясь от удовольствия, торопливо говорил:

— А я тебя, брат, уже отчаялся встретить. Понимаешь, как получилось. Только ты уехал — бац, из губкома еще разверстка на пять человек. Ну, я и напросился сюда.

Яшка сам был счастлив. Всё-таки не один, всё-таки рядом почти родная душа. Станный он человек, Лобзик, но будто огонек горит в щуплом этом человеке.

Они перебрались на пароходе через Двину, осень в этих краях уже совсем кончилась, на улице стояла странная, бесснежная пока, но морозная погода, и пароходик шел, раздвигая бортами ледышки. Яшка слушал торопливый рассказ Лобзика — о курсах, о ребятах, о начальнике, о шамовке, смотрел, не отрываясь, на берег, на низенькие дома, маковки церквей, длинные штабеля досок — лесные биржи — и чувствовал, как тоска, которая отпустила его в Москве, снова начинает сосать сейчас. Ему неудобно было расспрашивать Лобзика о Клаве, да и что мог он рассказать: последнее письмо от нее было всего недельной давности.

Курсы политруков размещались в помещении бывшего губернского архива — в длинном белом одноэтажном здании с низенькими окнами и сводчатыми потолками. Здание было старинное, выстроенное еще при Аракчееве. Ребята говорили, что прежде здесь была тюрьма. Неподалеку находился кинотеатр «Мулен Руж», и это тоже понравилось Яшке. За кинотеатром была барахолка; там торговали английским табаком и тупорылыми трофейными лыжными ботинками — шельтонами.

Собственно говоря, Курбатов почти не заметил той перемены, которая произошла в его жизни. Быть может, потому, что за годы, проведенные среди множества самых различных людей, он привык быстро сходитьсь с новыми товарищами. Сейчас он, едва устроившись на новом месте, знал уже добрый десяток курсантов, кто они и откуда, и был польщен тем, что его наперебой расспрашивали о съезде, о Ленине, о ленинской речи, которую здесь еще не читали.

Лобзик — тот слушал его с горящими глазами, всё поторапливал: «Ну, ну...»; ему казалось, что его друг

слишком долго добирается до главного — до встречи съезда с Ильичем. А Курбатов не мог рассказывать иначе; вот и сейчас, сидя на койке в полутемной комнате, где остро пахло карболовкой, он словно бы заново переживал те минуты.

Он не заметил, как во время его рассказа в дверях появился незнакомый мужчина, уже пожилой, в военной гимнастерке и высоких, закрывающих колени, сапогах. Все вскочили. Тот, кивнув — продолжайте, — подошел и сел на чью-то кровать, доставая из кармана кисет. Но Яшка почему-то смутился и замолчал.

— Что ж вы, товарищ Курбатов? Так интересно говорили и вдруг...

— Я уже всё рассказал, — ответил Яшка.

Все молчали. Наконец военный, свернув папироску и несколько раз облизав ее для прочности, усмехнулся:

— А у нас вот не все еще понимают, как учеба нужна... Мы, говорят, революцию делаем, можем и без политэкономии обойтись. Знай бей буржуев — и всё тут.

Ребята вежливо улынулись; улыбнулся и Яшка, еще не вполне понимая, какая может быть связь между битьем буржуев и политэкономией. Надо думать, не понимал этого не он один. Кто-то из ребят спросил:

— А политэкономия — про что это, товарищ Ходотов?

Курбатов пытался вспомнить, где слышал эту фамилию: «Ходотов... Ходотов... А, Лобзик на пароходе говорил — комиссар курсов!» Тем временем Ходотов, неторопливо закулив и щуря от дыма один глаз, хитровато поглядел на спрашивающего:

— Политэкономия-то? Да так... про всякое. Про золотишко-серебришко.

Кто-то недоверчиво хмыкнул:

— Значит, денежки считать? Вроде бухгалтеров?

— Вот-вот, — обрадовался Ходотов. — А потом вас всех кассирами работать пошлем. Кого в булочную, кого еще куда...

Он всё еще лукаво шурился, пряча улыбку, и вдруг серьезно сказал:

— Нет, ребята, это наука такая... как бы вам сказать... ну, вроде живой воды. Знаете сказку: ослепнет человек — так стоит его только помазать живой водой, сразу прозреет. А без этой науки мы — как слепые

котят. Вот ты, товарищ Курбатов, например, знаешь, почему капиталисты богатели, а рабочие нищали?

Яшка удивленно повел плечами:

— Конечно, знаю. Эксплуатировали они нас, вот и всё тут.

— Ну, а как же они так эксплуатировали? — допытывался Ходотов.

— Как это «как?» — не понял Яшка. — Ну, работали мы на них...

— А ведь они-то платили вам за работу?

— Ну, платили.

— Значит, не на них вы работали, а на себя?

Яшка смутился, буркнул что-то насчет штрафов и смутился вконец. Ходотов, протянув руку, потрепал его по плечу:

— Ничего, узнаешь... Вот ведь как получается, ребята: простая вещь, а растолковать ее даже наш делегат не смог.

Он вынул из кармана зажигалку и, вертя ее в коротких, толстых пальцах, начал объяснять, что такое прибавочная стоимость. Яшка жадно, как губка воду, впитывал в себя каждое слово. Всё оказалось так ясно, что ребята как-то даже разочарованно переглянулись... А Яшка, раздумывая над услышанным, досадливо поморщился: «Дурак, значит, я, что ли? Просто ведь, как огурец...»

Но через несколько дней он уже не говорил и не думал — «просто, как огурец», к вечеру у него от занятий голова шла кругом, в ней мешались понятия, формулы, выводы, и напрасно старался он что-нибудь в это время усвоить.

Как-то Лобзик пожаловался ему:

— Убегу я отсюда, Яшка. Ну на кой мне бес эти капиталы?

Он кивнул на том Маркса, лежавший перед Яшкой. В это время Яшка — в который раз! — перечитывал строчки: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова, — и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров». ¹ Лобзик жалобно взмолился:

¹ К. Маркс. Капитал, т. I, 1949, стр. 53.

— Да оставь ты это. Я говорю — не могу больше.

Яшка, медленно подняв на него воспаленные, сразу ставшие злыми глаза, угрожающе поднял книгу:

— Убежишь — прибью. Понял? И дружба врозь.

На курсантов взвалили сразу массу занятий. Яшка не жаловался; ребята косились на него: «Смотри, какой камешек, а? Будто ему нипочем...» А он вспоминал тишину огромного зала, невысокого человека, разрубающего рукой воздух, и его ясные, отчетливые слова о том, что надо учиться коммунизму.

* * *

Первым серьезно нарушил дисциплину Лобзик. Вечером он стоял на посту на улице, у ворот. Через две трамвайные остановки была красноармейская чайная, где можно было достать чай с монпансье и маленький кусочек черного хлеба, чаще всего с повидлом; всё это выдавали бесплатно, по красноармейской книжке. Лобзик снял тяжелый и теплый тулуп, завернул в него свою винтовку и всё это поставил в сугроб. Потом он закрыл калитку с внутренней стороны, перемахнул через высокий забор, сел в трамвай и поехал в чайную.

Комиссар курсов Ходотов в этот вечер лично обходил посты. Он наткнулся на торчащий из сугроба тулуп, забрал винтовку и снес ее в караульное помещение. Возвратившийся Лобзик не нашел винтовки: тулуп валялся на снегу, а винтовки не было. Ему ничего не оставалось, как самому пойти в караульное помещение; там он был сразу же арестован.

У него отобрали поясной ремень. Утром, на общекурсовой поверке его вывели и поставили перед строем. Ходотов зачитал приказ начальника курсов: за проступок Лобзику дали пятнадцать суток гарнизонной гауптвахты.

Яшка стоял, глядя себе под ноги. Когда Лобзика проводили мимо, он взглянул на него и увидел, что тот лукаво ему подмигивает.

— Отдохнет парень, — шепнул кто-то сзади не то одобряюще, не то завистливо.

Лобзик вернулся с гауптвахты похудевший и припыхавший. Какой там отдых: с утра до вечера он работал с другими штрафниками на лесобирже!

— Вот как я исхудал, — грустно качал головой Лобзик, то и дело подтягивая галифе. — Штаны не держатся.

Но что-то изменилось в нем, словно сломалось; даже говорить он стал как-то меньше и суше и чаще молчал, глядя куда-то в сторону, будто обнаруживал там что-то видимое ему одному.

Эту перемену заметил в нем не один Курбатов, но то, что случилось, Лобзик рассказал только ему.

...В одну из суббот на лесобирже, где работали арестованные с гауптвахты, был субботник, пришло несколько десятков девушек-активисток, в основном работники комитетов комсомола, сведенные в одну бригаду.

Среди них он заметил одну, самую простенькую, но показавшуюся ему необыкновенной. Во время перерыва они оказались рядом.

Ее звали Нина Гаврилова. Лобзик, стыдясь своего «арестантского» вида, долго не решался заговорить с ней; она первая обратилась к нему, надо полагать, привлеченная огромными черными глазами молодого парня.

И Лобзик не сдержался. Он наврал ей о себе с три короба. Он ей наговорил о себе такого, что потом, вспоминая, только краснел, — и что он тоже комсомольский работник, и что на курсы приехал сразу со съезда, и что воевал против Колчака...

Они шли вдвоем мимо штабелей сложенных досок, когда до них донесся девичий смех, а затем звук поцелуя. Нина и Лобзик покраснели, хотя в иное время парень и глазом бы не моргнул, услышав такое.

Нина тихо проговорила:

— Видите, зачем некоторые сюда пришли? Пойдемте скорее. Противно.

Потом она рассказывала:

— Знаете, как мне тяжело на освобожденной комсомольской работе? С беспартийными и рядовыми комсомолками я всегда нахожу общий язык, все они... ну... такие все, какими и должны быть обычно. А вот с некоторыми активистками... не могу ужиться. Они меня интеллигентной птичкой зовут. Я хотя на них не обращаю внимания, но всё же тяжело. Они и других комсомолок хотят перекрестить в свою веру, я больше

из-за этого с ними и воюю. А парней, которые похулиганистее, они против меня подговаривают, чтобы приставляли с разными предложениями. Пока отбиваюсь от них... Вот одного не могу понять — откуда у нас такие девушки появились? Я читала речь Ильича. Мне кажется, девушка везде должна быть скромной. А какая она девушка, когда из нее, как из трубы, махорочный дым идет.

Лобзик в это время курил козью ножку; после этих слов он незаметно смял сигарку и выбросил ее.

Нина засмеялась:

— Ой, какой вы смешной! Да курите себе. Девушкой вы ведь не собираетесь быть?

Лобзик пробурчал в ответ что-то неопределенное.

Они сели на кучу досок, и Володя, мучительно краснея, попытался поддержать этот умный и такой для него непривычный разговор. Слов он не находил; те, которые приходили, были какими-то пустыми, незначащими.

Он не заметил, откуда появился и когда сел рядом с Ниной незнакомый парень. Лобзик раньше не видел его: очевидно, он работал до этого в другом месте, в бригаде лесокатов. У парня было наглое лицо, жидкие черные волосы вылезали из-под ободранного треуха.

— Ну-ка, Нинка, подвинься, — осклабясь, сказал он, толкая девушку локтем.

— Я вам не Нинка, товарищ Кандидов, не забывайте, — строго и серьезно ответила девушка. Кандидов коротко хмыкнул:

— Верно говорят, что ты недотрога. Что, товарища красного курсанта захороводила? Сидите тут, любовь крутите? Не помешаю?

Лобзик покраснел от злобы; у Нины задрожали губы:

— Что вам от меня нужно? Уходите!

— А, помешал, помешал... Извиняюсь... то есть, пардон, мамзель. Я думал, что вы с красным курсантом уже того... а теперь и на меня можете внимание переключить.

Володя вскочил, схватил парня за ворот пальто и рывком придвинул его лицо к себе. Задышавшись, он проговорил:

— Ну, ты, гнида человеческая. Кто ты такой? Подлец!

Он ударил парня в ухо и, пока тот, сразу сникший, растерявшийся, пытался что-то сказать, тронул Нину за руку:

— Пойдемте...

Сейчас, вспоминая всё это, Володя хмурился: его, вдобавок ко всему, на месяц оставили без увольнительной. Курбатов поначалу было удивился, что с Лобзиком могла приключиться такая история, потом он загрустил сам и даже не улыбнулся, когда его старый товарищ, подсев к нему на кровать, сказал:

— Выходит, мы вроде женихов с тобой теперь, а?

Но предаваться чувствам пришлось недолго: той же ночью курсы были подняты по боевой тревоге. Ребятам и прежде поднимали по ночам: они выбегали с оружием и строились во дворе, потом начинался марш — далеко за Мхи, где англо-американская разведка совсем недавно расстреливала архангельских коммунистов.

На этот раз тревога была не похожа на простое ночное ученье. Во двор выкатили санки; на них положили цинки с патронами, и озабоченный чем-то Ходотов вместе с начальником курсов пересчитал их. Высокий человек в наглухо застегнутой длинной кавалерийской шинели то и дело поглядывал на часы и торопил начальство. Наконец он повернулся к курсантам, и по тому, как он начал говорить — тихо и с тревогой, — Курбатов понял: да, это не ученье.

— Вот что, товарищи, — говорил человек в шинели. — Идем мы на боевое задание вместе с чекистами. Под городом сегодня действует банда. Мы должны взять всех живьем, ну, а если не удастся... то грош нам цена. Короче говоря, идем!

Шли молча.

Быстро кончились освещенные улицы, впереди теперь была темень, глухая, почти ослепляющая. Временами за спиной вдруг словно бы начинало светать; там в небе появлялись, росли, ширились голубовато-зеленые полосы, они перемещались, начинали гореть, мерцать тонкими игольчатыми стрелками и так же быстро, как возникали, гасли. Тогда еще гуще становилась темнота, чернее — небо.

Отряд остановился через час на большом поле. Здесь росли, прижавшись к земле, занесенные снегом можжевельниковые кусты, тянулись вверх из-под снежных шапок уродливые, скрюченные, как мертвые пальцы, ветви карликовых берез. Хорошо еще, что погода стояла теплая: там, в городе, термометр показывал три градуса ниже нуля.

И всё-таки, разгоряченные часовым маршем, ребята теперь дрогли. Курбатов почувствовал сначала легкий озноб и глубже зарылся в снег, под куст. Соседей он не видел, но знал: ребята где-то здесь, рядом, и так же мерзнут сейчас, как и он.

Еще через час он просто не знал, куда себя девать. Через два часа Курбатов, немного притерпевшись к холоду, поймал себя на том, что ему неудержимо хочется спать. С трудом взял он негнущимися пальцами пригоршню снега и приложил к глазам: снег прилип к лицу. А когда слева суматошно затрещали выстрелы, он даже не вздрогнул, не заволновался, а только подумал: «Ну, наконец-то...»

Какие-то тени мелькнули неподалеку. Сосед справа начал стрелять, и Курбатов, опомнившись, закричал: — Не стреляй... живьем... бежим...

Он не мог бежать. Вернее, он бежал, но ему казалось, что он только медленно, как это бывает во сне, переставляет ноги.

...Опять на горизонте начало тянуться вверх, раздвигая темноту своим неживым, голубоватым светом, северное сияние. «Тени» уходили; теперь Курбатов отчетливо видел три согнувшиеся фигуры. Курсант, бежавший рядом, припал на колено и всё-таки начал стрелять. Один из бандитов, словно споткнувшись о куст, повалился в снег, раскинув руки.

Курбатов не успел выстрелить: сияние, освещавшее пустую, белую равнину, начало гаснуть, как сгоревшая свеча. Выстрелы захлопали уже впереди, далеко и глухо. Он споткнулся о лежавшее на снегу тело и, задыхаясь, опустился рядом, всё еще негибающимися, распухшими пальцами стараясь вытереть сбегавший с висков пот.

Рядом стоял тот чекист в длинной шинели, который привел ребят сюда. Чиркая непослушные спички и закрывая огонек ладонью, он разжег, наконец, несколько

штук и нагнулся над убитым. Курбатов, мельком взглянув в лицо бандиту, отпрянул...

Прямо на него глядели теперь мертвые, остановившиеся, круглые глаза бывшего начальника милиции эсера Карякина.

* * *

Пожалуй, в иное время Курбатову и не показалось бы, что дни тянутся так мучительно долго. Четыре месяца — не ахти уж какой большой срок, а ему чудилось, что прошло уже столько, что даже не сосчитать — целая жизнь!

Писем от Клавы не было уже целый месяц. Лобзик не утешал Курбатова, но неизменно, на чем свет стоит, бранил почту («Зимой работать не умеет!») и переводил разговор на старые письма и незаметно для Курбатова заставлял его лезть в сундучок, доставать и перечитывать их. Действительно, становилось легче. Клава писала, что ей очень одиноко без Яшки, что она ждет его, любит...

— И чего она влюбилась-то в тебя? — тараща свои цыганские глазищи, деланно удивлялся Лобзик. — Нос загогулиной, бровей полное отсутствие. Зубы хорошие, что у лошади, а вот подбородочек подгулял малость. Перестарались, делая, тебе подбородок, Яшка, лишку налепили.

Курбатов поднимал вверх указательный палец:

— Тише!

— А что? — настораживался Лобзик.

— Слушаю, как у тебя, скелета ходячего, кости скрипят...

Взрыв произошел неожиданно. Сложенное треугольничком, какое-то измятое, будто переданное через сотню рук, наконец-то пришло письмо. Лобзик, влетев в казарму, заставил Яшку сплясать. Пришлось «сплясать», но, развернув долгожданный серый треугольничек, Яшка помрачнел:

— Это... не от нее.

Письмо было от Вали Кията. Строчки расплывались у Яшки в глазах, он не сразу мог понять, что ему рассказывал друг. Лобзик, почуяв недоброе, тревожно спросил:

— Что случилось?

— Читай, — едва двигая губами, пробормотал Курбатов. — Я не могу...

Княт писал:

«Здорово, дружище!

Твое письмо получил. Не сообщал я тебе ничего о Клаве потому, что не хотел расстраивать. Я знал, как ты в нее врезамши. А теперь думаю, что и зря тебе ничего не писал о ней. Буду писать кратко и только о том, что знаю. Разные сплетни писать не буду. Их в поселке ходит много.

После твоего отъезда Клава никуда не ходила. Бывала только в комсомольской ячейке. Девчата и ребята немного над ней подсмеивались. Началось, по-моему, это в марте. Клава пришла на танцы. К ней сразу подлетел этот трепач — Мишка Трохов и целый вечер танцевал с ней. Клава и Мишка всё время были вместе. Что там промежду их было, я не знаю. Только Клаву стали предупреждать некоторые девчата и ребята, и я с ней говорил. Она и от ячейки совсем отбилась. Клава только смеялась, а потом на нас стала сердиться и говорить: «Не ваше дело». Тогда мы взялись за Мишку, его предупредили, а ты знаешь его. В общем, ничего не помогло. Однажды, во время танцев, мы вызвали Мишку на крыльцо и стали угрожать ему, что намнем бока, если он не оставит Клаву в покое. Он засмеялся, вынул свой шпалер и показал его нам: «А ну, налетай, кому жить надоело. Сколько вас тут на фунт сушеных, подходи». Потом положил свой наган в карман, обозвал нас шкетами и снова ушел плясать.

Потом я узнал, что Мишка затащил Клаву к себе домой... Одним словом, на следующий день Мишка ходил с разбитой и исцарапанной физиономией. Клава как-то узнала о темных делах Мишки, она об этом заявила в милицию. Был обыск. Мишка арестован. Он был главой шайки спекулянтов, которая орудовала в поселке. Говорят, Мишку скоро будут судить в губернском городе. А что не пишет тебе Клава, так наверно ей некогда, она занята делами этого прохвоста Трохова, ее почти каждый день вызывает следователь. Она всё еще ходит сама не своя. Сейчас она стала чаще посещать ячейку, но чувствуется, что стыдится своего недавнего поведения. Она у меня и у Чугунова про-

сится, чтобы ее послали с отрядом на банду или разрешили ей поехать на Южный фронт. Я ей не разрешил, но вот Чугунов, кажется, пообещал. Я думаю, что тебе она еще не пишет потому, что стыдно ей своего поведения, она ведь знает, что мы о ней тебе писали.

Ты уж не очень-то из-за этого убивайся, а то Лобзик пишет, что ты сам не свой ходишь. Только я не знаю, что это за штука — любовь, так что, может, и неправильно пишу. Яша, приезжай, все тебя ждут. Других новостей пока нет. Привет тебе от девчат и ребят.

Остаюсь, твой Валентин».

* * *

— Встать, смирно!

Яшка нехотя поднялся, вытянул по швам руки. Ходотов, хмурясь, барабанил пальцами по столу:

— Опять не слушаете, курсант Курбатов? Не напрасно ли вы занимаетесь здесь? Учитесь хуже всех, разленились, наряды вне очереди вам, кажется, не надоедают. Вы сами-то чувствуете это?

Яшка стоял и молчал. Военком посмотрел на него внимательнее:

— Короче говоря, в шестнадцать ноль-ноль зайдете ко мне в кабинет. Понятно?

Яшка повторил: «Понятно», — и ему действительно было понятно, что он куда-то катится и ему не остановиться уже...

В назначенное время он явился к военкому. Доложив по уставу о своем прибытии, он остался стоять у дверей. Ходотов кивнул на старое, полуразвалившееся кресло:

— Подойдите сюда, товарищ Курбатов. Садитесь!

Яшка сел, стараясь не глядеть на военкома. А тот уже расспрашивал его, тихо, ласково, настойчиво, но Яшка подумал, что рассказать о Клавье он ему не сможет. Да и зачем?

— Что с вами, товарищ Курбатов, происходит? Вы чувствуете, как из передовых курсантов попадаете в отстающие? У вас, видимо, есть какие-то причины, а один справиться с ними не можете. Есть у вас здесь товари-

щи? Ну такие, с которыми вы могли бы поделиться своим... горем?

Яшка кинул на военкома быстрый взгляд. «Да он... Он же всё знает!» Какая-то судорога свела ему горло, он хотел ответить Ходотову и не смог.

— А что, Яша, я могу знать о твоём горе?

Курбатов молчал.

— Значит, не могу, — ответил как бы сам себе военком, откидываясь на спинку стула. — Выходит, не заслужил, отец-комиссар, не заслужил, старина, чтобы тебе ребята свою душу на ладошку выкладывали, чтобы несли свое горе и радости. Я думал, что гожусь... а на поверку выходит — плохой я комиссар. Вам что, восемнадцать лет?

Вопрос был задан уже другим, более сухим тоном. Так неожидан был этот переход в голосе Ходотова, что Курбатов растерялся.

— Да, девятнадцатый...

— А мне пятьдесят второй! В партии я двенадцатый год. В подполье пропагандистом был, в нелегальных рабочих кружках преподавал. Рабочие мне рассказывали о своих самых потаенных думах. В Красной Армии с начала революции. И всё комиссаром... У Щорса комиссаром батальона был... Да что там. В общем, плох оказался комиссар! Не пора ли на покой — с женой да со своими детишками воевать? Как ты, Курбатов, думаешь?

Но Курбатов не думал об этом. Две мысли сейчас боролись в нём: «Сказать... не говорить?.. Скажу... Нет, не надо». В это время военком спросил:

— Ответьте, по крайней мере, Курбатов, одно: горе у вас личное или общественное?

— Личное... — тихо ответил он.

— Как же так, Курбатов, вы свое личное горе путаете с общественным? Выходит, личное горе мешает общественному долгу? И это у вас, у комсомольца, который, наверное, думает в партию вступать. Ваша служба в Красной Армии, учеба — не личное, а глубоко общественное дело, дело партии, если хотите. Вам об этом, помните, кто говорил?

Голос Ходотова стал жестким:

— Так какое вы имеете право, товарищ красный курсант, манкировать службой, занятиями, напрасно

проедать народные деньги, когда каждая копейка у нас на счету?

Военком, не в силах справиться со своим волнением, встал, вышел из-за стола и остановился перед Курбатовым. Яшка продолжал сидеть, низко опустив голову. Вдруг военком крикнул:

— Встать! Как ведете себя, товарищ курсант, в присутствии старших!

Курбатов вскочил и вытянулся. Вид у него был подавленный, губы дрожали, пот выступил на лбу.

— Разговор окончен, можете идти, товарищ курсант! — глядя в сторону, сказал военком.

Яшка повернулся кругом и направился к двери. Его остановил новый окрик:

— Курбатов, подождите!

Яшка остановился. Военком подошел к нему, взял его за плечи и подтолкнул обратно к креслу. На Яшку снова ласково смотрели добрые глаза старого большевика:

— Что, напугал я тебя, сынок? — с легкой усмешкой спросил Ходотов. — Так и надо. Видишь, какой ты упорный да настойчивый!

Нервное напряжение, которое поддерживало силы Яшки, прошло. Он не удержался. Положив голову на стол, он рыдал без слез, спина так и ходила ходуном. Военком стоял, гладил его по волосам и тихо говорил:

— Поплачь, поплачь, сынок... Легче будет. Мужчины — тоже плачут. Трудные это слезы.

Курбатов рассказал ему всё. Протянув руку к карману гимнастерки, он отстегнул пуговицу, вытащил и подал военкому пачку писем; была здесь и карточка Клавы.

Военком посмотрел сначала на Курбатова, затем взял карточку, долго вглядывался в нее, перевернул и прочитал на обороте: «Моему дорогому, любимому, самому близкому Яшеньке! Всегда с тобой, на всю жизнь вместе. Клава».

Потом Ходотов начал перебирать письма. Яшка сидел и нервничал. Он скреб ногтем зеленую суконную скатерть стола, проскреб дыру, покраснел, взглянул на военкома и, видя, что тот как будто ничего не заметил, закрыл протертое место пепельницей. Наконец, внима-

тельно осмотрев и подержав в руке каждое письмо, Ходотов поднял голову и понимающим, долгим взглядом посмотрел на Курбатова:

— Так... Трудно, говоришь, Яша? Понимаю, трудно. Очень трудно. А в руках себя держать надо. Нельзя поддаваться такому настроению, оно далеко заведет. Я думал, что у тебя воля крепкая, а выходит — тебе еще воспитывать ее надо...

Военком снова подошел к нему, похлопал по спине и, подталкивая его к двери, шутливо проворчал:

— Всё же и при таком горе дырки на скатерти протирать не надо. Это тоже государственное имущество.

Смущенный Курбатов хотел было что-то сказать, но Ходотов, тихо засмеявшись, выдворил его из кабинета и закрыл дверь.

* * *

Когда он, приехав в Печаткино, сошел с поезда, ему захотелось тут же сесть в состав, идущий обратно, и уехать. Куда? Да не всё ли равно куда, лишь бы не встретиться с Клавой. Но уехать он уже не мог. Какие-то иные, более властные силы привели его сюда, здесь был его дом, его горе, его друзья, и он принадлежал им — дому, горю, друзьям.

Курбатов почувствовал, как кругом него вдруг появилась тревожная пустота. Лобзик остался в Архангельске — на комсомольской работе. Остался он, конечно, потому, что там была Нина. Как ни старался Лобзик, не мог он скрыть счастливой улыбки, она так и сверкала на его худющей физиономии. Курбатов, понимая, что завидовать вроде бы нехорошо, не мог не завидовать ему и открыто признался себе в этом.

Он избегал встреч с Клавой. Раз, увидев издали знакомую фигурку, он пошел обратно и завернул в переулок. Клава же, наоборот, искала встречи с ним и часто, не замечаемая никем, ждала, когда он выйдет из общежития, клуба или дома, где помещались всеобщ и ЧОН. Но Курбатов всегда был не один, а она не хотела, чтобы их видели вместе.

Всё же Клава дождалась этой встречи. Как-то Курбатов вышел из клуба с ребятами; на улице они остановились, и Яша о чем-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Больше полчаса ждала Клава окон-

чания беседы; к счастью, ребята расстались, и Курбатов один пошел к своему дому.

Пройдя соседней улицей, Клава обогнала Курбатова и как бы случайно пересекла ему путь на одном из перекрестков.

— Здравствуй, Яша, — протянула она руку, как-то натянуто усмехаясь. — Ты как будто меня нарочно избегаешь? Будто боишься чего-то. Не бойся, я не прокаженная.

— Да нет... Что ты, — тихо сказал он, краснея. От волнения он с трудом произнес даже эти простые, односложные слова. Клава понимающе кивнула:

— Мне ведь тоже нелегко, Яша. Может быть, тяжелее, чем тебе. Ты, пожалуйста, не думай... не думай, что я от тебя чего-то хочу. Я только всё рассказать хотела. Ты ведь ничего не знаешь еще... Рассказать... всё. Это, наверное, последняя наша встреча, и я ее действительно искала. Может быть, когда узнаешь, не так плохо будешь думать обо мне...

Они не заметили, как очутились на железнодорожной ветке и как пошли по шпалам к лесу. Они шли, как чужие, отдаваясь друг от друга; Клава смотрела на Курбатова грустным, ясным взглядом, а он глядел вниз, под ноги, не поднимал глаз. Боль, уже замершая, казалось, теперь начала снова пробуждаться в нем. Голос Клавы, какой-то хриловатый, огрубевший, доносился до него словно бы издалека, и это был уже чужой голос.

— ...Помнишь, когда я ушибла ногу и ты возил меня гулять на финских санях? Помнишь, тогда мы немного поспорили с тобой. Я говорила, будто человека легко узнать по виду и что Трохов хороший парень, а ты из ревности плохо о нем отзываешься? А ты оказался прав... Любила-то я, конечно, тебя одного и... и... сейчас люблю и буду любить, не запретишь. Но сейчас уже от этой любви пользы нет... Тогда, когда мы с тобой спорили, Трохов казался мне хорошим парнем. Ну, вежливый, предупредительный. Во время танцев чего только не говорил. И тронуло меня это. Пока ты был со мной, у меня к Трохову был только глухой интерес. Ну... интерес со стороны. Ты меня, наверное, понимаешь... Кроме тебя, мне тогда никого не нужно было. Но вот ты уехал. Мне и поговорить было не

с кем. Ты далеко, а если бы бабушка была, то ничего бы и не произошло...

Курбатов насторожился. Ему показалось, что Клава хочет упрекнуть его в чем-то, и он насторожился, подобрался, готовый взорваться и наговорить ей бог весть чего, если она и в самом деле упрекнет его. Но Клава продолжала по-прежнему ровным голосом, будто разговаривая сама с собой:

— Совсем одной мне скучно было. Сидела всё время дома, думала о тебе. Заходили девчата, звали на танцы, на репетицию, а я не шла. Потом как-то в воскресенье пришла Зина и стала звать на танцы. Тут дед вмешался: «Сходи, потанцуй! Чего ты всё сидишь, как вдова соломенная. Не узнает твой Яшка. Да ему и бояться нечего, видишь, ведь совсем голову по парню потеряла. Сходи уж; он-то там тоже, наверное, ходит». Это меня ровно иголкой кольнуло. Ты знаешь, что я тоже очень ревнивая, я тебя тоже ревновала к каждой девушке, с которой ты разговаривал. Только я умела скрывать.

...Тут я собралась и пошла в Народный дом. Там, конечно, был Трохов. Увидел меня и сразу оживился. Подлетел ко мне, пригласил на вальс, спрашивал, почему меня не видно, уж не заболела ли часом. Говорил, что очень скучает без меня, что вообще не знает, что такое с ним происходит. Я всё это слушала, и мне было хорошо...

Потом он меня провожал домой, крепко жал руки и ничего себе не позволял больше. Стала я ходить на каждые танцы и... и не знала, что тебе писать. Пишу, разорву, снова напишу... Ничего не получалось. Я и прекратила. Почему-то ты в моей голове был в каком-то тумане, а Трохов постоянно был рядом. Но я ничего тогда не думала, знала, что люблю тебя, а о Трохове думала совсем легко. Всё это казалось мне временным, исчезнет, как ты приедешь.

Здесь она замаялась. Курбатов шел медленно, глядя себе под ноги. Он знал, что Клаве трудно рассказывать обо всем этом, но ведь и ему не легче было слушать. Он не замечал ничего: ни того, где они шли, ни самой Клавы. Казалось только, что голос ее был рядом...

— Как-то раз танцевали, было жарко. Трохов предложил выйти на крыльцо. Он держал меня под руку.

Было часов девять. Он предложил не возвращаться обратно в зал, а пойти погулять. Я согласилась. Он принес мое пальто, и мы пошли. Трохов жил недалеко. Вдруг он, протянув руку, сказал: «Вот мое окно. Вот мое одинокое холостяцкое жилище. Плохо быть холостяком. Нашел я себе невесту, да она не хочет быть моей женой. А я бы ее на руках носил, молился бы на нее, как на икону. Малейшее ее желание было бы для меня законом». Меня взяло любопытство. Я поинтересовалась, кто она, его невеста. Он заявил, что сейчас этого сказать мне не может, а что если я наблюдательна, то давно бы должна всё понять...

В общем, он уговорил меня и я зашла к нему в комнату. В комнате было очень грязно, везде валялись окурки, кровать была не заправлена. Он сразу засуетился, притащил веник, стал подметать пол.

Всё это получалось у него так неуклюже, что я не выдержала и взяла у него веник. Пока я мела пол, он чего-то хлопотал у стола. Я закончила мести, он вынес мусор и пригласил меня к столу. На столе стояла бутылка вина и бутылка самогона, много было разной закуски, такой, какой я давно и не видела. Но как Трохов ни упрашивал, я не стала пить и не захотела сесть за стол. Он рассердился, назвал меня «недотрогой» и еще как-то. Потом налил себе полный стакан самогонки и залпом выпил его. Сразу он как бы изменился. Он схватил меня и хотел насильно поцеловать, но я вырвалась и ударила его по лицу. Хотела убежать, но дверь оказалась закрытой. Я отбивалась изо всей силы, схватила со стола стакан и ударила его... Но... словом, он оказался сильнее.

Вот так, Яша, всё и было. Когда он боролся со мной, то из-под подушки упал сверток и из него рассыпались по полу разные золотые вещи. Он испугался, начал их подбирать. Я воспользовалась этим, схватила с комода ключ, открыла дверь и убежала.

На улице привела себя немного в порядок и пошла в милицию, к Лукину, обо всем ему рассказала. Он сам взял милиционеров и пошел делать обыски и арестовать Мишку. Дома я рассказала всё. Дедушка схватился за сердце и ушел в другую комнату. Папа строго допрашивал. Потом он встал, оделся и ушел,

сказав мне: «Деда не расстраивай лучше, а я пойду схожу к Лукину».

Я заплакала. Первой моей мыслью было бежать на реку, а потом я стала оправдывать себя: «А что я, собственно, такое сделала? Это меня силой сломил подлый человек». На полдороге я повернулась и пошла обратно домой. Дома дедушка приласкал меня. Вернулся папа и тоже меня приласкал и рассказал, что у Трохова нашли драгоценности при обыске и что он с продсклада воровал продукты и менял их в поселке на золото. Ну вот, Яша, и всё...

Что мог Курбатов ответить на это? Какой-то внутренний, еще глухой, но всё растущий голос упорно твердил ему: посмотри, посмотри, как она сама истрадалась за это время. Ну, ошиблась в человеке, тяжело поплатилась... Нельзя же ее сейчас оттолкнуть. Он выругал себя: дурак, сыграл сам с собой в оскорбленное самолюбие, а ничего не понял.

Протянув руку, Яша осторожно взял Клавин локоть и прижал его к себе. Потом, впервые за всю дорогу, посмотрел ей в глаза — взглядом долгим и грустным, таким, что она не выдержала и отвернулась.

Она освободила свой локоть и предупреждающе подняла руку:

— Не надо. Я знаю. Но это уже невозможно. Я... я сама не прощу себе того... даже если ты простишь. И... я пойду, Яшенька. Нет, нет, не провожай меня...

2

Ночью отряд ЧОНа был поднят по боевой тревоге. Курбатов жил далеко, и он одним из последних прибежал на место сбора.

Чугунов обрадованно пожал руку тяжело дышавшему политруку, быстро проговорил:

— Бегун ты отличный! А мы уж построиться успели. Все собрались...

Он повернулся к строю:

— Вот и политрук прибежал. Сейчас начнем. А пока... Закуривай, ребята!

— А если мы не курим, то что нам делать? — раздался с левого фланга тонкий девичий голос.

— Ну, ты, стрекоза! — пригрозил пальцем Чугунов в сторону левого фланга, — вопросы оставить при себе.

Яшка огляделся. Бойцы стояли в две шеренги, лица у всех были сосредоточенные. На левом фланге стояла группа девушек, одетых в ватники и серые платки. У всех в руках тоже были винтовки, только две девушки стояли с санитарными сумками через плечо, но и у них на пояском ремне висели кобуры, из которых торчали ручки револьверов. Мелькнуло знакомое и бледное лицо Клавы. Курбатов сделал вид, что не заметил ее, а сам, как бы невзначай, стал продвигаться к левому флангу.

В это время Чугунов, высоко подняв руку, крикнул:

— Внимание, товарищи! Бросай курить!

Курбатов тоже застыл на месте. Начальник отряда начал говорить:

— Товарищи! После разгрома белой армии Миллера в наши северные деревни и леса просочились осколки белой банды, во главе ее стоят белые офицеры. Вы знаете, совсем недавно они подняли мятеж в Вельском уезде. В наших селах и деревнях белогвардейцы вербуют в свои банды кулацких сынков и всех, кто недоволен советской властью. Словом, где-то они здесь, недалеко, укрываются. По имеющимся у нас сведениям, в банде около семидесяти человек. Есть пулемет «максим». Наша задача — ликвидировать беляков.

Пока Чугунов говорил, Курбатов приблизился к Клаве. Она посмотрела на Яшу и слабо улыбнулась, но в глазах ее была строгость, какой Курбатов раньше не замечал. На плече Клава держала винтовку. Яшка спросил ее тихо:

— Ты зачем пришла? Ведь стрелять не умеешь.

— То есть как это не умею? — Клава презрительно передернула плечами.

— А вот так. Шутки плохи... бой будет.

Клава с ехидной улыбкой посмотрела на него:

— Наверно не хуже вас стрелять умею, товарищ политрук.

Яшка нахмурился:

— Когда же это ты научилась?

— Думаешь, пока ты на курсах был, так все здесь

сидели сложа руки? А я, между прочим, за меткую стрельбу благодарность получила.

— Вот как... — удивился Курбатов, не зная, что сказать.

Клава рассмеялась и, толкнув в бок подругу, кивнула на Курбатова:

— Тоже, поборник женского равноправия.

Яша покраснел:

— Ну, если так, то подожди...

Он быстрым шагом пошел прочь от девушек и скоро скрылся за дверью штаба чоновского отряда. Через несколько минут Курбатов вышел на улицу с карабином в руках; этот карабин был давно закреплен за ним в отряде.

Политрук подошел к Клаве:

— Винтовку давай мне, а мой карабин возьми, он легче.

— Не могу, Яша, без разрешения командира не могу.

— А я говорю — бери.

— Хотя ты и политрук, но винтовку мне выдавал командир, и ее номер записан за мной.

В это время подошел к ним начальник отряда.

— О чем спор, политрук? — пробасил он.

— Да я ей, дурехе, свой карабин отдаю, а она не берет.

— Молодец, Клава, знаешь службу... — не улыбнувшись, отрубил Чугунов. — Она, брат, Яков, без тебя тут во всеобуче лучшим бойцом была. Бери, Клава, карабин, а винтовку отдай ему, разрешаю.

— Вот видишь, я говорил! — Курбатов проворно выхватил из девичьих рук винтовку.

Клава, улыбнувшись, бросила на Яшу признательный взгляд...

Заводской паровоз, пыхтя, пуская клубы пара, притащил две теплушки, в которые быстро погрузились бойцы отряда.

Когда они приехали на разъезд Печаткино, уже совсем рассвело. Было холодно. Густая завеса мелкого осеннего дождя стояла в воздухе. Резкий северный ветер бросал в лицо водяную пыль. В низинах, что молоко, стоял густой, белый туман; ветер отрывал

целые куски тумана, поднимал их и разметывал в воздухе.

Отряд выгрузился и поспешил спрятаться под навес открытого пакгауза. Здесь бойцы построились и стали ждать дальнейших распоряжений.

Чугунов, посовещавшись с начальником штаба и с политруком, объявил перед строем:

— Нужны пять человек добровольцев в разведку.

Вышли из строя почти все, сбились в кучу.

— Нет, так не получится... Становись!

Чугунов снова построил отряд и сам стал назначать бойцов в разведку. Курбатов видел, как к начальнику подошла Клава и, что-то сказав ему, встала рядом с назначенными.

Курбатов не выдержал, подошел к группе разведчиков и отозвал Клаву в сторону. Сдерживая волнение, он сказал почти шепотом:

— Клава, не ходила бы ты... Ни к чему это.

— Нет, Яша, я пойду. Я давно просила Чугунова послать меня на опасное дело.

— Зачем тебе это, Клава?

— Надо, Яша, — сказала девушка каким-то чужим голосом, — да, надо... хочу проверить себя, настоящая ли я...

В это время старший группы разведчиков скомандовал:

— Пошли, ребята!

Клава поправила на плече ремень карабина и бегом догнала бойцов. Оглянувшись, она помахала рукой Курбатову, потом наклонилась, подобрала камешек и, рассмеявшись, бросила в его сторону. Разведчикам по шпалам надо было шагать до северного семафора. Группа всё больше и больше удалялась, а Курбатов стоял и смотрел ей вслед. Увидев, что Клава замахала ему рукой, он сдернул шлем и изо всей силы покрутил им в воздухе.

По приказу Чугунова разведчики должны были вернуться в полдень. В половине третьего вернулись трое, среди них и старший группы. Он доложил, что двое разведчиков, обследовавших участок леса вправо от железной дороги, ничего не обнаружили. Боец Зимин и Клава, которые получили задачу разведать полосу влево от дороги, к сроку не вернулись.

— Зимин — красногвардеец, старый солдат и опытный разведчик, — закончил старший. — Было уже два часа и ждать больше мы не могли. Пришлось отправиться обратно.

Чугунов, выслушав доклад, помолчал. Потом сказал раздумчиво:

— Или сидят где-либо в лесу, чтобы себя не обнаружить, или попали бандитам в лапы, или...

Курбатов почувствовал, как тяжело заколотилось сердце. Уши и лицо его загорелись огнем. Чугунов заметил состояние политрука и, подойдя к нему, хлопнул его по плечу:

— Не горюй... Зимин разведчик опытный, да и Клавка девка не промах. Пойдем сейчас выручать.

Через десять минут отряд уже рассыпался в цепь и влево от разъезда стал прочесывать густой лес. Вправо от железнодорожной насыпи шел только дозор.

Не доходя до линии обороны, чоновцы наткнулись на дозор белокулацкой банды. Все пять бандитов, оказавших сопротивление, были убиты.

Скоро отряд вышел на большую лесную, заросшую кустарником поляну, которую окружал дремучий, труднопроходимый лес. В целях предосторожности Чугунов приказал отряду остановиться на опушке и залечь, приготовиться к бою. Все проверили оружие и стали вглядываться в противоположную темную опушку леса.

Вдруг мрачную тишину сырого бора нарушили один за другим два выстрела. Из леса вылетели испуганные птицы, с криком пролетели над кустами и снова сели на деревьях. Какие-то глухие стуки доносились с той стороны поляны, — должно быть, там были люди...

Курбатов находился на левом фланге отряда, в отделении Кията, когда сюда прибежал связной от Чугунова с приказом: разведать боем лежавший впереди лесной участок. Бойцы, услышав приказ, обрадовались, — больно уж им надоело принимать в траве холодную ванну.

— Пошли, ребята! — скомандовал тихо Кият и осторожно щелкнул затвором винтовки, проверяя ее готовность к стрельбе. — Ниже наклоняйтесь, чуть что — ложитесь и ждите команды.

Бойцы встали и двинулись вслед за Киятом. Курбатов тоже поднялся, проверил винтовку, гранату за поя-

сом, отстегнул кобуру и побежал вперед, опередив командира отделения.

— Ты куда, Яшка? — крикнул Кият.

— Как куда... — глухо откликнулся Курбатов и продолжал, пригибаясь к земле, двигаться вперед. Кият бросился за ним и не успел его догнать, как лесную тишину разорвала пулеметная очередь. Кият повалился на землю, за ним упали Курбатов и бойцы. У Вали по кисти руки потекла струйка крови. Он попытался незаметно сдернуть с шеи шарф и замотать им руку, но Курбатов увидел кровь.

— Ты что, ранен?

— Пустяк, царапнуло только, — Кият продолжал обматывать шарф вокруг кисти.

— Ползи назад, там перевяжут.

Кият сделал вид, что не слышал слов Яши.

— Валька, не чуди...

— Да не пойду я... чего пристал. Пустяк ведь...

— Товарищ Кият, — отчеканил Курбатов, — я вам приказываю!

Кият смутился, невольно поглядел на звездочку на рукаве Курбатова.

— Есть, товарищ политрук.

— За мной, ребята! — скомандовал Курбатов и, прижимаясь к земле, по-пластунски пополз вперед.

Снова загремели пулеметные и винтовочные выстрелы. Белобандиты, очевидно, залегли на самой опушке леса. Недалеко стал виден бруствер окопа. Курбатов узнал эти места: два года тому назад здесь строила линию обороны комсомольская ячейка. Вон там, влево, работали девчата, а вот здесь он сам — укреплял опалубку на стенках окопов...

В мозгу неотвязно засверлила мысль о Клаве.

«Неужели она попала в лапы к зверюгам?» Эта мысль была нестерпима. Однако Курбатов быстро пришел в себя: «Надо двигаться, двигаться вперед...» Поднявшись с земли, пригибаясь, он быстро побежал вперед, бойцы последовали за ним. Бандиты, должно быть, заметили их, и снова затарахтел пулемет и забухали винтовочные выстрелы.

Дальше ползти было невозможно, мешал пулемет. Но Чугунов, наблюдавший за действиями отделения, уже оценил обстановку, он приказал через вестового —

приостановить движение, обойти пулемет с тыла и уничтожить его.

Курбатов тщательно обследовал в бинокль спущку леса. Наконец в густом кустарнике он с трудом разглядел тупое рыло «максима», на какой-то миг мелькнула за широким щитом голова человека. И Курбатов принял решение: пойти на операцию самому и уничтожить пулеметное гнездо, преградившее путь отряду. Он повернулся к бойцам и тихо сказал:

— Слепнев, Зубов — ко мне!

Два бойца подползли к нему, а за их спинами Яша вдруг увидел улыбавшегося во весь рот Кията; тот поднял вверх и показал руку, перевязанную белоснежным бинтом.

Яша рассердился не на шутку, приготовился крикнуть что-то резкое, уничтожающее, но не нашел слов; приподнявшись, он погрозил Кияту кулаком: «Какой упрямец!.. А всё же — молодец, ведь я бы так же поступил, как и он».

— Ну, Слепнев, Зубов, пошли... За мной... Пулемет уничтожим с тыла... На-ка, Ваня, возьми винтовку.

Один из бойцов отделения взял у Курбатова оружие.

— Давай мне твои гранаты. Это им на угощение.

Курбатов привесил к поясу гранаты, вытащив из кобуры наган, пополз. Боевая группа углубилась в лес. Продвигаться было тяжело: мешал валежник, густой ельник; при малейшем соприкосновении с деревьями ниспадал холодный душ. До нитки промокшие бойцы с упорством продирались через чащобу. Скоро ельник кончился.

Курбатов с бойцами проник в сосновый бор.

Яша огляделся: здесь, недалеко, была вторая линия окопов, вырытая в сухом песчаном грунте. Вот она. Время и дожди сделали свое дело. За прошедшие два года окопы наполовину были засыпаны песком. Где-то неподалеку должен быть блиндаж, в котором тогда ночевали комсомольцы, не желавшие терять времени на поездки домой, в поселок. Эти места снова напомнили Курбатову о Клавде, — еще сильнее затосковало его сердце.

Впереди, у основания могучих сосновых стволов показался холмик, поросший травой и молодыми сосен-

ками. Это был блиндаж. Около входа стояли двое — один в темно-зеленой шинели, в фуражке с большим козырьком, другой в простом деревенском армяке, подпоясанном цветным кушаком, и в сапогах с высокими голенищами.

Рука Якова сама потянулась к кольцу гранаты, а бойцы, изготовившись, взяли на мушку бандитов. Однако Курбатов своевременно спохватился и сдержал себя. Он приказал осторожно отползти назад. Двигаться по седому влажному мху было удобно. Вот деревья поредели, начался кустарник, впереди которого была та поляна, на которой вдали залегли и ждали чоновцы.

Курбатов прислушался. Стояла полная тишина. Он немного выполз вперед, оглядел опушку и — вправо от себя — неожиданно увидел пулемет и притаившийся расчет из трех лиц. Пулемет стоял в полусотне шагов от него. Прикрываясь кустарником, он медленно пополз к пулеметному гнезду, и когда враг находился не больше чем в двадцати шагах, Курбатов, встав на одно колено, замахнулся гранатой и бросил ее. Сразу после взрыва по поляне прокатилось громкое «ура!». Это чоновцы пошли в наступление. Белобандиты, не чувствуя поддержки пулемета, вяло отстреливались и, наконец, не выдержав порыва чоновцев, начали отступать вглубь леса. Сперва они еще огрызались выстрелами, а затем разбежались.

Израсходовав все свои гранаты, Курбатов с наганом в руке побежал к блиндажу. Кият с бойцами отделения нагнали его у самого входа. Они быстро сбежали вниз по скользким ступенькам и осторожно открыли дощатую дверь. В углу мрачного, темного блиндажа мигал огонек; спасаясь бегством, бандиты, очевидно, забыли погасить коптилку. Курбатов и Кият подошли к столу, на котором была разложена карта; на ней лежал компас и циркуль, стояли полупустые банки консервов и бутылки с самогоном. От зажженных зажигалок стало светло в блиндаже, и Курбатов увидел лежавшее поодаль у стены тело. Дрожащими руками зажег он спичку, поднес ее к телу... Курбатов с трудом узнал Клаву. Недалеко от нее лежал другой труп, в котором бойцы распознали разведчика Зимина; он весь был исколот штыками.

Сняв кепки и фуражки, чоновцы осторожно подняли погибших и вынесли их из блиндажа.

Курбатов опустился около истерзанного тела Клавы на одно колено; горький, твердый комок подкатился к горлу, и он бесшумно заплакал. Бойцы с суровыми, скорбными лицами стояли вокруг своих замученных товарищей.

Яша осторожно расстегнул ватник Клавы, разрезал ножом лямку от санитарной сумки, а из потайного кармана ватника, застегнутого булавкой, он извлек проколотый штыком комсомольский билет.

Вскоре чоновцами недалеко от блиндажа была вырыта братская могила, и отряд с военными почестями, с многократным салютом похоронил семь своих бойцов. Курбатов, как политрук отряда, должен был сказать на могиле прощальную речь, но говорить он был не в силах. Речь за него произнес Чугунов. Бойцы нарывали красной рябины и осыпали ее гроздьями братскую могилу.

...Чугунов решил допросить пленных. Начальник штаба кулацкой банды долго не хотел говорить. Его бледное лицо, с нервными подергивающимися ноздрями, с злыми зелеными глазами, холеные руки с длинными цепкими пальцами обличали его, как человека избалованного властью, привыкшего к барской жизни. Он настороженно, словно загнанный зверь, смотрел на Чугунова и на толпившихся в землянке чоновцев. На вопросы отвечал медленно, взвешивая и обдумывая каждое слово. Голос его был неприятный, скрипучий. Иногда он говорил едва слышно.

Однако, под конец допроса, не выдержав напряжения, белогвардеец охотнее стал отвечать.

Он даже утратил выдержку и, кусая губы, спросил:

— А вы, господа, сохраните мне жизнь?

На этот вопрос, не скрывая чувства презрения и гадливости, Чугунов ответил:

— Не господа мы и не бандиты. В жизни твоей не властны. Тебя революционный трибунал судить будет.

Пленный рассказал о том, как поймали и допрашивали Зими́на и Клаву. Он ничего не скрывал. Слушая страшный, циничный рассказ об издевательствах и пытках, которым подверглись их товарищи, чоновцы

сжимали кулаки, цедили сквозь зубы проклятья и ругательства. Курбатов, громко выругавшись, выхватил из кобуры револьвер... Один из чоновцев схватил Яшку за руку.

— Не распускайся, политрук. Он живой нам полезнее. Много знает, стерва, и трус к тому же.

Курбатов, плюнув в сторону пленного, медленно вложил наган в кобуру.

— Я его всё равно живым не оставляю...

— Не чуди, Яшка, спокойнее, — услышал Курбатов хриплый голос Чугунова, — лучше выйди пока, не место тебе здесь...

Выйдя из землянки, Курбатов долго не мог прийти в себя. Ненависть кипела в нем и требовала немедленной разрядки. Прислонившись к сосне, он смотрел в зиявший чернотой вход в блиндаж. Он вынул из кобуры пистолет, резко повернул барабан, проверяя патроны. Положив револьвер в карман, Курбатов продолжал крепко сжимать его рукоятку.

В двери землянки показалась льняная голова Кията, рука его была подвешена на полотенце. Кият подошел к Яшке и, осторожно дотронувшись рукой до его плеча, тихо сказал:

— Не надо, Яша, этим не поможешь.

Курбатов, не удержавшись, грубо крикнул:

— Уйди! Не приставай, утешитель!..

Но Кият не ушел, он не обратил внимания на вспыльчивость друга и только смотрел на него укоризненно своими глубокими, темными глазами. В это время чоновцы вывели из блиндажа допрошенного начальника штаба.

Курбатова как ветром сдуло с места. Он подбежал к пленному, изо всей силы рванул его за ворот английского темно-зеленого френча. Конвоиры от такого неожиданного натиска в первые минуты растерялись. Отпустив пленного, Курбатов выхватил из кармана наган... Видя это, Кият со всех ног бросился к Курбатову, он успел толкнуть его, когда тот выстрелил в бандита. Пуля пошла в сторону.

— Полоумный! Ты что, в трибунал захотел!.. — Кият схватил Яшу за руку.

Курбатов, бледный, прислонился к сосне; губы его тряслись, глаза были закрыты. Кият не отводил бес-

покойного взгляда от прибежавшего на выстрел Чугунова. Начальник отряда долго, тяжело смотрел на Курбатова, что-то хотел сказать, но, резко повернувшись к нему спиной, пошел прочь. Когда увели пленного, Кият отпустил руку Якова и молча отошел от него в сторону...

Основные силы чоновцев всё еще прочесывали ближайший лес. Они поймали несколько бандитов, притаившихся под корягами и в ямах. Но вскоре у блиндажа заиграла гармонь, — это было сигналом для общего сбора отряда.

3

Курбатов привык за эти годы к поездкам, к равномерному стуку вагонных колес, под который думается так легко и спокойно. На этот раз ехать ему было недалеко — всего лишь до губернского города. В спешке перед отъездом у него даже не было времени спокойно посидеть и еще раз подумать о том большом, что вошло в его жизнь.

На бюро партячейки прием Яшки в кандидаты РКП(б) занял очень мало времени: вопросов к нему почти не было, он вырос у всех на глазах. Только в заключение секретарь Булгаков сказал ему:

— Кончился теперь Яшка. Теперь ты — товарищ Курбатов, так гляди, брат, не подкачай.

На общем собрании партячейки вопрос о приеме Курбатова рассматривался в текущих делах и тоже не вызвал особых прений. Выступил старик Пушкин, он заметно волновался, чувствуя значительность происходящего:

— Я не оратор и красиво говорить не умею, а скажу просто, по-рабочему. Не осрами нас, Яша, меня, старика, не осрами, не ходи по кривым переулкам, пускай тебе обещают в них молочные реки да кисельные берега. Всегда иди прямой дорогой, той, которую нам Центральный Комитет да Владимир Ильич указывают. Если я при моей жизни узнаю, что заглянул ты в какой-нибудь темный переулок, — смотри, я по-стариковски сниму с тебя портчонки-то да так отдеру, что на то место, которым сидят, месяц не сядешь. Понял?

Все засмеялись, а Пушкин, подождав, когда утихнет смех, сказал, разводя руками:

— Что смеетесь-то? Если что и не так сказал, так я предупреждал, что не оратор и складно говорить не умею. А сказал ясно и без стеснения. Понял ты меня, парень? Смотри, помни мои слова.

На следующий день вечером он зашел к секретарю за кандидатским удостоверением. Выписав удостоверение, Булгаков положил его перед собой и кивнул Курбатову:

— Да ты садись, в ногах правды нет.

Потом он долго молчал, словно собираясь с мыслями, и наконец поднял на Курбатова задумчивые, постражавшие сразу глаза:

— А знаешь, Курбатов, прав был вчера старик: иди только прямой дорогой. Свернешь с нее — и себя и многих других погубишь. Дорогу эту всегда нам Центральный Комитет указывает, вот ты по ней и иди. Коллектив — он не ошибется, а один человек, будь он семи пядей во лбу, может ошибиться и забрести черт знает куда. В этом году Троцкий и Бухарин попробовали свернуть с дороги нашу партию. А что им съезд сказал? По шапке дал да предупредил, что если еще раз себе такое позволят, то из партии катись колбасой. Завинчивать и отвинчивать гайки каждый слесарь может. Очень просто, раз плюнуть. А ты посложней за что возьмись. Вот хоть бы за то, чтобы поезда у нас правильно шли. Так нет, на это у них кишка тонка. Никогда не ходи, Яша, за Троцким: паршивый он человек. Знаешь, его Ильич еще в двенадцатом году Иудушкой называл... Троцкий хитрец, прощелыга. Он и в партию к нам пришел перед самым Октябрем, нюхом почувствовал, чья возьмет. Ну и примазался. С тех пор всё время хочет славу партии, славу Ленина себе присвоить. Или возьми Бухарина. В восемнадцатом главварем «левых» коммунистов ходил, а нынче, видишь ты, — «буфер». А нашему партийному паровозу зачем буфера? Ежели на пути и попадет кто ненужный — он стукнет, да так, что уж всё равно никакие буфера не помогут.

...Весь этот разговор он вспоминал сейчас с отчетливостью, ощутимой почти физически. И, дотрагиваясь до кармана, где лежало кандидатское удостоверение,

он переживал чувство какой-то необычайной приподнятости, какое бывает, наверно, у птенцов перед их первым полетом.

В губсовпартшколу Курбатов приехал одним из первых. До него прибыло всего только четверо слушателей, и к их приему еще ничего не было готово: в общежитии даже не успели поставить кровати.

Школа помещалась в нижнем этаже длинного трехэтажного здания бывших «присутственных мест»: в старое время здесь размещалось большинство правительственных учреждений губернии.

Дом стоял на берегу реки; рядом, за высоким деревянным забором, с утра и до вечера гудел рынок. Нэп возродил свободную торговлю, и сейчас здесь хозяйничали дельцы, спекулянты, а то и просто жулье, научившееся ловко водить за нос доверчивого городского обывателя. Были здесь и торговцы счастьем с попугаями или морскими свинками, которые за «лимоны» вытаскивали отпечатанное в типографии «счастье», и просто мошенники, мастера обобрать до нитки в «три листика». Шипели в масле на таганах поджаристые пышки, испускал навозно-острый запах горячий коровий рубец. Бабы продавали в мешках мокрую рассыпную махорку — горлодер, кем-то окрещенную в «Прощай, молодость»; другие торговали обсосанным на вид монпансье. Здесь же воры сбывали краденое, а фармазоны артистически заставляли городских модниц покупать медь вместо золота.

Вместе с ребятами, приехавшими, как и он, в совпартшколу, Курбатов целыми днями шатался по городу, приглядываясь к давно забытым местам. Он долго стоял перед своей старой школой, а потом быстро пошел прочь, — это возвращение к прошлому было тягостным даже в воспоминаниях: он не любил своего детства.

Зато ребята ему нравились. Они приезжали каждый день из таких мест, о которых Курбатов и не слышал. Многие из них видели город впервые, о железной дороге знали только понаслышке и понятия не имели о самых, казалось бы, простых вещах. Одеты все были пестро и плохо, кто в чем. Парни и девушки прибывали в лаптях и белых онучах, в домотканых сермягах, подпоясанных цветными полинявшими кушаками, а то и просто обрывками пеньковой веревки. Были тут

пастухи, хлеборобы — голь перекатная — и середняки, и продавцы кооперативных деревенских лавок, учителя и учительницы, делопроизводители ВИКов и сельсоветов. Но были и рабочие, такие, как Курбатов.

Приехала из глухой Тотемской Кокшеньги Хиония Кораблева, девушка-комсомолка, первая без боязни вступившая в малочисленную местную комсомольскую ячейку. За это отец прогнал ее из дома, а поп отлучил от церкви. Ядовитые бабы сочиняли про Хионию разные похабные сплетни. Запуганная, она приютилась у местной учительницы, которую и без того мужики стращали местью за то, что она «сворачивает с пути ихних девок». Учительница оставила Хину школьной уборщицей, а когда из уезда пришла разверстка в губсовпартшколу, учительница посоветовала девушке ехать учиться.

Снова разгорелись в деревне страсти, когда узнали, что Хина едет учиться в какую-то совпартшколу. Досужие языки переводили это название — «собачья беспортошная школа». Бабы судачили о том, что «городские комиссары по всем деревням себе статных девок подбирают» и что «закон есть, по которому городским комиссарам положено иметь по пятнадцати жен, и будто бы менять их будут через год».

И вот, в платочке, в домотканом армячишке, в липовых лапотках и онучах, с берестяной пестеркой за плечами, тронулась Кораблева, не испугавшись, в неизведанный путь. Не смутило ее и то, что надо было пройти до ближайшей железнодорожной станции сто пятьдесят верст — по непроезжей грязи разбитых дорог, в стужу и слякоть. В жизни Хина не видела поезда и железной дороги. Ребята покатывались со смеху, слушая ее рассказ, а Курбатов и улыбался и хмурился, вскидывая на Хину то удивленные, то грустные глаза.

Курбатову было жаль ее: нечего и думать, что девушку примут в совпартшколу. В уезде, как водится, напутали: послали вместо молодого коммуниста неграмотную комсомолку... «Чего-нибудь придумаем», — размышлял он, глядя на Хину.

Первую ночь ребята ночевали в большой, плохо протопленной комнате общежития совпартшколы. Кроватей и постелей не было, спали на голых досках. Курбатов, с головой накрывшись своей шинелью, кое-как согрелся и заснул.

Утром приехало еще человек пятьдесят. Общежитие преобразилось, в его больших комнатах стало теплее и уютнее. Посредине комнат стояли длинные, грубосколоченные столы, и уже к вечеру за ними плотно сидели, склонив головы, курсанты, готовясь к проверочным испытаниям.

Особенно беспокоили всех экзамены по русскому языку. Большинству приехавших чаще приходилось писать ручником да сохой, чем пером.

Экзаменационная лихорадка сменилась тяжелой, с непривычки, усталостью. Ваня Галкин, пастух из Авнеги, в общем-то начитанный паренек, хотя и прошел по конкурсу, жаловался:

— Ей-богу, братцы, если так и дальше дело пойдет — махну обратно в деревню коровам хвосты крутить.

Директор совпартшколы Гуляй-Зайцев, услышав об этом стороной, пообещал:

— Дальше еще круче будет.

Как и предполагал Курбатов, Хину Кораблеву даже не допустили к экзаменам. Не предполагал он другого — что эта забитая, испуганная девушка сможет закатить самый настоящий скандал, с угрозами дойти «до главного». Минут двадцать из-за дверей кабинета до курсантов доносились громкие голоса и крики; наконец двери отворились, и директор, красный, растерянный, выскочил из комнаты.

— Ладно, ладно, чего-нибудь придумаем, — крикнул он, неизвестно к кому обращаясь. Увидев в коридоре группу ребят, директор как-то растерянно улыбнулся:

— Ну и чертова девка, совсем извела. Малограмотная, а вот смотри-ка — аж в пот вогнала.

Хину устроили в кружевную мастерскую и зачислили в ликбез.

Хотя испытания остались позади, занятия долго не начинались; то не было книг, то преподавателей, и Гуляй-Зайцев, взяв с собой трех ребят, в том числе и Курбатова, с утра до вечера объезжал город в дребезжащей, готовой рассыпаться на ходу пролетке.

Книги они получали в разных концах города: то в гороно, то в губкоме партии. Выдавали их чаще всего чистенькие, аккуратные старички, словно бы прилетевшие с другой планеты, страстные книголюбы, и книги

они предлагали тоже какие-то старые и мало кому нужные: «Тарантас» графа Соллогуба или сочинения Сергея Аттавы. Один из старичков, в прошлом букинист, любил жаловаться:

— Сквозной народ теперь пошел. Никакого уважения к святыням. Соллогуба не берут. Подавай им Маркса, Энгельса и Ленина. Я говорю им: «Достолюбезные граждане, вот возьмите, уверяю вас, плакать будете: «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Кровью писал человек! Поверите, перечитываю в который раз, и всё нутро мое клокочет благоденственными слезами».

Ребята возвращали ему пахнувший бумажной плесенью томик:

— Нет, не нужно. А «Государство и революция» найдется?

— Извиняюсь. Вы поройтесь сами, поищите, что надо, у нас всё есть.

Старичок надевал на свой морщинистый, в синих жилках нос перевязанные ниточкой очки в черепаховой оправе и начинал читать корешки своих книг:

— А вот-с извольте: Брешко-Брешковский, из молодых. Возьмете?

— Нет, тоже не надо.

Старичок обиженно говорил:

— Извиняюсь, вы очень капризны.

Они возвращались из этих поездок с ворохом брошюр, книг, новых или разлохмаченных, отпечатанных на серой бумаге, — лучшей в республике тогда не было.

Наконец подошел первый день занятий. В расписании, вывешенном еще накануне, стояло загадочное слово: «Беседа». Галкин, изучая расписание, покривился:

— Мораль будут читать. Учитесь, детки, постигайте. На вас вся Европа и Азия смотрят. А я всхрапну часок.

Курбатов, перебирая сшитые нитками чистые тетради, не заметил, как открылась дверь и в класс вошел секретарь губкома партии Данилов. Алексей Николаевич очень постарел, даже потемнел как-то, и только глаза у него по-прежнему были живые, с хитрым огоньком в самой глубине зрачков.

Данилов, поздоровавшись, прошел к учительскому столу, оглядел комнату и одобрительно качнул головой:

— А ничего хоромы. Только вид у вас всех какой-то... такой. Не очень радостный вид, прямо скажем. А, и Курбатов здесь? Тебя что — уже в партию приняли?

— В кандидаты, — ответил смущенный вниманием Курбатов.

Данилов снова одобрительно кивнул, а потом хмыкнул то ли удивленно, то ли с досадой:

— Вот ведь как время бежит, и не замечаешь.

Он внимательно осмотрел каждого, и ребята невольно подтягивались под его пристальным взглядом. Вдруг Данилов тихо и как-то совсем буднично сказал:

— А я, товарищи, только что в Доме крестьянина был. Никто из вас не заходил туда? Зря, обязательно сходите, послушайте — очень интересно... Крестьян полно, в одном углу юриста обступили, в другом лекцию слушают. В общем, мужик всем интересоваться стал. Зашел я было в одну комнату... Сидит на топчане дед с этакой седой бородищей, в лаптях и онучах. Спрашиваю его: «Откуда, дед? Зачем пожаловал?» А он мне отвечает знаете как? «Беспрекословно. Из-под Высокого я... С Усть-Кубины. Пришел пешечком, пенсию себе хлопотать; потому, вижу, старость приходит, а с ней беспрекословно многие болезни, вредные для меня». — «Кто же тебе, дед, пенсию хлопочет?» — «Да юркий, чернявый такой... Извиняюсь, не выговорить... Юра... какой-то, консюлом прозывается». — «Юрисконсульт, что ли?» — «Во, во! Этот самый. Прости ты меня грешного, опять забыл... На городские-то слова язык туго ворочается».

Поговорил я еще с дедом и пошел дальше. В другой комнате второй дед. В сапогах, волосы под горшок острижены, усы и борода аккуратные. Видно, с хитринкой дедка. Спрашиваю, откуда и зачем? Дед, оказывается, по железке с Вожеги приехал и сразу по двум делам. Во-первых, подсчитал, что на него налог неправильно наложили. Надо тринадцать рублей семьдесят копеек, а наложили пятнадцать рублей девяносто копеек. Вот он — середнячок! У него каждый рубль на счету. Он свое хозяйство рачительно ведет и думку думает, как бы в зажиточные выбратся. Во-вторых, дед к «дохтуру» приехал, чего-то в пояснице у него «как цепями молотят».

Спрашиваю у деда, как в деревне живут. Он мне так отвечает: «Живем — не тужим, бар не хуже; они на охоту, мы на работу, они спать, а мы опять. Они выспятся да за чай, а мы цепами качай!»

Я говорю ему: «Что ты, дед, бар-то ведь давно нету». — «Старые, — говорит, — बारे провалились, новые вместо них народились!» — «Кто же эти новые बारे, дед?» — «Кто, кто — а рабочие, городские, вот кто!» — «Да какие же это बारे, они не меньше тебя работают». — «Говори!.. По восемь-то часов! Рази это работа? А мы — от зари до зари».

Чувствуете, товарищи, как кулацкое влияние сказывается? Это кулак хочет вбить клин между рабочим классом и середняком. А нам середняк вот как нужен.

Данилов провел ребром ладони по горлу. Курбатов покосился на Галкина, сидевшего рядом. Тот слушал секретаря губкома с какой-то недоверчиво-ехидной улыбкой, и Курбатов поморщился: «Не верит, что ли?» Наконец Галкин, не выдержав, спросил, перебивая секретаря:

— А на кой бес он сдался, середняк? Я, между прочим, сам из деревни, мне в Дом крестьянина вроде бы и не к чему идти, — так вот неясность у меня: зачем середняк-то нужен? То же кулачье, добра поменьше, а жадности больше.

Данилов круто повернулся к Галкину. Он смотрел на него долго, так, что тот первый отвел глаза.

— Всем понятно или объяснить? — так же тихо, сдерживая голос, спросил Данилов и, не дожидаясь ответа, начал объяснять одному Галкину.

— Ты, наверно, только недостаток и видел у середняка. А того не заметил, что середняк — труженик. В нынешней деревне он — сила, большая сила, и она нам нужна. Без середняка нам туго придется. К кулаку пойдет середняк — нам труднее будет с кулаком разделаться. Вот и вся арифметика.

— От добра добра не ищут, — усмехнулся Галкин. Усмехнулся и Данилов:

— Вот ведь ты какой упорный. Не веришь? Сам обмозгуй на досуге, а поймешь — самому легче работать станет.

Галкин, пожав плечами, сел поудобней: его, казалось, заинтересовала эта беседа, на которой он соби-

релся всхрипнуть. А Данилов, расхаживая вдоль стены, говорил уже о другом, медленно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем сказать его:

— ...Вы уже знаете, что происходит в стране. И какие задачи перед партией и государством стоят — тоже знаете. Вот, хотя бы, наша губерния: крестьянская, большая... Хозяйство сложное. Но главная особенность сейчас та, что в деревне идет жестокая классовая борьба. Мы опираемся на бедноту, боремся с кулаком, и это ведь борьба за влияние на середняка, который, как ввели нэп, еще больше колеблется. Мирозды и хотят перетянуть середняка на свою сторону. Мы же с вами социализм ведь не только в городе должны строить. В городе строить легче. А вот бороться за социалистическое преобразование темной, неграмотной, убогой русской деревни куда сложнее. Поэтому нам и не безразлично, с кем пойдет середняк.

Потом Данилов говорил о новых кадрах, и Курбатов даже думать забыл о Галкине. Когда же секретарь губкома, простившись, ушел, Галкин зевнул, потягиваясь:

— Ну, начнем, благословясь? Жрать вот только охота. После занятий пойдешь на рынок? Я тебе одну штуку покажу.

Курбатов не слушал его. Всё, что сказал Данилов, было для него интересным. То, что, по всей видимости, после совпартшколы придется ехать в деревню, в сельский район, было уже известно, и Курбатов особенно прислушивался ко всему, что касалось деревенских дел.

* * *

Профессор физики — Хвостов.

Профессор психологии — Гермин.

Профессор-историк по Западу — Мелли, буржуазный объективист.

В списке преподавателей встретились и две знакомые Курбатову фамилии. Диалектический материализм должен был читать один из бывших левых коммунистов, отстраненный от дел в Москве и переведенный сюда.

Историю же партии преподавал приверженец того, кого Ленин в свое время требовал исключить из партии за штрейкбрехерство. «Как же так? — недоумевал Кур-

батов. — Диалектический материализм будет преподавать ученик человека, названного Лениным эклектиком. Мало нам, что нужно следить за чужой профессурой, а тут еще и за этими посматривай. Им я тоже не могу верить. Не могли же они так перековаться».

Гуляй-Зайцев, с которым Курбатов поделился своими мыслями, посоветовал:

— А вы больше всего надейтесь на свои силы, на свою память и сообразительность. Больше Ленина читайте. А эти преподаватели... Что ж, они у нас до времени. Прислали их к нам...

На следующий день первой по расписанию была лекция по физике. Ее должен был читать «чужой» профессор-идеалист Хвостов.

В класс под руки ввели старого, хилого профессора. На голове его была черная, из блестящего шелка, ермолка. Он сел за кафедру и скрипящим голосом начал читать лекцию. Сказав «господа», профессор испугался, обвел всех мутными глазами и остановился, долго переводил дух.

Это была не лекция по физике, а беседа, содержащая идеалистический вздор. Хотя и чувствовалась в речи профессора огромная, искренняя любовь к науке, но сердца слушателей сразу же замкнулись в глухую броню отчуждения. В классе начался гомон; ребята нутром почувствовали неладное.

Лекция была сорвана, профессор просеменил к дверям и долго не появлялся после этого в совпартшколе. Гуляй-Зайцев нервничал: «На кой черт вам понадобилось устраивать этакое... Ну, выпались бы, что ли, чем обструкцию разводить».

Но однажды с кафедры снова раздался дребезжащий голос профессора. Слушатели насторожились, приготовившись к новой обструкции. Однако на этот раз об идеалистических экскурсах в физику не было и помина. Точные математические формулы вместо философских фраз. Тихо и чинно закончилось второе выступление профессора.

А после третьей лекции профессор уже освоился. И когда объявили перерыв, класс дрогнул от дружных аплодисментов: лед отчуждения растаял; на следующих лекциях по физике в классе стояла мертвая тишина.

Зато Курбатову, да и не ему одному, не понравились

первые лекции по истории партии. Преподаватель начал свое занятие с острот и шуток, видимо, желая покори́ть аудиторию. Положив свой большой живот на кафедру, он начал так:

— Буржуазия говорит про русский рабочий класс: «Смотрите, хорош гегемон, а ходит без кальсон...»

После этих лекций у Курбатова оставалось чувство какой-то пустоты и неудовлетворенности, будто лектор сознательно чего-то недосказал, утаил от слушателей...

Трещала с непривычки голова, в ней за короткий срок нужно было уложить такой обширный и разнообразный материал, что и подумать страшно. Уже через месяц на занятия ребята ходили сами не свои — бледные, с ввалившимися щеками, раздраженные. Сначала Гуляй-Зайцев подтрунивал над ними, всё больше насчет «тонкой кишки», а когда в совпартшколе произошел действительно печальный и смешной случай, Данилов распорядился устроить пятидневные каникулы.

Случай же был такой. Как раз в эти дни ребята знакомились с различными идеалистическими школами в философии и долго разбирались в хитрой поповской путанице. А вечером один из слушателей, выйдя из общежития на улицу, лицом к лицу столкнулся с ломовиком, здоровенным детиной, который шел домой, сильно покачиваясь. Слушатель школы резким голосом сказал:

— Тебя в действительности нет. Ты существуешь только в моем воображении!

Пораженный такой дерзостью, парень остановился, как вкопанный.

— Это я-то не существую? — спросил он обиженно-удивленным тоном. — Ах ты сопля зеленая, интеллигентная. В самом едва душа держится...

Удар был такой, что слушатель, не устояв на ногах, полетел в грязную лужу. Ломовик за шиворот, как щенка, поднял его и поставил на ноги:

— Ну как? Существую я или нет? Иди и всем своим скажи, как я тебя отделал. Мог бы и крепче, да ведь тоже человек — жалею тебя, костлявого.

Так ломовик подтвердил ему второй тезис Маркса о Фейербахе, слушателя же показали невропатологу, и тот поставил диагноз: острое нервное переутомление.

Только сейчас, в дни каникул, очнувшись от занятий, Курбатов с удивлением увидел, какой неустроенной

и трудной жизнью они жили. Галкин пригласил его на базар, и, прежде чем уйти, он зашел в соседнюю комнату за одним из ребят своей группы — Горобцом. Тот сидел на кровати, до пояса закутавшись в одеяло.

— Ты чего, Петро, сидишь?

— Та дежурю, — ответил парень с густым украинским акцентом: сюда его завели из-под Полтавы сложные пути.

— Где дежуришь? По общежитию, что ли?

— Та ни. У соби у комнати.

— А что ты здесь делаешь?

— Сижу, та и всё, — ответил Горобец.

— Да зачем сидишь-то? — не понимал Курбатов.

— А що мени робить? Босый, та без штанив, куда я пойду?

— То есть, как без штанов?

— А так без штанив. Бо не уси наши хлопцы мають ладны штаны и обутки. Ну, значить, мы и ходимо по очереди.

Лишних штанов ни у кого не было; пришлось идти на базар вдвоем с Галкиным, и Курбатов пожалел об этом.

На руках у Галкина были деревенские вязаные варежки. Проходя мимо женщины, торговавшей монпансье, Ваня хлопнул рукой поверх конфет и спросил:

— Сколько стоит?

Та ответила, подозрительно оглядев покупателя.

— Дорого дерешь! Пойдем дальше, может, там дешевле.

Отойдя, он протянул Курбатову варежку: «Посмотри теперь». Курбатов увидел на варежке штук пять или шесть прилипших леденцов.

С продавцами махорки он поступал иначе. Махорка продавалась рассыпная, в мешках. Меркой был граненый стакан. Галкин подходил и спрашивал: почем? Ему отвечали. Галкин говорил: «Давай попробую», свертывал из газетной бумаги цыгарку толще пальца, прикуривал, затягивался и, скорчив гримасу, плевался: «Затхлая, не годится». Он проделывал это много раз, и всякий раз находил махорку то мокрой, то некрепкой, то «горлодером». Но отходя от очередной владелицы махорки, он высыпал содержимое цыгарки к себе в карман. Так у него скапливалось курева дня на четыре.

Курбатов, которому всё это поначалу показалось забавным, неожиданно подумал: «А ведь нехорошо. Мелкое, но всё же мошенничество».

— Слушай, хватит... Брось ты эти свои штучки. Чем ты сейчас от любого мошенника отличаешься?

Галкин широко раскрыл глаза:

— Что ты, Яшка, чего ж тут такого? Мы не у государства, не в кооперации, а у спекулянтки, у частника... Я, может, этой своей цыгаркой частника подрываю.

Курбатов нахмурился и остановился, выругав себя за то, что сообразил всё слишком поздно:

— Нет, неправильно. Всё равно это мошенничество. Частника подорвать захотел? Не так его подрывают. А сюда я больше не ходок. Я уж лучше по-прежнему буду удочку на «сорок» забрасывать.

Галкин неожиданно вспыхнул:

— Ишь ты, ортодокс какой! Да я не меньше тебя понимаю, ты меня не учи. «Мошенник, мошенник...» Черта с два я тебе теперь покурить оставлю или ландрина дам. Накосья... — показал фигу Галкин.

Курбатов повернулся и ушел домой один.

Вечером, играя с одним из ребят в шашки, он прислушивался к тому, как Гуляй-Зайцев разговаривает с курсантами. Донеслись слова Галкина:

— ...У меня и дед и батька коровам хвосты крутили. И я умею — лучше не надо.

— Значит, сельский пролетарий?

— Так точно. Еще больше, чем пролетарий, — до четырнадцати лет штаны не носил: не было. В одной длинной рубаше коров гонял. Ну, а когда девки надо мной по всей деревне смеяться стали, так батя свои штаны отдал... Только чего на них больше было — дыр или заплат — не помню.

Кругом смеялись, а Курбатов, нахмурившись, сделал вид, что думает над очередным ходом. Что-то неприятное, отталкивающее виделось ему сейчас в Галкине. «Может, не надо так строго судить? — подумалось ему. — Пройдет время — поумнеет, перемелется... Так-то говоря, что он до сих пор видел?» И всё же ощущение чего-то неприятного не проходило.

От этих мыслей его отвлек Гуляй-Зайцев. Кто-то из ребят полюбопытствовал у директора, откуда у него такая странная фамилия.

— А, вот и вы спросили. Мне на фронте ребята покоя не давали: почему, да отчего, да что не переменяй... А чего менять: к своей фамилии, как к тени, приывкаешь.

Директор начал рассказывать историю своей фамилии, и Курбатов, забыв про Галкина, смеялся вместе со всеми.

— Как будто это с моим дедушкой случилось,— говорил Гуляй-Зайцев. — Был он учителем в уездном городе Кадникове, и фамилия у него была самая простая — Иванов. Любил дед любовь покрутить, силен, говорят, был в амурных делах. Льнули к нему женщины, как мухи к меду. Но гулять-то ему, женатому, приходилось тайком. А вы представляете, что значит уездный город? Там ничего не утаишь, там все знают, что у тебя в горшке на обед варится. Ну, видели люди, как дед по ночам пробирался домой, и говорили: «Видишь, погулял, погулял — да и домой потихоньку...» Так и пошло — «гуляет, как заяц».

...Приехал однажды новый уездный исправник с молодой женой. Дед, говорят, и тут успел. Скоро исправник дознался об этом, а обыватели ему и про кличку рассказали. Ясно, исправник рассвирепел и велел деду подобра-поздорову убираться из города. Делать нечего, с исправником спорить не будешь. Пошел дед в уездную управу паспорт себе выправлять. Выписали ему паспорт и подают. Только прочитал дед, что вместо фамилии Иванов написано там «Гуляй-Заяц». Дед не берет документа, говорит: «Моя же фамилия — Иванов». — «Никак-нет-с, Гуляй-Заяц. Так исправник изволили приказать».

Понял всё дед, махнул рукой и даже, говорят, слезу пустил над этой своей новой фамилией. В губернском городе долго не мог на работу устроиться — из-за фамилии не принимали. А я уже на фронте в гражданскую войну приделал себе окончание «ев», чтобы ребята особенно не смеялись. Только никак частичка «ев» ко мне не пристаёт.

Он взглянул на свои массивные серебряные часы и заторопился:

— Спать, спать, товарищи... Во сне мозги проветриваются. Секретарь губкома распорядился, чтобы в каникулы больше спали.

Наконец жизнь в совпартшколе вошла в свою, ставшую уже привычной колею. И как-то незаметно оказалось, что учиться не так-то уж трудно; снова вернулась прежняя бодрость, чаще слышался смех, даже стали поговаривать, что Галкин влюбился в какую-то нэпманку. В самом деле, вечерами Галкин куда-то исчезал и возвращался тайком, поздней ночью, сопровождаемый ворчанием тети Нюши:

— Ах, ты... Гуляешь всё, вельзевул? Ну, ступай, спи, — дело ваше молодое.

Наутро Галкин еле поднимался, глаза у него были сухие и красные. Когда ребята начинали подтрунивать над ним, он смущенно разводил руками: что ж поделаешь, ребята, такая уж природа.

Потом стал пропадать курсант Митя Чубуков. Вместе с ним уходил Мухаметдинов, киргиз по национальности. Возвращались они вместе, и однажды Курбатов, не выдержав, спросил:

— Да что вы, за одной и той же ухаживаете, что ли?

— Зачем ухаживаем? — ответил Мухаметдинов. — Мы учиться ходим. Каменский учит — мы слушаем. Приду домой — ай-яй-яй какой умный приду. Как аксакал.

Курбатов насторожился. Тем более, что он заметил, как Галкин пихнул Мухаметдинова в бок: жест, должно быть, означающий «помолчи, не болтай лишку». Насторожился он еще и потому, что Каменского, начавшего читать в совпартшколе историю партии, Ленин когда-то называл штрейкбрехером.

Галкин понял, что тайна открыта, и деланно рассмеялся:

— Ну да, аксакал! По складам читать научиться бы нам с тобой — и то хлеб.

— Чему же он вас учит, Каменский? — поинтересовался Курбатов, стараясь казаться равнодушным.

— Да всему... Книги читаем. Достоевского он очень любит — читаем вслух.

Однако после этого исчезновения ребят прекратились, а Каменский разговаривал с Курбатовым подчеркнуто любезно. «Рассказать Гуляй-Зайцеву про эти занятия? — думал Курбатов. — А зачем? Чего здесь пло-

хого? Только почему всё это шло в тайне от других?» Он молчал — и молчал до тех пор, пока к нему не подошел Мухаметдинов:

— Слушай, Курбат, объясни... Совсем башка пустой стал... Объясни, пожалуйста, почему это мы социализм у нас не построим? А если я хочу строить, тогда что?

— Да кто тебе сказал, что мы не построим?

— Галка говорит. Он умный мужик. А ему Каменский сказал. А я не понимаю. Зачем не построим? Зачем тогда революцию делал?

Курбатов нахмурился. Вечером, подойдя к Галкину, он спросил его в упор:

— Слушай, что это ты болтаешь, парень? Почему это мы социализм не построим?

Галкин пожал плечами, отворачиваясь:

— Это только гипотеза. Есть много pro и contra, то есть за и против.

— Контра? — усмехнулся Курбатов. — Ах ты, кулацкая душа! Да что ты знаешь, что ты в жизни видел, теоретик сопливый.

Курбатов поднялся, вскочил и Мухаметдинов. Они вместе вышли из общежития.

— Дурак он, Галка... Ой, дурак!.. — коверкая слова, быстрой скороговоркой повторял Мухаметдинов. — Я приеду — всем расскажу... Нельзя такой дурак учить, бить надо такой дурак.

Курбатов шел, глубоко засунув руки в карманы куртки. У него было такое ощущение, будто он притронулся к чему-то скользкому, неприятному, холодному. «Член партии... — мучительно думал он. — Как же так, как же... Хотя... Трохов ведь тоже был большевиком... Потомственный пастух... Откуда такая душа? Кто научил его всему этому?»

Когда он вошел к Гуляй-Зайцеву, тот быстро спрятал в стол какую-то бумажку.

— Простите... — сказал Курбатов.

— А-а, это ты. Садись.

Он потер ладонями глаза и, вынув из стола бумажку, положил перед собой:

— Вот что, товарищ Курбатов... Тут из губкома пришло письмо... Данилов требует, чтобы мы сообщили официально, как преподает Каменский. На, почитай..

Курбатов, прочитав скупые строки запроса, отложил бумажку и, глядя Гуляй-Зайцеву в глаза, ответил с усмешкой:

— Я бы Каменского к нам даже уборщицей не взял. И если надо, я сам пойду к Данилову. Слышали бы вы, что Галкин говорить начал...

* * *

Каменского в совпартшколе больше не видели. Произошло это как-то тихо и незаметно, и вместо него лекции по истории партии начал читать Гуляй-Зайцев. Ребята вздохнули: пусть директор читал без особого блеска, но зато всё было ясно, просто, без выкрутасов.

Казалось, не будет конца учебе: каждый день открывал что-то новое, еще не известное, и Курбатов, вчитываясь в строчки сочинений Ленина, всё полнее постигал глубину и жизненную силу гениальной ленинской мысли.

Но однажды вместе с Гуляй-Зайцевым в класс снова вошел Данилов, и директор сел на скамейку рядом с Курбатовым. Данилов, как и тогда, оглядев ребят, улыбнулся:

— Ну, как? Выросли, поумнели? Суть постигли или глубже копнули? А я вот, грешен, уже забывать кое-что стал, снова садиться за книги надо. Ведь мы всю эту науку в тюрьмах проходили...

Он прошелся мимо столов и, поглядев в окно на улицу, сказал:

— Словом, прощаться нам пора, товарищи. Губком решил ускорить выпуск: людей у нас нет. — И повторил, словно бы в раздумье: — Да, нет людей-то...

Сначала никто не понял, что сказал Данилов, а потом все заговорили разом, перебивая друг друга, и Данилов, стоя у окна, наблюдал за аудиторией. Такого оживления у курсантов не было давно. Секретарь угадал чутьем: сейчас они рады, выше головы рады тому, что наконец-то начнется работа, по которой все стосковались. «Рановато радуются, — с какой-то неожиданной грустью подумал Данилов. — Хлебнут еще шилом папки».

На Данилова снова уставились десятки выжидающих глаз. Он шевельнул густыми колючими бровями:

— Вот о чем нам надо сегодня поговорить, товарищи... О том, что у нас нынче происходит. О жизни поговорим... О той, которая не в пивных да на базарах идет (он кинул короткий и чуть насмешливый взгляд на Галкина), а о настоящей жизни.

...С молодежью придется вам больше возиться. Политически отсталая ее часть всё еще не может понять и примириться с новой политикой партии. Есть случаи, что даже рабочая молодежь выходит из комсомола. Отдельные комсомольцы направляют свою энергию на разврат и хулиганство. Этому, конечно, и некоторые писатели способствуют — Пантелеймон Романов, Малашкин, скажем. Всё это нужно учесть тем, кто пойдет на комсомольскую работу. Мне кажется, что у нас в комсомоле насчет методов работы не всё благополучно. Нет разнообразия форм. Видимо, здесь что-то надо подправить. Молодежь не в пивные должна идти и не в рестораны, не на вечеринки, а должна идти в наши клубы, в которых пока от скуки мухи и тедохнут.

...Как видите, задачи у нас большие. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Будьте всегда целеустремленными, не позволяйте, чтобы вас захлестнула текучка. Но не относитесь высокомерно к черной работе и к «мелочам». Из мелочей и крупные дела вырастают. Вникайте во всё сами, серьезно анализируйте факты. К сожалению, у нас есть немало таких руководителей, которые не вникают, не анализируют происходящие внутренние процессы, пока обстоятельства не ткнут их носом. Такие могут лишь загубить дело. А нередко и мы допускаем ошибки в подборе людей: «Авось вытянет, вроде парень неплохой» — у нас еще это играет немалую роль.

Он замолчал, словно вспоминая, что еще хотел сказать, но, видимо, так и не вспомнив, кивнул головой:

— Вот вроде бы и всё...

* * *

Казалось, этого дня все ждали с таким нетерпением, а прощаться было грустно. Мухаметдинов, добрых полчаса тиская Курбатова своими смуглыми, сильными руками, быстро говорил что-то по-своему, и Курбатов вы-

рывался, шутливо ругаясь: да уйди ты, шайтан! Потом, отдышавшись, спросил:

— Куда ты сейчас поедешь? Где своих найдешь?

— Прибылызательно искать будем.

Оказывается, ему, чтобы найти свое кочевье, надо отмахать сотни верст, расспрашивая, куда ехать.

Галкин прощался с ребятами сдержанно, с достоинством: ему простили все грехи и назначили в экономический отдел губкома комсомола. Курбатова направили секретарем райкома комсомола в Няндому.

Узнав о назначении, Яков разволновался. Первой мыслью было: просить чего-нибудь полегче. «Справлюсь ли? А если нет? Как это говорил Данилов — авось вытянет, вроде парень неплохой... Ну и попроси чего-нибудь полегче, чего ж ты...»

Гуляй-Зайцев, словно угадав состояние Курбатова, спросил, обняв его за плечи:

— Что, страшновато?

— Страшновато, — сознался Курбатов.

— А знаешь, — задумчиво сказал директор. — Мне в восемнадцатом году полк дали... Целый полк! Чуешь, как мне-то страшно было? За тысячи жизней в ответе...

И закончил, словно сам удивляясь происшедшему:

— И ведь ничего — вытянул.

5

Как странно порой складывается жизнь!

Три года назад, глядя из окошка поезда на темный перрон, на далекие огоньки, на унылое, грязное здание няндомского вокзала, Курбатов не мог даже предположить, что ему придется работать здесь. И сейчас, сойдя с подножки вагона на ту же самую платформу, он увидел знакомое уже здание станции и те же мерцающие огоньки вдалеке; поезд прогудел и ушел, оставив за собой теплый запах влажного кокса. Курбатова никто не встречал, и он был даже рад этому.

С лубяной корзинкой в руке он спустился с перрона и, оглядевшись, пошел по улице, еще не зная, где райком. В губкомле ему объяснили, как пройти туда, но он волновался, думая о другом, и не расслышал половины этих объяснений. Спросить было не у кого: ули-

ца лежала перед ним тихая, безлюдная, будто вымершая, и только где-то далеко-далеко на разные лады перелаивались собаки.

Ночь была лунной, и густые черные тени заборов, деревьев, домов лежали на серебряной, припорошенной первым снегом земле.

Курбатову припомнилось другое. Там, в губкомоле, ему сказали так:

«Едешь на голое место. Есть несколько сот комсомольцев, но никто ничего не делает и не знает, как и что делать».

Из-за поворота, покачиваясь, вышли двое. Они что-то бормотали, придерживая друг друга, ноги у них заплетались. Курбатов не любил пьяных, — эта нелюбовь осталась у него с детства, когда он из угла смотрел испуганными глазами на бушующего дядю. Но ведь надо было кого-то спросить, где райком, и он спросил одного из гуляк, как ему показалось, менее пьяного.

Тот недоуменно поглядел на Курбатова:

— А на что тебе?

— Так, по делу надо.

— По делу, так и ступай... Может, ты сюда работать приехал?

— Да. В комсомол.

— А, ну тогда валяй, работай. Только зря хлеб жрете, вот что я тебе, рабочийчек, скажу...

— Почему?

— А потому! — пьяный неожиданно зарыдал, рванув свободной рукой ворот свитера. — Кровь мы за что проливали, а? Опять брюханы с цепочками через всё пузо пошли? Частных лавочек кто наоткрывал, а? Эх вы!..

Он выкрикнул это тоскливо и, выругавшись, снова пошел, шатаясь, с обвисшим на плече молчаливым приятелем, так и не показав, где же всё-таки райком. Курбатов невольно подумал: «Может быть — комсомолец? Как это он сказал: брюханы с цепочками... за что кровь проливали... Не понимают новой политики партии, злобятся, пьют... Да, действительно — на голое место приехал. Но ведь не все же так!»

Через час он разыскал райком. В окнах серого бревчатого здания не было света, и Курбатов, поднявшись на скрипучие ступеньки, долго чиркал спичками, чтобы найти хоть какой-нибудь звонок. На стук никто не

отвечал. Он уже отчаялся было достучаться, как там, за дверью, раздались шаги:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста.

— Кто это?

— Курбатов, новый секретарь райкома.

Негромко зазвенели какие-то многочисленные задвижки и цепочки; наконец дверь распахнулась, и Курбатов, шагнув в сени, увидел зябко поеживающегося паренька в накинутом на плечи полушубке. Тот держал в руках «летучую мышь»; в сенях пахло керосином и кислой овчиной.

— Мандат есть? — спросил паренек.

— Есть. Может быть, сначала в комнату проводите?

— Идите, — зевая, ответил тот: у него получилось — «ы-ыте!»

Курбатов вошел в большую, холодную, нетопленную комнату, заставленную столами и шкафами. При неверном свете фонаря он разглядел поблескивающую по углам изморозь, окна, словно покрытые разноцветными перышками, выцветший плакат во всю стену: «Ударим по старому быту!» и, наконец, заспанное лицо открывшего ему паренька.

— Ты что — живешь здесь?

— Нет, дежурю. Так вы давайте мандат... на всякий случай.

Курбатов, улыбнувшись, достал свои документы. Хорош дежурный! Он все кулаки отбил, прежде чем достучался. Такого дежурного можно вынести со всеми потрохами — и не разбудить.

Дежурный внимательно просмотрел документы и, возвращая их, отрекомендовался:

— А я — Уткин Иван, член бюро райкома.

— Вот как! — обрадовался Курбатов. — А работаешь где?

— В депо. Да вы садитесь, располагайтесь. Я сейчас дров принесу.

Через полчаса они вдвоем сидели возле печки, смотрели, как в черные трубочки сворачивается береста, как шипит на поленьях вода, и Курбатов слушал негромкие, какие-то, пожалуй, даже тоскливые слова Уткина:

— Девать себя некуда. Вот только в компании, в буфете за пивом и находят себя ребята. В комсомоле у нас

скучно. Одна политграмота. Ребята на нее по обязанности спать ходят, но скоро пошлют ее к черту. Мы уже квалифицированные рабочие, некоторые помощниками машинистов ездят. Скука — она, как червяк, сосет.

— Чем же всё-таки молодежь занимается? — спросил Курбатов.

— Многие устраивают семейные вечерухи с выпивкой. Что там иногда бывает — рассказывать тошно. Недавно одна комсомолка повесилась после этих вечерух. В комсомоле у нас нынче только треплются, а дела не видно. Скажи, разве хорошо, что комсомол не помог той же девушке, даже морально не поддержал ее? А об этом и секретарь райкома знал, что нелады с девчонкой.

— Конечно, плохо, очень плохо! — задумчиво ответил Курбатов.

— Видишь, и ты говоришь — плохо. Так зачем такой комсомол нужен? Мы все не знаем, куда девать себя. И так-то в глуши живем, ничего не видим. Молодежь потому и гулять ходит на станцию, что там хоть новые лица в поезде видят. Ничего у нас нет. Клуба нет. Учпрофсож давно обещает пригласить инструктора спорта, да одними обещаниями и кормит. Все треплются. От этого еще хуже: ребята никому не верят, особенно таким приезжим, как ты. Некоторые уже из комсомола выходят. Да по совести и мне неинтересно стало... Гоняюсь за ребятами, чтобы членские взносы платили. А это разве дело?

Курбатов смотрел на огоньки, перебегающие по полям, и ответил не сразу:

— Всё это ты верно говоришь, Ваня. Такое положение не только здесь. А работать всё-таки нужно. Нужно здесь всё перевернуть. И перевернуть всё надо так, чтобы в комсомоле каждому парню и девушке интересно было.

Уткин смотрел на Курбатова с нескрываемой усмешкой, а потом резко сказал:

— Брось трепаться-то, товарищ секретарь! И до тебя все так говорили. Все вы, активисты, трепачи. Вы только циркуляры писать можете: «Усилить, оживить, улучшить и принять меры». Знаю я, мне управдел райкома жаловался, что за три месяца из губкома штук сто циркуляров пришло.

— Это ты тоже, пожалуй, правильно говоришь. Только учти, что циркуляры и хорошие есть, только их выполнять надо.

Курбатов поглядел на кислую физиономию Вани и неожиданно расхохотался:

— Ой, член бюро! Так-то ты мне помогать думаешь? Ну, вот что: когда я буду делать не то, ты мне честно об этом скажешь. По рукам? Мне, брат, твоя помощь вот как нужна.

— Что я-то один сделать могу? — так же кисло ответил Уткин. — Хочешь, завтра после работы я к тебе ребят в райком приведу? Ты поговори с ними. Только знаешь, не загибай — попроще и прямо. Много им не обещай. А то вдруг наговоришь, а кишка у тебя тонка окажется — противно будет.

Курбатов, соглашаясь, кивнул.

— Значит, по рукам!

* * *

Хотя всю прошлую ночь в поезде он не спал, ему не спалось и сейчас. Вместе с Уткиным он сдвинул два стола, постелил тулуп, накрыл его своей простыней и лег, стараясь как можно плотнее подвернуть под себя со всех сторон концы шинели. Уткин спокойно посалывал на своем столе, а Курбатов глядел на раскаленную до вишневого цвета дверцу печки и уснуть не мог. Глаза ему словно бы натерли песком, так что их больно было закрыть.

«Так дальше нельзя, — думал он. — Ребята выходят из комсомола... Тоска появилась... Всё им уже надоело, они не верят, что можно жить иначе. Формы комсомольской работы надо изменять, приспосабливать их к потребностям молодежи — об этом все говорят. Внести в них политическое содержание... Как всё просто на словах!.. Таким образом молодежь в делах и будет воспитываться. Культурничество? Вот так и можно увязать политику и культурничество. Как об этом «Комсомолка» писала? Забыл, завтра найду газету...»

На другой день Уткин привел в райком ребят и познакомил с ними Курбатова. Были тут Алеша Попов, Кузя Лещев, Шура Маркелов, Тося Шустрова и Ваня Иванов — «Карпыч», как звали его ребята. Все неторопясь поздоровались, расселись по скамейкам.

— Начнем? — спросил Курбатов.

— Что, опять под протокол? — с усмешкой протянул Карпыч. — Тогда мы и говорить ничего не будем. Нам сказали, что ты с нами познакомиться хочешь, а выходит — сразу на совещание нарвались. Уж лучше мы по домам пойдем!

Курбатов, коротко рассмеявшись, весело тряхнул головой:

— Никакого совещания у нас не будет и протокола тоже. Ведь знакомиться — это не значит смотреть друг на друга и молчать.

— А ты не загинай, — снова буркнул Карпыч. — Этим нас не купишь. Говори прямо: зачем мы тебе понадобились?

Теперь Курбатов ответил резко, он совсем не думал подлизываться к ребятам:

— А ты не бузи здесь. Не знаешь, о чем будет речь, так не мешай и за всех не говори. Другие, может, и не по-твоему думают. Тебе неинтересно — мы тебя не держим.

— Давай, выкладывай, что там у тебя, — уже примирительно сказал Карпыч, отворачиваясь от злого взгляда Курбатова.

А Курбатов уже не знал, с чего ему начинать и о чем говорить. Да, его предупреждали, что будет трудно, но меньше всего он ожидал такой встречи с комсомольцами. Что это: недоверие к новому секретарю или больше — неверие в то, что комсомол может быть живой, деятельной, боевой организацией? Злоба душила его. Он не винил людей, сидящих перед ним: в конце концов они не виноваты. Но какой равнодушный человек был тут раньше!

Курбатов с трудом расстегнул ворот гимнастерки: дышать сразу же стало легче. Он и не заметил, как Карпыч подошел к нему и, взяв за плечо, тревожно тряхнул несколько раз:

— Эй, секретарь, что с тобой? Может, воды дать, а? Ребята, да что с ним...

— Ничего, — улыбнулся Яков. — Это у меня после ранения... Сейчас пройдет...

Он смущенно, будто извиняясь за что-то, провел рукой по коротко подстриженным волосам и, зябко передернув плечами, начал говорить:

— Так вот, собственно, что у меня... Спортивный кружок надо организовать в Няндоме — раз!..

Ему не дали договорить, что же будет «два»: все загалдели, замахали руками, пытаюсь перекричать один другого. Курбатов ничего не мог разобрать и напрасно пытался утихомирить ребят. Они кричали каждый о своем:

— Какой там к лешему спорт, когда инструктора нет.

— А костюмы, а снаряды?

— Деньги нужны, а где их взять?

— Помещение...

Обо всем Курбатов думал этой бессонной ночью; он так же возражал сам себе, спорил с самим собой, и поэтому сейчас у него был готовый ответ:

— Инструктором буду я сам — кой-что смею в этом деле. («Ого! Ай да секретарь!») Костюмы — вещь нехитрая: у ребят — трусы, а у девчат — шаровары, как-нибудь раздобудут сами. («Это верно!») Деньги? Устроим платный вечер — вот вам и деньги. Да еще и учпрофсоюз обещал дать немного. Помещения пока не надо, будем заниматься в райкоме, в соседней комнате.

— Вот это уже дело! — не удержался Алеша Попов. — Тебе бы с этого и начинать, секретарь. Попробуем, ребята, может, что и получится? Только бы вот руководитель не подкачал...

Было уже поздно, ребята устали, и Курбатов отпустил их.

И в том, как они прощались, крепко встряхивая его руку, он почувствовал, что разговор прошел не зря, что первая искорка уже заронена, что ребята пусть немного, но ожили, и это хорошо, просто очень здорово и хорошо.

Карпыч уходил последним. У дверей он замешкался и, когда комсомольцы вышли, прикрыл за ними дверь, потом потоптался на пороге и обернулся:

— Ты... вот что...

— Что?

— Я говорю, не дело тебе... здесь жить. Холодно и вообще... непорядок. У нас дежурные комнаты для машинистов есть, ровно гостиница. Мы потолкуем с начальником тяги.

— Спасибо.

— Ну вот еще... А обедать там и прочее — семью подыскать надо, пусть берут тебя «на хлеба».

Он хотел еще что-то сказать, но, так и не сказав, ушел, на ходу нахлобучивая огромную, когда-то пушистую, а теперь драную меховую шапку. Курбатов глядел на его блестящий от мазута ватник, треугольнички кожаных «пяток», подшитые к валенкам, и внезапное тепло словно бы облило его. Ему захотелось догнать этого крикливого, задиристого паренька, схватить и, встряхнув так же, как тот встряхивал его, сказать... Что сказать? Да ничего особенного: сказать, что он, Яша Курбатов, просто счастлив, что его прислали сюда, на это «голое место», которое вовсе не такое уж и голое...

* * *

Дня через три во всех ячейках состоялись открытые комсомольские собрания. Вместе с секретарем райкома партии Лукьяновым Курбатов пришел на комсомольское собрание в депо и сидел в президиуме, слушал, как, заикаясь и заплетаясь на каждом слове, Карпыч докладывает о спортивном кружке. Лукьянов тоже слушал: вдруг он толкнул Курбатова в бок и, хитро подмигнув, прошептал:

— Кажется, пошлѐ, а?

— Кажется, — тоже шепотом ответил Курбатов.

— Только докладчик-то у тебя... Всю игру испортит. Давай-ка сам.

Курбатов выступил сразу после Карпыча. Собственно, он повторил всё то же, что говорил тот, только более дельно и связно. Его слушали внимательно; тихо было в холодном помещении депо, и Курбатов даже вздрогнул, когда из задних рядов донесся громкий голос:

— Я же говорил — свой в доску!

Все зашикали, кто-то рассмеялся. Курбатов увидел, что ребята выпихивают кого-то к столу президиума, а тот упирается и отмахивается.

— Вы что, говорить хотите? — спросил Курбатов, мучительно вспоминая, где он видел строптивого парня, этот насмешливый рот и вздернутый нос с широкими ноздрями.

— Хочет, — кричали из задних рядов. — У него идея есть.

Но парень так и не выступил.

Он подошел к Курбатову после собрания и, хлопнув секретаря по плечу, сказал:

— Здорово, братишка! Что смотришь на меня? Не узнал? Помнишь военмора Ивана Рябова с крейсера «Чесма»? Мы с тобой на этой станции и познакомились. Помнишь, как спекулянтку-мешочницу с поезда за борт высадили? Я уже два года, как демобилизовался.

Курбатов вспомнил и обрадованно схватил Рябова за руки:

— Так ты что — здесь теперь?

— Да, здесь и якорь бросил. Женился, ребята уже пошли. Я, брат, теперь к этому месту просмоленным концом пришвартован. Работаю, смазчиком заделался. А по вечерам всё больше с молодежью вожусь, всё еще не перебесился и к покою меня не тянет. Уж за это и старуха меня пилит, но ничего... — Он перевел дыхание, оглянулся и, оттащив Курбатова в угол, быстро зашептал: — Давно у меня, секретарь, одна морская идея есть. Здесь кругом воды много; можно бы нашу братву морскому делу обучать. Ведь черт его знает — может, и пойдет кто-нибудь из них на флот, так надо, чтоб он не сопливым салаженком был, а хоть на шлюпке ходить мог. Я здесь и мастера нашел — берется шлюпки сделать. За одним дело — денег нет. Каждая восемьдесят рубликов. Не шутка на новые деньги-то, На нашу братву штук пять шлюпок надо иметь, а это, почитай, полтысячи рублей.

Курбатов благодарно посмотрел на бывшего моряка.

— Мы твое предложение на бюро райкома обсудим, ты и доклад сделаешь, — сказал он.

— Нет уж, уволь! — испугался Рябов. — Какой я докладчик. Я лучше дома палубу буду драить и в камбузе за жену управляться, чем доклад делать. Не могу я и не умею. Тебе всё расскажу, а ты как знаешь.

Курбатов словно не расслышал его. Всё в нем радовалось сейчас. Всё складывалось к лучшему и, главное, исходило не от него самого, а от ребят. Сейчас зима — ну так что ж, было бы действительно здорово спустить весной на озеро шлюпки! Рябов показался ему — как

и Карпыч несколько дней назад — самым родным на земле человеком.

Потом они шли по улице, и Рябов со смехом вспоминал, как высаживал из поезда спекулянтку. Курбатов тоже смеялся, ясно представив себе расплывшееся лицо и резкий, плаксивый голос бабы.

— А ты знаешь, браток, — говорил Рябов. — Я ведь еще раз эту мешочницу повстречал. В поселке на базаре. Она меня, стерва, сразу узнала. Смотрела, смотрела — да как заорет на весь базар, мозоль ей на нос: «Держите его, держите его!» Ну, тут милиция, ясное дело, — за конверт меня и в кружку. Привели в отделение милиции. Старшой спрашивает: «За что взяли?» Милицейский отвечает, мол, у женщины спросите. «Рассказывайте, мамаша», — говорит старшой. Та и рассказала, как я ее из поезда посадил. Старшой слушает, а не понимает. Я и говорю ему: «Дозвольте туман рассеять и ясность внести». И всё рассказал, как дело было. Здорово все смеялись. Старшой и говорит: «Ничего я не могу теперь с ним поделаться, гражданочка. Срок давности вашей жалобы прошел, да и свидетелей у вас нет». Обругала эта баба меня снова, да и я в долгу не остался.

Он помолчал, улыбаясь этим, очевидно, приятным ему воспоминаниям, и вдруг заговорил совсем о другом:

— На бюро-то я приду, а уж доклад о шлюпках ты сам сделай. Ладно? Спортом я тоже заниматься буду и своего штурмана захвачу. Это я жену штурманом зову, потому как она курс моей жизни теперь прокладывает.

Ему надо было домой, они простились. Яков, шагая к райкому, прислушался, как хрустит под ногами сухой снег, и внезапно вспомнил слова Лукьянова: «Кажется, пошло!»

6

В конце месяца неожиданно ударили сильные морозы. Ветер гнал по самой земле сухую порошу, обнажая голую, твердую землю, в ночной тишине оглушительно трещали деревья, и люди старались пересидеть холода в теплых домах.

Конечно, нечего было и думать о каком-либо спорте.

В райкоме тоже было холодно, хотя печки каждый день топились до белого каления. Ветхое здание не держало тепло. Курбатов, всё еще живший в райкоме, просыпаясь по утрам, боялся вылезти из-под тулупа. Однажды, протянув руку к стакану с водой, он нащупал осколки: стакан разорвало льдом.

Но надо было вставать, одеваться, мыться, идти на улицу. Он и не предполагал, что сразу же начнется «текучка» — множество на первый взгляд мелких, но всегда неотложных дел. В райком уже приносили заявления и жалобы; пока не было штата, приходилось во всем разбираться самому, потому что члены бюро после работы просто с ног валились от усталости. Лукьянов, внимательно присматривавшийся к Курбатову, как-то раз вызвал его к себе в кабинет и, растирая красные от холода руки, сказал, будто бы обращаясь к ним, а не к комсомольскому секретарю:

— У тебя сколько жил?

Курбатов промолчал.

— Почему ты всё хочешь делать сам? А где актив? На одном спорте и даже шлюпках далеко не уедешь. А деревней кто будет заниматься? Думаешь, тебя в деревнях не ждут? Еще как ждут! Вот подумай-ка на досуге.

Но «досуга» у Курбатова как раз и не было.

Его разбудили этой же ночью. Он не сразу расслышал стук, а когда вылез из-под тулупа и зажег свет, увидел, что дверь ходуном ходит от ударов.

— Кто там?

— Да ты замерз, что ли? — крикнули из-за дверей. — Скорее одевайся, беда!..

Он не почувствовал, как его обожгло морозом, когда вместе с Алешей Поповым выскочил из райкома. Попов бежал сзади, задыхаясь и сбивчиво объясняя, что произошло. Станция и поселок снабжались водой от водокачки, которая подавала ее из озера. От водокачки до озера на десять километров тянулись уложенные в траншею трубы. Снега сейчас было мало, земля не грела, и километрах в восьми отсюда трубы лопнули. «Как стакан с водой», — на ходу подумал Курбатов. Станция осталась без воды, нельзя менять паровозы, и скорый из Москвы стоит уже два часа.

Курбатов бежал к депо и только на полдороге поду-

мал: «А почему именно туда?» Он ясно представил себе растерянных ребят, замерзшие паровозы и мысленно ответил: «Да, надо туда...»

Лукьянов был уже на станции, когда Яков, запыхавшийся, красный, ворвался к начальнику тяги, впустив в комнату огромное белое морозное облако. Начальник сидел, обхватив голову руками, глубоко запустив пальцы в спутавшиеся волосы, и столько немного отчаяния было в этой неподвижной фигуре, что Курбатов поначалу опешил:

— Что случилось?

Начальник тяги поднял на него мутные глаза:

— Что случилось? — истерически крикнул он. — Да только то, что через сутки всё здесь полетит к чертям. Что я — святой? Куда я буду ставить составы? Где я возьму воду?

— Да замолчите вы... — оборвал его Лукьянов. Курбатов подошел к секретарю райкома партии и тихо спросил:

— Что же делать?

Секретарь ответил не сразу. Крупное, темное, в глубоких и резких морщинах лицо было напряжено, он морщился, будто от боли, и глядел куда-то в сторону.

— Несколько дней перебьемся, — наконец глухо ответил он. — Будем возить воду для паровозов из пруда.

— А потом? — снова закричал начальник тяги. — А потом что?

Лукьянов подошел к столу, поглядел на этого обмякшего, жалкого в своей беспомощности человека и, перегнувшись, сказал почти шепотом:

— А потом... Потом я отдам вас под суд за панику. Вы поняли меня?

Взяв Яшу под руку, он кивнул на дверь: пошли. Уже на улице, морщась и поглядывая на небо, густо усеянное звездами, Лукьянов проговорил в раздумье:

— В самом деле — что же потом?

— Надо ребят поднять. Большой участок промерз?

— А кто его знает. Трубы придется менять — это факт. Сумеешь комсомол на это дело повести?

— Надо... — неуверенно ответил Курбатов.

Алеша Попов ждал его в депо: приплясывая, он грелся возле большого кузнечного горна. Курбатов велел ему бежать и разбудить комсомольцев.

— Пусть все сразу идут в школу. Обсудим сообще-
положение и решим, что делать. Только скорей буди,
привлеку других.

Когда он пришел в школу, там уже было человек
двадцать или двадцать пять. Яков поздоровался сразу
со всеми. Ему ответил нестройный хор голосов, где-то
в углу раздался и словно замерз негромкий смешок,
и по тому молчанию, которое наступило за этим смеш-
ком, он безошибочно понял: все ждут с нетерпением, что
он скажет.

Курбатов не торопясь стянул рукавицы и поднес
пальцы к губам. Сразу же в них появилась острая, ко-
лющая боль. «Неужели успел обморозить?» Непослуш-
ные, задеревеневшие суставы спибались и разгибались
с трудом.

— Ты потри их, — советовал кто-то из темного угла.

В школе собралось уже человек полтора-два. Курба-
тов, сидевший на низенькой, неудобной парте рядом
с деповскими комсомольцами, с удивлением увидел, что
в большом классе полным-полно; все разговаривали
тихо, вполголоса, многие еще не опомнились от сна, и те-
перь кое-кто пристраивался поудобней, чтобы доглядеть
оборванные сны.

Можно было начинать, но Курбатов не спешил.
Сердце у него радостно колотилось: «Пришли, при-
шли... В мороз, сонные, пришли!.. Какое же это «голое
место»?..»

Алеша Попов ткнул Курбатова в бок: «Ну чего же
ты?» Яков с трудом выбрался из низкой и узенькой
парты, поднялся на скамейку, так, чтобы его всюду
было видно. В классе горело несколько керосиновых
ламп.

Ребята уже знали, чем вызван этот ночной аврал.
Курбатов не мог ничего добавить к тому, что было из-
вестно. Но когда он сказал, что райком партии и рай-
ком комсомола решили поднять комсомольцев, чтобы
срочно чинить трубопровод, — словно ветер прошелся по
классу.

— Пойдем, конечно...

— Да чего там митинговать!

— Домой только забежать надо...

— Водка своя или казенная?

— Эх, всё едино, ребята!..

Курбатов прислушивался к разрозненным голосам, пытаясь уловить хоть одну нотку недовольства, — и он услышал ее. Но она была слабенькая, тонушая в других голосах, и Яков сделал вид, будто ее и не было. Он поднял руку, и снова в классе стало тихо, только кто-то кашлял, закрывая варежкой рот.

— Будет трудно, — хмурясь, сказал он. — Морозец, сами знаете... Надо будет вскрыть полтора километра траншеи, а земля промерзшая. Жилья кругом нет... Так что одеваться потеплее. У кого есть ломы, кирки — брать с собой. Соберемся мы все через час возле депо. Всё ясно или будут прения?

— Не будем преть, — буркнул Карпыч, — чего там... Давай, секретарь, кончай агитацию.

Очевидно, вспомнив свою недавнюю беседу с Курбатовым, он смолк и покраснел: вот ведь язык, опять занесло в сторону, как телегу на скользкой дороге.

— Тогда давайте выбирать штаб по руководству работами. Есть предложение — пять человек. Кто «за» — голосую.

Ребята поднимали руки и выкрикивали фамилии:

— Уткина!

— Попова Лешку!

— Карпыча!

— Курбатова!

— Семенову...

— Как будем голосовать — списком или персонально?

— Да чего ты kota за хвост тянешь, — раздался сердитый голос. — Голосуй списком!

Когда по промерзлым доскам простучали шаги выходящих из класса, Курбатов снова сел за парту. В райкоме ему уже нечего было делать. Через час — сбор, а надо еще пойти в депо, узнать, погрузили ли железнодорожники инструмент, где трубы, которые надо уложить взамен старых.

Но, когда класс опустел и Курбатов остался вдвоем с Карпычем, он почувствовал, что ему немного страшно сейчас: страшно идти на этот лютый мороз, в лес, за восемь километров, страшно пробыть на улице черт знает сколько часов, страшно потому, что неизвестно, чем всё это кончится.

Он подавил в себе этот страх каким-то необычайным,

даже, пожалуй, злым чувством: «Какого дьявола!.. Раскисаешь, как барышня. Когда завод горел — ничего, не струсил, а теперь...» Он поднялся, глубже запахивая отворот кисло пахнущего полушубка. Карпыч поднялся за ним.

— Как ты думаешь — все придут? — спросил Яков.

— Все, конечно. А впрочем, кто его знает, — пожал плечами Карпыч. — Может, найдется подлая душа. •

Курбатов долго смотрел на некрасивое, безбровое, будто сделанное из каких-то отдельных кусочков, лицо Карпыча и, неожиданно улыбнувшись, крепко шлепнул его по черному перемазанному мазутом рукаву ватника:

— А найдется — посмотрим...

* * *

Подлая душа нашлась.

Когда все построились на площади перед депо (собственно, строя никакого и не было: все приплясывали и толкали друг друга, чтобы согреться), Курбатов, вскарабкавшись на сани, крикнул:

— Если кто думает не работать или хныкать — выходи. Нам таких не надо.

Никто не вышел. Все по-прежнему приплясывали, переглядывались, кто-то в задних рядах затеял возню — грелись. Казалось, никто и не расслышал того, что кричал Яша. Алеша Попов тронул его сзади за полу: да что ты всё речи произносишь — пошли. В это-то время и отделилась от строя закутанная в женский платок неповоротливая фигура. Человек пошел к саням, и Попов шепнул Якову:

— Счетовод из потребиловки... Васька-интеллигент. Ясное дело.

Из рядов раздался смех, улюлюканье; Васька, словно подгоняемый им, побежал. Прямо перед собой Курбатов увидел удивительно красивые, какие-то не мужские глаза и услышал заикающийся, идущий из-под платка голос:

— Я нне ммогу... У мменя ммать забболела, ддома лежжит... Нне ммогу...

— Чего он там брешет, не слышно, — донеслось из рядов.

Внезапно Алеша Попов подскочил к Ваське и толк-

нул его так, что нелепая, закутанная фигура, медленно качнувшись, осела на сани. Курбатов, нагнувшись, схватил Попова за руку:

— Ты что? Не смей!

Попов вырвал руку. В морозном жгучем воздухе прозвенел его голос:

— Врет он, ребята! Он вчера до ночи на вечерухе гулял — выходит, мать не болела?

— Она утром заболела, — крикнул как можно громче Васька.

— Врешь! Сегодня она к нам приходила керосину одалживать.

Все толпились вокруг саней, задние напирали на передних, и покрытая инеем лошадь беспокойно вскидывала морду. Тут-то и крикнули из толпы:

— Гнать его из комсомола!

Очевидно, это предложение было уже наболевшим; Ваську в Няндоме не любили. Курбатов, человек новый, не знал этого. Но он снова, как и час назад в школе, почувствовал незримые нити, тянущиеся к нему от замотанных в шарфы и шали людей, от их сверкающих глаз, от посиневших на морозе губ, — и крикнул, стараясь перекричать всех:

— Пусть уходит. Выгоним на бюро райкома.

— Нет, сейчас! — требовал задыхавшийся от волнения Попов. Он уже стоял на санях и дышал Курбатову прямо в лицо. — Слышишь, сейчас! Голосуй, или я сам...

Курбатов еще раз обвел взглядом лица. Было ясно, что все выскажутся за исключение. Но нельзя — и он это понял подсознательно — нельзя было распускать страсти.

— Хорошо, — нахмурился Курбатов. — Будем голосовать. Но при одном условии: окончательное решение за райкомом.

— Голосуй!

Руки уже были подняты.

* * *

На пятом километре весь отряд растянулся по лесу в длинную цепочку, и Курбатов с тревогой оглядывался назад: не отстает ли кто-нибудь... Первые останавливались по его сигналу, последние подтягивались, а вдоль

рядов, задыхаясь, бежали члены штаба — считали, все ли на месте.

Над лесом стояла круглая яркая луна, бросавшая на снег голубые полосы света. Временами из мрака выступали засыпанные снегом, похожие на лисьи хвосты, длинные еловые ветки да серебряные, чуть искрящиеся стволы сосен.

Курбатов шел впереди. Он не чувствовал усталости, но порой словно забывался. Перед ним как бы исчезал этот лес, он переставал ощущать мороз, ему неожиданно становилось тепло и хорошо. Убыстряя шаг, он нагнал какую-то незнакомую девушку, которая с трудом переставляла ноги в огромных, видно по всему чужих, валенках. Почему-то Курбатову захотелось увидеть лицо этой девушки, и он взял ее под руку:

— Что, трудно? Трудно, я говорю, идти?

При неверном, тусклом свете луны он увидел только лишь узенькую щелочку в платке, а за ней — глаза, показавшиеся ему такими печальными и усталыми, что он невольно крепче взял девушку под руку. Она ничего не ответила.

А Курбатов уже думал о Клавье. Старая боль возвращалась к нему теперь всё реже и реже, но, быть может, именно поэтому всякий раз она казалась ему острее. Так и сейчас, вспомнив Печаткино, последнюю встречу с Клавой, Курбатов едва не застонал, сжимая потрескавшиеся, кровоточащие губы.

Потом он опять увидел глаза, не те — печальные и усталые, а испуганные, и улыбнулся, растягивая губы:

-- Чуть не заснул на ходу.

— Нельзя, — донеслось из-за платка. — Я знаю....
Надо всё время идти...

— А где мы?

— Уже пришли, кажется.

Яша с трудом отогнал от себя ленивую, страшную на таком морозе дремоту и, тяжело поднимая ноги, обогнал девушку. Передние уже стояли. Высокий человек, в огромном, до пят, тулупе что-то говорил, размахивая руками. Курбатов подошел к нему: это был начальник тяги, тот самый, который несколько часов назад чуть не плакал в своем кабинете.

— Вы здесь?

— Нет, — попытался шутить начальник тяги, — это тень моя. Где ваши люди?

— Ребята подходят. Надо разжигать костры. Пусть отдохнут.

— Отдохнут? — почти в испуге выкрикнул начальник тяги. — Вы с ума сошли! Какой здесь отдых — это же смерть... Работать, работать надо...

Он умчался куда-то в темень, путаясь в своем тулупе, потом появился снова и начал втыкать в снег небольшие колышки. Здесь проходил трубопровод. На бегу он крикнул Курбатову: «Организуйте же их!» — и снова куда-то исчез, будто растворился в густых иссиня-черных лесных тенях.

Через час всё переменялось в лесу. На очищенной от снега земле горели костры — сотни костров, цепочкой растянувшихся километра на два. Трасса, еще час назад казавшаяся мертвой, теперь ожила, и, хотя кто-то пошутил: «Эх, улицу отапливаем!», — стало теплее. Куда-то назад отступили густо поросшие мохнатым инеем ветви деревьев, похожие на молодые оленины рога. Земля, вбирая в себя тепло, почернела, будто обугливаясь от жаркого огня, а ребята, рубившие в лесу сосны, возвращались распаренные, красные, с ухарски сдвинутыми шапками.

Отрыть траншею оказалось, против ожидания, делом нетрудным. Курбатов и не заметил, чуть не пропустил тот момент, когда его лопата звякнула о трубу.

С трудом разогнул он ноющую в пояснице спину. «Полтора километра, — подумал он. — Нас сто пятьдесят человек... Один человек на десять метров. Но трубы надо менять не целиком. Значит, сможем». Он лег животом на край траншеи, неловко перевалился и встал, отряхивая с полушубка снег, перемешанный с землей. И только теперь он увидел, что уже светает. Над лесом поднималась, еле заметно светлея, робкая заря. Костры горели слабее, уже видны были и две палатки, и несколько шалашей, и какие-то люди, о чем-то оживленно разговаривающие возле траншеи. Курбатов пошел к ним.

Это были рабочие депо. Несколько человек уже сидело на корточках, ожесточенно раздувая паяльные лампы. Тут же стоял начальник тяги и еще несколько

не известных Курбатову людей: надо полагать, это были инженеры, прибывшие из губцентра. До него донесли слова:

— Трубы перекладывать не будем. Можно надеть муфты.

— А лед?

— Разогреем кострами...

Возле шалаша Курбатов встретил Попова. Тот выходил, вернее вылезал, оттуда на четвереньках и, встав на ноги, качнулся. В морозном воздухе резко запахло сивухой. Курбатов вздрогнул. Оттолкнув Попова, он нагнулся и откинул висящее на входе в шалаш одеяло. Человек восемь или десять комсомольцев сидели вокруг костра; по рукам шла бутылка, уже наполовину пустая. Один из парней, увидев Курбатова, широко улыбнулся и приветливо махнул ему рукой:

— А, секретарь! Залазь! Дымно тут у нас, зато... Давай, грейся. Давайте-ка сюда бутылку, ребята.

Курбатов молча смотрел на них. Сзади пытался просунуть голову в шалаш Попов. Курбатов снова оттолкнул его и тихо сказал:

— Всем выйти... Ну, живо!

Когда ребята вышли из шалаша, Курбатов взял у одного из них бутылку и, размахнувшись, отбросил ее в сугроб:

— Кто у вас десятник? Попов? Ну так вот: все десять человек идите домой. Чтоб я здесь вас больше не видел. На бюро поговорим особо...

Он видел то испуганные, то изумленные лица подвыпивших ребят, и его трясло так, как будто он стоял на морозе раздетым.

— Яков, ты что? — каким-то странным шепотом спросил Попов. — Мы же — погреться. И выпили-то всего ничего.

Курбатов, сощутив злые глаза, придвинулся вплотную к Попову:

— Всего ничего? Тебя как былинку шатает... Дезертиры!

Резко повернувшись, он пошел к траншее. Ребята уже кончали работу, вылезали наверх, распрямляясь и облегченно вздыхая. Курбатову показалось, что народа здесь стало больше. И в самом деле, чем дальше он шел вдоль траншеи, тем чаще встречались деповские

рабочие, железнодорожники. «Когда они успели прийти сюда?» — с удивлением подумал Курбатов.

Он заметил пожилого машиниста Федосеева; с ним Курбатов познакомился недавно в райкоме партии. Набирая на лопату землю, он быстрым, коротким движением выбрасывал ее наверх. Курбатов окликнул его.

— А мы сразу за вами пришли, — улыбнувшись, ответил Федосеев. — Триста с лишним душ...

Курбатов спрыгнул в траншею, еще не веря, не ослышался ли.

— Ты что — не веришь? Где ты был?

— Траншею копал.

— А руководил кто?

— Начальник тяги.

— Вот то-то и оно... Мы с Лукьяновым посмотрели на тебя, посмотрели, да и пошли.

— Как с Лукьяновым?

Федосеев спрятал хитроватую усмешку:

— А ты думаешь, один комсомол здесь со всем справится? Нет, секретарь, пока ты там лопатой ковырял...

Он не договорил. Сверху раздался голос Лукьянова:

— Вот он где! Вылазь, Курбатов, пошли греться.

Лукьянов, весь покрытый инеем, стоял у края траншеи и уже протягивал руку — помочь Курбатову вылезти. Когда Яков встал рядом с ним, тот укоризненно покачал головой:

— Хорош секретарь, нечего сказать. Теперь неделю в бане не отмоешься. Ну-ка, пойдем к костру.

По пути он молчал. И Курбатов чувствовал, что у Лукьянова к нему есть какой-то разговор, и, судя по всему, разговор не из приятных. Так оно и получилось. Глядя на Курбатова из-под белых бровей, Лукьянов спросил так же, как только что спрашивал машинист:

— Ты где был?

— Копал с ребятами.

— Личный пример?

— Да.

— А всё остальное предоставил этому истерику — начальнику тяги? Сейчас ко мне твои ребята прибежали, которых ты домой отправил. А в том, что они напились, ты виноват.

— Я? — Курбатов был поражен.

— Да, ты. Чего глаза выпялил? Неужели сам не по-

нимаешь? Ты должен был организовать ребят, возглавить их. А ты — землекопом. Удобно! Спортивную работу — ты ведешь. Лодочную секцию — ты возглавил. Ты что ж, за своих комсомольцев скоро и дышать будешь? Помнишь, я тебе говорил насчет актива... Забыл? А я вот помню.

Курбатов не мог понять, почему для такого разговора Лукьянов выбрал именно это время. Некогда, работа горит, а секретарь разговаривает так, будто они ненароком встретились в коридоре райкома. Не мог понять он и того, в чем его вина, и ему было неприятно, что ребята пожаловались Лукьянову. Он спросил:

— Что вы сказали Попову?

— Я тоже послал их домой, — ответил секретарь, держа над огнем руки в варежках и следя, как над ними поднимается легкий пар. — Но, кажется, они не ушли... Почувствовали, что виноваты, это для них урок, они теперь горы свернут. А ты вот — почувствовал?

Яша махнул рукой и засмеялся. Но Лукьянов смотрел на него почему-то печально.

— Сколько тебе лет, Курбатов? — вдруг неожиданно тихо спросил он.

— Двадцать один, — так же тихо ответил Яша.

— Эх, мне бы твои годы, — усмехнулся секретарь райкома. — Ну да иди. Иди, проверь каждую десятку, собери штаб... А то штабисты твои, на начальство гляючи, тоже землекопами заделались. И пусть ребята отдохнут...

Отдыхать, однако, пришлось нескоро.

Внезапная мысль Курбатова о том, что над траншеей с трубой надо насыпать вал, встретила у всех одобрение, и ребятам пришлось рыть еще одну траншею, таскать землю, разогревать ее кострами. Эту работу поручили только комсомольцам. Но много ли могли нарыть они, усталые, валяющиеся с ног? Курбатов видел посеревшие лица, какие-то отупевшие, словно ничего не видящие вокруг, глаза и понимал, что дальше так работать нельзя. Было уже часа два дня, — стало быть, работали они без перерыва восемь часов. В иное время, быть может, ничего страшного в этом и не было бы, — Яков помнил, как там на заводе, в Печаткине, выдерживали и по двадцать часов, но сейчас был сильный мороз.

Из леса на лошадях всё время подвозили длинные прямые «хлысты» сосен; тут же их пилили, кололи, и огонь, поначалу нехотя полизав промерзшую древесину, разгорался. Возле костров было тепло; Курбатов распорядился — всем отдыхать, но не спать.

Он всё ходил, всё всматривался в лица. Возле одного из костров он увидел Попова; тот, заметив секретаря, быстро отвернулся. И Курбатов прошел мимо...

Быть может, подсознательно он искал сейчас ту самую девушку, с которой пришел сюда. Но как ее узнать среди десятков таких же, как она, закутанных и поэтому похожих одна на другую? Он выругал себя за это желание — увидеть ее опять — и подсел к костру, вокруг которого были навалены еловые ветки.

Тут же он почувствовал, что его неудержимо клонит ко сну. Тяжелые, набухшие веки закрывались сами собой, глаза резало, жгло, он с трудом мог дотронуться до них, чтобы смахнуть слезы. Языки пламени вдруг то тускнели, то раздвигались и вырастали; Курбатов боролся с желанием повалиться на еловые ветки и заснуть хоть на полчаса.

Он не заметил, как удивленно посмотрели на него ребята, когда он, пошатываясь, встал и зло выругался, не заметил, как один за другим поднимались они за ним следом, медленно разбирали лопаты, ломы, кирки, как шли за ним, неловко спрыгивали в ямы...

Он словно бы очнулся, сделав несколько взмахов лопатой. Сонливость прошла. Его колотил легкий озноб. Но и озноб скоро прошел. Курбатов уже весело посмотрел на соседа: рядом, плотно стиснув губы, посапывая, копал Попов. Яков тихо рассмеялся и, выбросив наверх лопату с землей, крикнул:

— Ну, как хмелек-то — прошел? Или опохмелиться надо?

Попов медленно повернулся к нему; Яков увидел такое же, как у остальных, посеревшее, осунувшееся лицо, ввалившиеся щеки и синие густые тени возле глаз.

— Ты... прости меня, Яшка, — необычным шепотом сказал Попов. — Больше я в рот не возьму... Помирать буду — не возьму.

— А чего ты шепчешь-то? — засмеялся Курбатов. — Ровно в любви объясняешься.

— Боюсь громко говорить... Вот...

Он кашлянул и сплюнул на снег. Яков увидел небольшое кровавое пятнышко, которое сразу же замерзло. Курбатов шагнул к Попову, взял его за плечи, но Алешка быстро отвернулся и стал ожесточенно грызть лопатой непослушную, твердую землю...

7

В конце декабря Лукьянов вызвал к себе Курбатова и, разбирая на столе какие-то бумажки, сказал:

— Когда поедешь на село?

— Хоть сейчас.

— Ишь ты, какой скорый. Впрочем, сейчас — не сейчас, а завтра поезжай. За тебя останется Попов. Как он — выздоровел?

— Да. Но...

— Боишься, не доверяешь? — прищурился Лукьянов. — А зря. Вот ты, значит, и не заметил, как твои хлопцы после водопровода изменились. Я тут шел как-то по улице, впереди двое деповских ребят идут. Вдруг слышу: «А ведь здорово это было, с водопроводом-то. Я три дня отогреться не мог. А потом опять „мероприятия“ пошли». Нет, брат, этот водопровод так ребят поднял, что им теперь только дела, а не мероприятия подавай. Так что не бойся за Попова, он еще и тебя перекроет.

Курбатов передал Попову все дела, которые казались ему неотложными, и, взглянув в лицо друга, потребовал:

— Сам всё не делай. Карпыча как следует впряги, Смирнову, Лещева, Маркелова. Понял?

Алешка поправился не совсем, и было решено отправить его весной на юг. С продуктами в Няндоме было еще плохо; Курбатову удалось добиться для Попова единовременной денежной помощи, но и этого было мало. Сейчас, отправляясь в деревню, Яша собрал у ребят денег и кой-какого барахла — обменять на сало и масло для Попова.

Сборы у него были недолги. В железнодорожной охране ему выдали наган и две дюжины патронов к нему: так, на всякий случай, как объяснил Лукьянов.

И вот уже всё позади; далеким и тяжелым сном кажется лес, где трое суток ребята рыли и таскали землю. Морозы прошли, прошли и сменились медленными снегопадами, густо закрывшими землю. Низенькие дома Няндомы скрылись в сугробах, и даже птицы, наверно, не могли определить, где человеческое жилье, а где холмы, накрытые пушистыми снеговыми шапками.

Всё позади... Рысью бежит пара лошадей, запряженных в сани-кибитку; мерно звенит колокольчик на дуге у коренника, звякают шоркунцы на шее пристяжной. Ямщик то соскакивает и семенит рядом с санями, то быстро вскакивает на облучок и правой ногой, обутой в валенок, тормозит, не давая саням раскатываться по скользкой дороге.

Закутавшись в огромный овчинный тулуп, Яков лежал в санях, расспрашивая возницу о Лемже, куда они ехали. Однако мужик попался неразговорчивый. Вместо ответа он гладил свою бороду, усы, выковыривая из них сосульки. Борода у него была как печная заслонка — большая, черная, и весь он был похож на какого-то патриарха этой северной, лесной глухомани.

Всё же Курбатов расспрашивал настойчиво о жизни деревни, о бедноте, о кулаках. Мужик поначалу отвечал односложно, а потом разговорился, и Курбатову порой приходилось перебивать его, чтобы направить разговор в нужное русло.

Его новый знакомый, надо полагать, был крепким середняком; в его словах нет-нет да и проскальзывали такие подкулацкие нотки.

— Вот ты, паря, говоришь: беднота, беднота, а что от нее проку-то, от бедноты? Она потому и беднота, что работать не хочет. Лодыри они, вот кто. У хозяйственного мужика прокорм всегда будет, потому он работает, не жалея себя. А лодырь, он до рождества и то впроголодь живет. Всё у него валится, а он больше на печи лежит и не думает об этом, как будто не его изба, хлев там али амбар. Как сеять надо — он и идет к крепкому мужику семена просить. Такому мужику спасибо бы надо сказать, а его начинают окулачивать, равнять с нашим Прошкой Рубцом. Рубец — тот взаправду наживается на нашей крестьян-

ской нужде. Я тебе, паря, прямо скажу: беспокойная жись у нас в деревне. Крепкие мужики думают: непá, мол, — и я за непой, как теля за маткой. А когда к нему лодырь-то приходит за семенами на высев, ему конечно, неинтересно так на так давать: он с выгодой дает. Вот и заделывается прижимщиком. Своего же брата мужика прижимает. Неужто власть не понимает, что не бедняк-лодырь ей опорой-то должен быть, а трудовой мужик, который работает и у которого и себе хватает, да он еще излишки сдает.

Так рассуждал ямщик. Курбатов почти не знал деревни, ему трудно было вступать в спор. Он лежал и внимательно слушал. В саях пахло свежей сеной прелью, сухим полевым цветком. Курбатов выбирал из сена отдельные стебли и грыз их, сплевывая горькую слюну.

На вопрос о деревенских комсомольцах ямщик отвечал с прежней, какой-то злой разговорчивостью:

— Их-то у нас всего ничего. Неплохие вроде ребята. Их власть всё боле на побегушках использует. Они и налоги выколачивают, и с обыском насчет самогонки ходят. А бабы вот в обиде на них. Ну, и мужики тоже... Они против бога и всей леригии выступают. Вон на-медни у Симки Кривого сынок-то, комсомолец, что отчебучил. Лики святых угодников да богородицы картинками заклеил. Сколько там — неделю, а то и боле — семейство на эти картинки молилось да не замечало. Ну, известно, отец здорово его поучил за это. Чичас в больницу свезли, так комсомолы эти на отца родного на суд подавать хотят. Разве порядок это? Вот всё больше за это отцы да матери и не пускают к комсомолу ребят да девок.

Показались тускло светящиеся окна деревенских изб.

— К председателю сельсовета везти али куда? — спросил ямщик.

— Вези к председателю, — сказал Курбатов. Скоро они подъехали к дому, стоявшему в самой середине деревни. Яков выскочил из саней, стал разминать занемевшие ноги. На звук колокольчика кто-то вышел из избы на крыльцо с фонарем в руках. Это был сам председатель сельсовета Егор Русанов. Они поздоровались; Русанов посветил Курбатову и провел его в избу.

В большой горнице стояла огромная русская печь. Во всю длину печи, на высоте человеческого роста были полати; под ними, в углу, за холстинной занавеской — большая деревянная кровать. Несколько лавок, остывший самовар в красном углу да кадушка с водой — вот и всё, что еще находилось в этой небогатой избе. Здесь было чисто; сладко пахло хлебом. На лавке за прялками сидели две молодые женщины, пряли лен. Веретена, крутятся, жужжали.

— Устя, поставь самоварчик. Товарищ с морозца — чайку попьет, согреется, — сказал Егор.

Одна из женщин положила прялку на лавку, взяла самовар и понесла его к печке. Скоро самовар вначале тихо, а потом громче запел, засвистел, словно живой.

Курбатов познакомился с Егором и объяснил ему, зачем он приехал.

— А и больно хорошо, паря! Как раз под рождество угадал! Посмотришь, чем наша молодежь занята.

За чаем Егор начал рассказывать про себя, и про положение в деревне, и про комсомол. Курбатов узнавал из его рассказа всё больше и больше нового, иногда удивляясь, иногда хмурясь и недовольно покачивая головой...

В Лемже была комсомольская ячейка, в которой насчитывалось пятнадцать комсомольцев из разных деревень, объединяемых сельсоветом.

Большое влияние на молодежь, как рассказал Курбатову Егор, имел Тимоха Рубец — сын местного кулака-лавочника. Он задавал тон, ребята на него равнялись. Даже гармонь в его руках — единственная на всё село — помогала ему. Ни одна посиделка не могла обойтись без Рубца. В этих краях никогда не видели кино, не имели представления о радио. Курбатов, уезжая, договорился с комсомольцами депо, что они в порядке смычки с деревней возьмут шефство над отсталой Лемжей, — и теперь видел, что это решение было правильным.

После беседы с Русановым Яков написал письмо в Няндому. Он просил, чтобы на рождество сюда прислали гармонь и кинопередвижку. Среди комсомольцев был гармонист — веселый кудрявый парень-батрак Мотя Заболотних, но гармошки у него не было.

На праздниках, в святки, молодежь веселилась. По

вечерам собирались на посиделках, ходили ряжеными и нередко выкидывали дикие, хулиганские шутки.

В один из вечеров парни мокрым снегом заморозили дверь в избу многолетней вдовы и досками закрыли трубу дымохода. Дым пошел в избу. Женщина и дети чуть не задохлись, их едва привел в чувство местный фельдшер.

Курбатов с секретарем комсомольской ячейки, Фейдей Ясиным, пошел на посиделку. В большой комнате под потолком горела простая керосиновая лампа. Молодежь сидела на лавках у стен. В середине горницы на табурете восседал Тимоха Рубец, хмельной, с грязными спутавшимися волосами. Стоя возле дверей, Яша слушал, как парни пели залихватские частушки с неприличными словами. После песен стали плясать, потом начались игры. К нему подошли две девушки:

— Тебе, городской, сахару надо?

— Мне? — удивился Курбатов. — Какого сахару?

— Ну говори скорее — надо или нет?

— А какой же у вас сахар?

Девушки переглянулись и засмеялись:

— Да не думай — не постный, а сладкий. Сколько тебе фунтов?

— Ну, для пробы давайте два фунта, — догадавшись, что это какая-то игра, ответил Яков.

Одна из девушек быстрым движением обняла его голову и поцеловала в губы, другая сделала то же.

— Ну что — сладко? Может, еще продать?

Курбатов, покраснев, отпрянул. Девушки, расхохотавшись, отошли. Он шепнул на ухо Ясину:

— Что это они так?

— А у нас это, Яша, запросто, парни часто с девушками целуются. У нас все игры с поцелуями. Подожди, еще ленты, смолу и всякую всячину будут тебе продавать...

Курбатов, накинув полушубок, вышел на улицу. Ясин, осторожно притворив за собой дверь, вышел за ним.

«Какая серость, темнота», — подумал Курбатов и спросил комсомольского вожака:

— Почему комсомольская ячейка красных посиделок не организует? Мы же вам и руководство послали. Получили вы такую книжечку?

— Книжечку-то получили, — махнул рукой Ясин. — Да какой толк, если гармонист у нас — сын мироеда. Ни мы к нему на поклон, ни он к нам не пойдет. Какие же посиделки без гармошки? На них и не придет никто.

Курбатов немного поостыл: то, что говорил Ясин, было правдой.

— Давай организуем показательные красные посиделки, — сказал он наконец. — Гармоника будет, а гармонист у вас есть. Ты приходи с ребятами в избу председателя сельсовета — обо всем и договоримся.

На другой день вместе с комсомольцами был составлен план первых комсомольских посиделок.

По поручению райкома партии Яков попытался провести собрание бедноты. Но на собрание никто не пришел. На другой день выяснилось, что Тимоха Рубец, наученный отцом, обошел бедняков и не только каждому из них угрожал тем, что отец откажет в помощи, но и грозился, что он им «все кишки выпустит». Пришлось ждать. По настоянию Курбатова, приехавший из волости милиционер арестовал Тимоху Рубца и отправил в уездный город Каргополь. Там его на время следствия и суда посадили в исправдом. Через неделю один из крестьян, ездивший в город, привез от Тимохи письмо к отцу. Крестьянин передал это письмо в сельсовет. Тимоха писал:

«Уважаемый папаша, здесь сидеть мне пока ничего. Очень меня беспокоит, как обернется дело, дыму им под хвост! — извиняюсь за нескладное слово.

Посули свидетелям угощение, пусть отвечают, что не провинен. Пришли, сделай милость, кое-какой жратвы, а то я здесь с голода пухну, и еще спроси у матери телогрейку, вредно дует под дверь, нет мочи терпеть. А затем прощайте, не забывайте, а сидеть мне здесь пока ничего.

Ваш сын Тимофей Рубцов».

Через три дня удалось собрать бедноту.

Курбатов пришел вместе с Русановым. С порога Яков увидел большого седого мужика с хитрыми черными глазами. Крутя в больших заскорузлых пальцах сигарку, он что-то рассказывал, и Курбатов невольно прислушался к его голосу.

— Захожу я, робяты, в амбар, гляжу — на мешке мышь сидит, сапог обувает. «Куда?» — спрашиваю. «Да чего-то у тебя голодно... — говорит. — Пойду по мужикам, которые побогаче». А жили мы с дедушкой богато, — было у нас двадцать котов дойных да два кота езжалых: один кот — иноход, другой — водовоз. Пахотной земли у нас было — печь да полати, да за столом лавки. Вот посеяли мы с дедушкой на печи рожь, на полатях овес. А бабушка наша, старуха резва, три дня на полати лезла, оттуль свалилась да на три части разбилась. А дедушка мой не промах был. Всегда за поясом лычко носил. Он бабушку лычком сшил, да еще три года с ней жил. Трех ребят с ней нажил... Всё это присказка, а сказка впереди будет. Я вот городскому товарищу о нашем ЕПО расскажу, о председателе Евлахе Бароне. Пускай спервоначалу товарищ из города объяснит нам: кто она такая ЕПА будет и для чего она у нас?

Курбатов не ожидал такого поворота и немного растерялся, когда мужик обратился к нему. Все смотрели на него, он видел десятки смеющихся, лукавых глаз.

— ЕПО — это, товарищи, единое потребительское общество, или потребительская кооперация, — справившись со своим смущением, ответил Курбатов. — Оно создано для того, чтобы снабжать своих пайщиков необходимыми в хозяйстве товарами.

— Ишь ты — «необходимыми товарами!» Значит, в нашем ЕПО всё должно быть? Так ведь, товарищ, я понимаю? — спросил один бедняк. — А у нас выходит наыверт, всё равно, что штаны через голову снимаем. Давай-ко, Прохор, расскажи...

Седой мужик, только что смешивший народ своей прибауткой, степенно откашлялся и огладил бороду:

— Извиняюсь, товарищ, ежели что не так скажу — вы уж не обессудьте. Только мы от своей ЕПЫ одни неприятности видим. Скоро все наши пай прахом пойдут. А всё это от председателя, от Евлахи происходит. Мы почему его зовем Бароном? До революции он в Питере у какого-то господина барона служил. С ним, он говорит, даже пристав за ручку здоровался. Ну, видел, как бере жили, какая у них культура была, и вот норовит нынче нас к этой культуре тянуть. Ну, прямо замучил, леший колодный. От этой его культуры не

знаем куда и деваться, да и убытки от нее большие. А Евлахе хоть бы хны: деньги-то не его в трубу летят. К примеру, расскажу вам об этой культуре. Он ведь, леший болотный, что выкомаривает — сказать стыдно.

Курбатов слушал рассказ Прохора с теплым чувством радости. Речь зашла о самом главном, о том, что больше всего волновало народ, и Курбатов понимал, что рассказывается это всё неспроста, что мужики надеются на его помощь. Крестьянин продолжал:

— Выбрали мы его, значит, приседателем; думаем — грамотный и в Питере побывал, так уж дело-то наладит. Ну, тут и началось. Он нас на культурную революцию потянул и товары такие стал завозить. Намедни летом завез душную воду. Говорит, что там, в Питере, барон завсегда этой водой прыскался, чтобы, значит, дух хороший шел. А кому она, эта «душная вода»-то нужна? Девки и то ей прыскаться не хотят. Попробуешь на язык — опять же самогонка лучше. От нее вонь одна да язык щиплет. Ну и пришлось Евлахе всю эту воду обратно в город везти, а там за ту же цену ее не приняли. Значит, опять нашему ЕПО убыток.

Или вот удавок навез. Говорит, всем мужикам и парням их надо поверх рубах носить. Конечно, никто их не брал, так он в эту удавку обрядил деда Фому и водил его по деревне, показывал, какой дедка есть культурный. Потеха, право! Поверх посконной рубахи одел на деда шелковую синюю с разводами удавку. Верх-то у нее, что к шее — уже, а что к пупу — шире. За то, что дед одел удавку и всем показывался, ему Евлаха полтинник дал, а нам говорит, что это расходы на какую-то рикламу. Ну, лежали, лежали удавки, да и пришлось Евлахе их тоже обратно в город отправлять... Вот опять же горшков чудных привез. Говорят, в городе в них которы благородны по ночам за нуждой ходят. Горшки-то, ладно, все разошлись. Бабы в них шти варят, — и ухвата не надо: ручка у них есть.

Много еще чудачит Евлаха со своей культурой, аж тошно стало терпеть. Он скоро все наши паи ухайдакает... Вот, дорогой товарищ, какие дела завелись. А главное, что наша ЕПА в трубу летит, а лавочник Прошка Рубец этим пользуется. У него в лавке всё есть, а дерет он с нас за всё втридорога. Народ к нему

валом валит. Он и в долг записывает. У него не на столько возьмешь, сколько он запишет, а платить плати. Судом грозит. Не будешь с ним соглашаться — затаскает по судам, и сам не рад будешь.

Он говорил, а мужики во время рассказа согласно кивали головами.

Так в этот день никакого собрания и не провели. Но Яков уходил с радостным чувством; ему казалось, что он только что побывал возле какого-то живого родника. От этих людей с грубыми и сильными руками словно бы исходило необычайное душевное тепло: тот глухой протест, который жил в них, нашел выход в простой беседе, без президиумов и председателей; Курбатов теперь нес в себе их надежды, ясно сознавал, что от того, как он поступит, во многом зависит бедняцкая вера в советскую власть.

Вызванный им председатель ЕПО Евлампий Савин произвел на него неприятное впечатление. Был он сухощав и тщедушен, бесцветен, как вода. Савин улыбался, показывая выкрошенные зубы, часто моргал красными, как две болотные клюквины, глазами, изгибался и всё время гундосил: «Как прикажете-с, что изволите-с, а уж это конечно-с».

Курбатов написал обо всем в уезд. Скоро приехала ревизия. Было назначено собрание пайщиков потребительской кооперации, и председателем ЕПО избрали комсомольца.

Наконец наступило рождество, которого Курбатов ждал со смешанным чувством опасения и надежды. В канун праздника из няндомского депо приехали шефы-комсомольцы. Они привезли подарки — венскую гармонь и кинопередвижку. Вместе с ребятами приехал и солидный, невозмутимый крепыш Карпыч, на которого Яков сразу же взвалил организацию первой красной посиделки. Карпыч попыхтел, побурчал и вдруг неожиданно спросил:

— Наган у тебя с собой?

— С собой. Зачем тебе?

— Дай мне. Я тебе потом расскажу зачем. А не дашь — я по деревне нипочем не пойду.

Нагана Курбатов ему не дал, но, видя насупившееся лицо Карпыча, решил, что ходить они будут вместе. Черт его знает, чего Карпыч испугался...

Первую красную посиделку было решено провести в просторной избе сельсовета. Еще задолго до назначенного часа изба была битком набита народом. Вначале приехавшие шефы вручили венскую гармонию Тимофею Заболотних; тот бережно принял ее в свои крепкие руки и сразу заиграл деревенскую, всем знакомую мелодию. Молодежь заулыбалась, оживилась.

Первый киносеанс был также в сельсовете. Всех желающих изба не вместила, многие стояли на улице и смотрели в окна, подернутые легким морозцем.

Один из комсомольцев начал крутить ручку динамо, а киномеханик запустил аппарат. Он застрекотал — и поплыла кинокартина «Фатти-миллионер». В зале все разом зашумели и заговорили:

— Ловко чехвостит! Как пулемет.

Зрители плохо разбирались в картине, выхватывали из нее детали:

— А петух-от! Петух-от! Живой! Ай ты, батюшки!

Когда автомобиль поехал с экрана прямо на присутствующих, бабы завизжали, а пастух Ефрем угрожающе вынул кнут. Один из стариков не выдержал, подошел к экрану и, ощутив его руками, плюнул и пошел домой.

— Нечистая сила, не иначе, что она!..

Киномеханик пустил вторую картину — «Как Семен перешел на многополье» — и начал давать свои объяснения:

— Вот, граждане, этот старательный крестьянин сейчас пьет чай, а потом поедет в поле.

Мужики, уже успокоившиеся, сейчас вглядывались в экран с видимым интересом:

— Чисто одет. Видать, не нашинских губерний. Не иначе, что ярославский...

— И сахару у него полна сахарница. Житьишко богатое! И ухватки сурьезные.

Пока артист пил чай, всё сходило благополучно, но едва он вышел запрягать лошадь, а затем выехал в поле, все мужики покатались со смеху:

— Какой же это мужик? Гляди, гляди коня-то как запрягает — и подойти к нему боится! Ай, собачий сын, хомут откеда подтягивает!

— А за плугом-то как идет. Потеха! Вот-те и многополье!

— Нет, петух был без обману, настоящий, а это так — шарманка.

— Э, человек хороший! — крикнула Курбатову молодка. — Не увози ты от нас эту штуку: интересная больно.

Курбатов, улыбнувшись, спросил:

— Что, в самом деле интересно?

Молодка, подойдя к нему, ответила уже серьезно и с грустью:

— А ведь как мы живем — темень одна... Всего и радостей, что поесть да поспать всласть. Трудно живем, а тут ровно кто теплый в душу заглянул. Не увози, а?

Она поднесла руки к груди, и Курбатов, не в силах выдержать ее просящего взгляда, отвел глаза.

— Мы еще приедем... Скоро приедем, — пообещал он, веря в то, что это действительно так и будет. Нет, он не мог обманывать эту женщину.

— Скоро. Новую картину привезем, — сказал он уже твердо.

— Спасибо, — тихо поблагодарила его женщина.

* * *

Теперь Курбатов ходил именинником. Девки на улице пели сложенную ими частушку:

Я миленка обниму —
Пойдем, миленочек, в кину,
Сделай радость для души,
Картины больно хороши.

Да, всё было так, как он и предполагал: достаточно было подтолкнуть немного людей, внести в их жизнь что-то живое, действенное, как это живое сразу же находило у них отклик.

С Егором Русановым Яков разговаривал каждый день, пытаясь узнать от него как можно больше о том, что происходит в деревне. Председатель сельсовета, демобилизованный красноармеец-пограничник, жаловался:

— Отвык я... Кулаки, вроде Рубца, всю душу мне съели: так и хочется стукнуть. Ты меня не спрашивай, ты мне лучше сам скажи: когда мы их, сукиных детей,

скрутим? Не понимаю я: власть наша, а кулак — живет. Живет ведь.

Курбатов пытался было растолковать ему, что такое нэп, но Русанов яростно дергал контуженной головой и обрывал Якова:

— А, брось ты!..

Слова Русанова о кулаках Курбатов вспомнил и заново прочувствовал позже.

Он шел по селу с Карпычем, когда попался им на встречу Рубец, одетый во всё добротное. Карпыч нырнул за спину Курбатова, но Рубец заметил его издали. Когда встретились, кулак нагнулся и медленно вытащил из валенка большой, блеснувший на солнце нож...

Курбатов почувствовал, как у него неприятно ослабли колени. Невольно, повинуясь какому-то инстинкту, Яков попятился, не сводя глаз с ножа. Рубец был уже шагах в десяти и смотрел на него в упор из-под мохнатых рыжих бровей, раздувая широкие, поросшие волосами ноздри.

— Отрыщ! — крикнул он Курбатову. — Ну!

— Яшка, тикай! — отчаянно крикнул отбежавший в сторону Карпыч.

Спиной Курбатов уперся в забор, дальше отступать было некуда. Теперь Рубец, увидев, что Карпыч стоит вдали, двинулся на Курбатова. Резко запахло самогоном. Яков быстро оглянулся, словно ища защиты... Наган! Дрожащими руками он рванул из кармана наган и щелкнул курком:

— Не подходи, убью!

Он не узнал собственного голоса. Рубец не останавливался. Очевидно, он заметил растерянность Курбатова, увидел его меловое лицо и дрожащие руки. В тот момент, когда Рубец взмахнул рукой, Курбатов отскочил: нож, распоров полушубок, задел плечо. У Курбатова потемнело в глазах, Рубец словно расплылся, превратившись в серое пятно. Тогда он выстрелил в это пятно, раз, потом другой и смутно увидел, как Рубец медленно повалился на плетень, выронив нож.

По улице уже бежали люди. На кулака навалилось несколько человек, но он уже не сопротивлялся...

Курбатову было досадно уезжать отсюда, не доделав до конца задуманного. Он хотел организовать здесь избу-читальню, провести несколько бесед, поближе узнать, чем держится кулак. Рана была не опасна, нож распорол мышцу, но рука от кисти до плеча ныла так, будто из нее тянули жилы.

Но главное — Курбатов не понимал, почему Рубец бросился на него среди бела дня. За Тимоху? Он мог сделать это тайком, в другое время. И почему Карпыч так перетрусил, едва увидев Рубца?

Русанов, усаживая Якова в сани, подпихивал под него со всех сторон, как маленькому, подстилку и сено. Сюда же положил сало и масло для Алеши Попова. Карпыч, уезжавший вместе с Курбатовым, суетился вокруг него с виноватым видом, — таким Яков видел его впервые.

Когда сани тронулись, Курбатов, приподнявшись, крикнул Русанову:

— Чуть что — приезжай в Няндому!

Они отъехали от крайних изб Лемжи; оба молчали. Наконец, словно раздумывая, Яков сказал:

— Плохо у нас еще в деревне. Ну да ничего, вернемся еще. Теперь-то уж вернемся...

— Что? — не расслышал Карпыч. — Куда вернемся?

— В деревню. Ох, Карпыч, как этих сволочей, вроде Рубца, еще крутить надо!

Карпыч оживился:

— Вот, вот. Я бы сейчас их всех... Гады они, сукины дети...

Он запнулся:

— Ты... Вот что, Яков: ты уж извини меня, что я удрал. Я знал: наган-то у тебя есть. Это через меня Рубец так на тебя накинулся. Мы ведь с ним старые знакомые.

Курбатов, прикрыв глаза, слушал, как Карпыч, люто ругаясь, рассказывал о своем знакомстве с Рубцом.

Года три назад в Няндоме было особенно тяжело с продуктами. Карпыч продал или поменял всё, что только можно было; он нередко приезжал и сюда, в Лемжу, встречался с Рубцом, который выменивал у него на хлеб вещи. Рубец уже пресытился: в большой пятистенной избе не умещалось всё, что он приобрел за

бесценое. В конце концов, он начал выменивать только особые вещи, которыми мог бы похвастаться перед родными и знакомыми.

Как-то раз, роясь на чердаке среди старого и никому не нужного барахла, Карпыч нашел больничное судно, бог весть какими судьбами попавшее сюда. На дне судна был фирменный штамп, поставленный зеленой краской. Вот он и решил выменять у Рубца немного хлеба.

С судном под мышкой Карпыч пешком отправился за тридцать верст в Лемжу. Он пришел к Рубцу, сел на лавку и положил на колени завернутую в сатиловую тряпку вещь.

Хозяева сидели за столом и хлебали наваристые мясные щи. У Карпыча подвело живот, даже голова закружилась от одуряющего запаха. Однако хозяева не пригласили его за стол. Они съели щи, принялись за жареную на сале картошку, делая равнодушный вид и будто не замечая сидящего недалеко от стола человека.

Рубец, приобретая разные диковинные вещи, тайно соревновался в этом с кулаком из соседней деревни, Бахваловым. Карпыч об этом знал и решил сыграть на этой слабости.

Посидев еще немного, он вдруг встал, взял шапку и пошел к двери.

— Куда это ты? — крикнул ему вслед Рубец.

— Хотел одну вещицу предложить, да вижу, что тебе ее не надо. Дорога больно. Я уж к Бахвалову пойду — он наверняка купит. Тот в таких вещах толк понимает.

Упоминание о Бахвалове сразу вывело Рубца из себя. Он поспешно встал из-за стола, вытирая о штаны жирные пальцы, подошел к Карпычу, взял его за руку и повел обратно:

— Не уходи, раз пришел. Что мы — Бахваловых хуже или беднее, думаешь? Давай-ка раздевайся да поговорим. Ну, что там у тебя?

— Говорить-то, наверное, нам не о чем, — подзадоривал кулака Карпыч. — Вещь-то — царская. Да и бо-язно, еще проговоришься: узнает кто — и заберут ее в музей.

Вконец распаленный любопытством, Рубец не мог больше терпеть.

— Давай покажи! — нетерпеливо потребовал он.

Карпыч осторожно, не спеша, начал разворачивать тряпку. Развернув, он поставил судно на стол. Рубец и его сородичи вопросительно смотрели то на судно, то друг на друга, то на Карпыча. Действительно, такой диковинной штуки Рубцу не приходилось видеть. «Вроде как бы на братыню похоже, из которой пиво пьют, — думал он. — Только ручка есть, да еще круглая и с дыркой».

— Ты вот на что внимание обрати! — солидно и таинственно сказал Карпыч. Он повернул судно кверху дном, и Рубец увидел большую зеленую печать с латинскими, стершимися от времени буквами, а в середине — птицу: кругом печати были нарисованы медали.

«Орел, видно, — думал про себя Рубец. — И медали, к тому же, имеются». Он был уже окончательно убежден, что это вещь не простая.

— Говори давай, что это за штука, куда она приспособлена, — сказал Рубец.

Карпыч, задумчиво почесав переносицу и еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил ему:

— Штука эта, видишь ли, не простая. Раньше в благородных домах ее сервизом звали. Да не все и благородные дома имели ее, а только те, которые принадлежали к царской фамилии. Видишь герб и медали?

Он показал на штамп.

— Это итальянский королевский герб. Эту штуку на именины самому царю итальянский король подарил!

— Ишь ты! — не удержался Рубец. — Скажи пожалуйста! А что же царь с этой диковиной делал?

— Она у него в спальне на столике у кровати стояла. На ночь в нее наливали шампанского. Вот ночью царь проснется с похмелья ну и... попьет из нее.

Рубец подозрительно заметил:

— Пить из нее вроде неудобно...

Карпыч сказал, что из нее и не пьют, а наливают в особый стакан, тоже фарфоровый.

Рубец, казалось, был искренне удивлен:

— Скажи пожалуйста! И откуда ты всё это, парень, знаешь? Уж не врешь ли? Да и как к тебе, шантрапе голодной, такая царская штука могла попасть?

— Я вам ее не навязываю. На такую вещь охотники найдутся! — Карпыч стал медленно завертывать предмет в сатиновую тряпку. — А досталась она нам просто. Братуха мой, Павел, Зимний дворец в революцию брал. Вышибли они оттуда юнкеров и пошли по залам. Смотрит мой братуха — стоит этаким небольшой столик, весь золотой, на изогнутых ножках, а на нем эта штука, а рядом с ней стаканчик. Братуха мой тоже такой диковины никогда не видывал. Подвернулся тут в спальне лакей царский, ну и объяснил что к чему. Этой штуке, говорит, и цены нет! Ее, почитай, только три царские фамилии имеют. Ну, братуха, не будь дураком, взял да и положил эту чашу в свой мешок.

После такого рассказа Рубец поспешно, дрожащими руками ухватился за Карпыча и, заметно волнуясь, проговорил:

— Чего завертываешь-то? Давай вынимай ее из тряпицы да толком говори, сколько за нее хочешь. Говори, да не привирай очень-то!

Он осматривал, будто ласкал, царскую чашу, осторожно ковырял ее ногтем, придирался к каждому пятнышку.

Карпыча разбирал смех, но он сдерживался и делал серьезное лицо.

— Да что тут... Есть нечего, а то бы ни за что не продал! Ежели желаете, то за пять пудиков муки отдам!

— Эка хватил! Пять пудиков! Да откуда я тебе их возьму? Да может еще ты и наврал мне всё! — проговорил Рубец.

— Как хотите, не наваливаюсь! — и Карпыч снова начал завертывать судно в тряпицу.

— Ну, ты! Подожди, делом говори! Хочешь я тебе за нее два пуда ржи дам? — сказал Рубец.

— Это за такую-то вещь? — Карпыч сделал удивленное лицо, продолжая медленно заворачивать свою «драгоценность». Рубец не выдержал. Он быстро согласился дать четыре пуда ржи и три фунта сала и даже пошел на то, чтобы Тимоха довез Карпыча до Няномы.

Через некоторое время в деревне был престольный праздник. К Рубцу пришли гости, в том числе кулак Бахвалов с семейством; поп с попадьей и дочками.

На столе было наставлено всякой всячины. Среди

множества закусок и бутылок с самогоном, в самом центре стояла царская чаша, наполненная брагой. Пока еще гости не сели за стол, Бахвалов поинтересовался, что это за штука. Рубец подробно рассказал ему о своей необычайной покупке, и Бахвалов позавидовал его удаче.

Всё открылось тогда, когда гости начали рассаживаться. Младшая поповская дочка вдруг покраснела и, отвернувшись, стала хихикать в платок. Потом она чего-то пошентала на ухо матери.

Попадья, не сказав ничего, вышла из-за стола, отозвала в сторону Рубца и с возмущением рассказала ему, что дочка видела точно такую же штуку в городской больнице, когда болела дизентерией...

Курбатов, слушая этот рассказ, не смеялся. В памяти снова и снова вставало нечеловеческое, звериное, иступленное лицо Рубца, шевелящиеся волосатые ноздри, нож, зажатый в огромном кулаке. «Когда же? — спрашивал он себя. — Когда же они, наконец, исчезнут? Я первый пойду гнать их». Ярость, перед которой он был бессилен, душила его. Здоровой рукой он рванул на горле шарф и выглянул из саней, подставляя лицо встречному обжигающему ветру...

— Знаешь, Карпыч, — сказал Яков и поморщился — грызла боль в раненой руке, — я вспомнил, что говорил нам Владимир Ильич Ленин на Третьем съезде о классовой борьбе в деревне, об эксплуататорах-кулаках. Ты ведь читал речь Ленина?

— Читать-то я, Яшка, читал, только так, как ты, на память не помню, — хмурясь, ответил Карпыч.

— Это и понятно, Ваня; ведь я-то сам Ильича слышал и видел, так разве я могу это забыть? Нет, умирать буду и вспомню! Всегда, понимаешь, всегда у меня перед глазами стоит живой Ильич, такой, как там, в зале: добрый, простой, человечный... Нет, Карпыч, раз ты не видел Ленина, то тебе, пожалуй, и не понять...

— Ну уж ты... Скажешь тоже... Хотя я Ленина и не видел, но он мне дороже отца. Вот сейчас скажи он мне: «Поезжай, мол, Карпыч, в Африку революцию делать и жизни своей на это дело не пожалей...» И я бы не задумался — не заходя домой, поехал...

— Эх, махнул, зачем тебе в Африку, — проговорил со смешком Курбатов, — что же, ты думаешь, что в нашей стране революция закончена? Африканцы без нас спра-

вятся. Нет, брат Ваня, нам не в Африку надо ехать. Ты сам видел, сколько темноты и дикости в нашей деревне. На всё село пять грамотных... Понять это надо. Нет, дружище, нам надо прежде всего революцию в своей стране, в деревне закончить. Надо убрать таких, как Рубец, и корни их вырвать. Ленин нам говорил, что раздробленную массу темного крестьянства надо соединить в один союз. Это, пожалуй, потруднее, чем в Африке революцию делать.

— Выходит, всех крестьян в коммуну надо, а кулаков подальше в Сибирь выслать? — вслух подумал Карпыч.

— Как, когда и будем ли это делать — не знаю. Но Ильич и Центральный Комитет партии это наверняка знают. Вот и я тоже думаю: как это всё произойдет?

— Уж скорее бы это было, Яшка!.. Я не только видеть, но даже думать спокойно об этой звериной породе не могу. Сам бы их всех как гадов прикончил. Скорей бы... — вздохнул Карпыч, но почти сразу несколько растерянно спросил: — Вот только, что надо нам делать в деревне сейчас — не знаю...

— Что? — переспросил Курбатов и в упор посмотрел на Карпыча. — Первым делом не трусить и не отступать... Понял? Ну, а потом, как сказал Ильич, учиться надо. Учиться коммунизму, учиться на практической борьбе. Самих себя перетряхнуть надо, пережитки старого общества в себе и в других преодолеть. А это трудно, очень трудно, Ваня.

— Знаю, Яшка! — хмуро ответил Карпыч.

Карпыч долго молчал, потом сказал хриплым голосом:

— Да, верно, струсил я... И сам не думал, как получилось — сам не понимаю. А вот ты — молодец. Ты крепкий, идейный, убежденный! Вот и Ленина видел и слышал... Мы с тобой одноклассники, а я всё время в глуши прожил и жизни еще не видел... Не гожусь, верно, еще для большого дела.

Последние слова Карпыч сказал таким тоном, что Курбатову даже жалко стало этого ершистого рабочего крепыша.

— Не горюй, Ваня, жизнь твоя вся впереди. Мы оба с тобой еще и коммунизм увидим. Об этом нам тоже тогда Ленин сказал.

— Знаешь, Яшка, если ты мне друг, то, как приедем, дай ты мне комсомольскую нагрузку по шефству над деревней. Я в эту работу все силы вложу. Честное слово, хочу хоть в одной деревне таких дел наворочать, чтобы этим Рубцам тошно стало. И больше не струшу. Ну так как? — заглянул Карпыч в глаза Курбатову.

— Ладно, Ваня, — ответил Яков. — Только один ты ничего не сделаешь. Тут, брат, всем нам работы хватит...

Поскрипывал под полозьями снег. На ухабах ныряли и раскатывались сани. По обеим сторонам дороги стоял, как стена, могучий лес. Причудливыми шапками лежал снег на густых елях. Ехали и молчали...

Курбатова должны были встречать, — ребята знали, что он сегодня вернется. Но пустой была дорога возле Няномы. Мелькнули утонувшие в снегу окраинные домики, уже видна была крыша райкома, а Курбатова так никто и не встретил.

Ему стало обидно. Ну, положим, он сам не любит всех этих парадов, но речь-то идет просто о человеческом отношении. Вспомнил же он о том, что Алешке Попову надо привезти сала...

Курбатов усмехнулся: раз так — не поеду в райком, имею полное право отдохнуть, в конце концов. На какое-то мгновение эта мысль показалась ему мелкой и себялюбивой, но обида не проходила; он крикнул:

— Да не туда, не туда... Давай, сверни вправо...

Когда лошади свернули в боковую улочку, Курбатов увидел Попова. Он попросил возницу остановиться и, чувствуя, как злость начинает душить его, решил подождать, пока Алеша подойдет.

Попов дошел до саней и, взглянув Курбатову в глаза, поздоровался.

— Ну, здравствуй. Ты откуда? Что случилось?

— У тебя был. Там, дома. Печку истопил...

— А грустный чего? Захворал, что ли?

Алеша всё смотрел ему в глаза, и таким горестным был этот взгляд, что Курбатов похолодел:

— Да что случилось-то?

Он с трудом расслышал, скорее почувствовал, что ответил Алеша... Всё остановилось. Черным стал снег. Потом исчезли дома, заиндевшие деревья, люди. Не чувствуя боли, он притянул Алешу к себе и прошептал, еще не веря в случившееся:

— Что... Что ты сказал?

— Да... Ленин умер...

Курбатов, широко и недоуменно раскрыв глаза, огляделся. Нет, по-прежнему белым, сверкающим на солнце был снег, нарядными — деревья, и пахло свежим хлебом. Гудел на путях маневровый паровоз. И Курбатов не поверил, что в этом мире нет Ленина... Его не могло не быть!... Он заплакал.

8

Эта зима была особенно тяжелой. Быть может, потому с таким нетерпением ждали люди прихода весны, с ее первым теплом, влажным воздухом, тонким запахом древесной коры. И весна пришла наконец — дружная, необычайно быстрая, и казалось, что сама природа хочет вознаградить людей за те тяготы, которые им пришлось пережить.

Курбатов, едва выздоровев, опять впрягся в работу, да так, что Лукьянов, поглядывая на него, спросил как-то:

— Ты что, парень, двужильный?

В мае Курбатова слушали на бюро райкома партии. Он обстоятельно рассказал, что сделано за полгода: организован спортивный кружок, строятся лодки, — весной, когда с озера сойдет лед, откроется лодочная учебная база, в Няндоме летом будет молодежный клуб. Но самое главное, чего удалось добиться, — после починки водопровода ребята поверили в живые дела, даже учеба, которую они не любили, перестала быть для них скучной комсомольской нагрузкой. Двенадцать человек были приняты в партию по ленинскому призыву.

Отчет всех заинтересовал, прения развернулись оживленные, и это было для Курбатова неожиданно. Говорили много хорошего, и Курбатов смущенно молчал, когда его похвалили за поездку в деревню, впрочем, упомянув, что это пока только «кавалерийский наскок», а настоящая, постоянная работа на селе так еще и не организована.

Наконец слово взял Лукьянов и, постукивая карандашом по столу, начал говорить, не глядя на Курбатова, словно его здесь и не было. Курбатов знал, что

секретарь райкомпарта возобновит разговор, начавшийся там, в лесу, на починке водопровода. Но сейчас Лукьянов, видимо, решил высказать всё до конца. Курбатов слушал его, и ему было больно, хотя он и понимал, что секретарь прав, тысячу раз прав.

— Я думаю, товарищи, никто не будет возражать против того, что комсомольская работа у нас ожила, пьянства и хулиганства стало меньше. Молодежь нашла себя и с интересом участвует во всех делах комсомола. Всё это очень хорошо. А я вот буду говорить о плохом. Замечаете ли вы, товарищи, что наш комсомольский секретарь стремится делать всё сам? Мне кажется, он подминает ребят под себя и, не желая того, не дает расти тем, кто мог бы с успехом сам справиться с той или иной работой. Посмотрите — наш Курбатов везде. В кружке спорта — он руководитель, вечер организовать — он опять же главный. Ну, одним словом, везде он да он. Мы с ним как-то говорили об этом, но, видимо, еще не вполне дошло. Я думаю, что нам его надо поправить. Нам нужно растить актив в комсомоле, а его можно вырастить только на практической работе. Не нужно бояться, что другие завалят то или иное дело. При личной и хорошо поставленной проверке исполнения любое дело увенчается успехом. Ты, Яков, должен знать, какое значение придавал Ленин вопросам проверки исполнения; «гвоздь всей работы» — вот как говорил Ленин...

После бюро райкома партии Курбатов вызвал к себе Карпыча и, коротко поговорив с ним о деповских делах, неожиданно сказал:

— Организуй поход, а? С песнями, с весельем, с удочками.

Карпыч опешил:

— Какой поход?

— А вот ты сам подумай — какой.

— Опух ты, что ли? — обиженно протянул Карпыч. А кто ж тогда работать будет? Сам говоришь — все силы на работу, а тут прогулка.

Курбатов, невесело рассмеявшись, рассказал Карпычу о райкомовском обсуждении, и тот только головой крутил, хлопал себя по промасленным штанам, ахал, охал, а потом заметил:

— Правильно тебя взгрели.

— Что?

— Правильно, говорю. Помнишь, я однажды в депо о спортивном кружке докладывал? Помнишь?

— Ну, помню, — неуверенно ответил Курбатов, еще не понимая, куда клонит Карпыч.

— Ну, а потом что было? Ты вышел и то же самое сказал. Не поверил, что меня ребята поймут. Я еще тогда об этом подумал. А потом...

Он замолчал, и Курбатов поторопил его:

— Чего потом? Ты договаривай...

— Да что потом? Нравилось нам, что ты всё за нас делаешь.хлопот меньше. Тебе к тому же деньги за это платят...

Он отшатнулся, когда Курбатов почти вплотную придвинул к нему свое лицо:

— А теперь — всё. Понимаешь? Сами будете всё делать. Хватит, устроил я вам легкую жизнь. «Не хотите ли спорткружок? Лодочную станцию? Пожалуй-ста!»

Он передразнивал сам себя с чувством какого-то внезапного облегчения, даже пожалуй, со злостью на самого себя. Карпыч, вначале ошеломленный, потер пятерней коленку, потом хлопнул по ней и удовлетворенно усмехнулся: «Подействовало!»

— Так вот, — уже сухо закончил Курбатов, — план прогулки, маршрут и всё такое представишь через два дня.

Карпыч встал, вразвалку подошел к двери и, взявшись за ручку, обернулся с прежней усмешкой:

— А я и сейчас могу тебе всё представить. Думаешь, мы об этом не думали? Думали. На Большое Островишное пойдем. А ты у нас за повара будешь, уху тебя заставим варить.

* * *

В конце мая установилась летняя, теплая погода. На стенах няндомских домов, на заборах висели большие объявления:

«С субботы на воскресенье на всю ночь состоится прогулка-экскурсия на озеро Большое Островишное. Прогулка преследует цель культурного отдыха и разумных развлечений. Там будут: музыка, песни, игры. Любители будут удить рыбу, а охотники — охотиться. Сбор

молодежи в 6 часов вечера у райкома. Приглашается вся молодежь и взрослые».

Афиша висела всю неделю. В Няндоме об этой первой прогулке было много разговоров. Женщины говорили: раз взрослых приглашают, так бояться нечего, пускай пошालят ребяташки.

В субботу у райкома собралось человек триста. Разбились на звенья, построились в ряды. Из райкома вынесли комсомольское знамя, и за знаменосцем заняли места два гармониста; один гармонист шел позади колонны. Неожиданно для всех на прогулку пошло и много взрослых. Когда колонна проходила поселок, все его обитатели высыпали на улицу, оценивающими взглядами провожая молодежь.

Решили идти ближним путем. Тропа была неширокая, и колонна сильно растянулась: в голове колонны пели одну песню, в середине — другую, в хвосте — третью.

Наконец показалось озеро, на середине которого был большой остров. Берега озера — высокие и покатые — поросли травой, буйным ивняком, а под берегами, вздрагивая временами от плеска шальной щуки, шумно покачивались густые камыши.

Каждое звено построило себе из ветвей шалаш. Уже горели, потрескивая, жаркие костры; ребята приспособливали над ними чайники и котелки. Самодеятельность было решено показать завтра днем, а сегодня вечером каждому разрешалось делать то, что он хотел. Любители-рыболовы со своими удочками приспособились на берегу. Охотники побрели в лес. Курбатов, решив отдыхать так отдыхать, также сел на берегу со своими двумя удочками. Но пока клевали одни маленькие прожорливые колючие ерши, так заглатывавшие крючок, что его едва можно было достать у них изо рта.

Вдруг за своей спиной он услышал звонкий, немного кокетливый возглас:

— Яша удит, удит, а вот что кушать будет?

Он оглянулся. Сзади стояли девушки и ухмыляющийся во весь рот Карпыч. Курбатов вспомнил, как тот грозился заставить его варить уху, и кивнул на котелок, где плескалась дюжина ершей:

— Скоро уха будет.

— Кому же такая рыба нужна, что с ней делать-то? — спросила одна из девушек.

— А вот и не знаете, что самая вкусная уха — из таких ершей. Приглашаю всех. Я ее сам и сварю, как приказано товарищем Карпычем, а потом уж и критиковать можете.

Девчата крикнули: «Ловись, рыбка, большая и маленькая» и ушли; словно бы в ответ на эти слова поплавок несколько раз сильно дернуло, и Яша, чувствуя, как упруго перегибается удище, вытащил большого, не меньше фунта, полосатого окуня. «Эге! Отдыхать вроде становится интересно», — подумал он.

Теперь он не видел ничего, кроме небольшого «окна» среди кувшинок, своего поплавка, сделанного из пробки, и гладкой, отражающей в своей глубине низкие облака, поверхности воды. Большая стрекоза села на поплавок, и когда тот дернулся, кругами разгоняя от себя воду, она улетела. Где-то в стороне плеснула большая рыбина, и у Курбатова сладко защемило сердце. «Как глупо, — подумалось ему. — Почему я стал считать, что всё это меня не касается? Глупо!»

Он вспомнил, что отдыхал последний раз на каникулах, когда учился в совпартшколе; сейчас он чувствовал, что устал, очень устал, и это здорово — отдохнуть так, на озере, не думая ни о чем, кроме того, как бы поймать хорошего окуня. Имеет же человек, в конце концов, право отдохнуть, и в самом деле — двужильный он, что ли?..

Яша не замечал, что неподалеку от него удит рыбу парень в форме телеграфиста. Какая-то женщина, долго сидевшая с ним рядом, очевидно устала глядеть в воду и пошла вдоль берега, время от времени нагибаясь и срывая какие-то болотные цветы.

Вдруг она поскользнулась и, проехав по траве, с шумом плюхнулась в озеро. Здесь, сразу под берегом, было глубоко. Женщина хлебнула воды и теперь, схватившись за куст, судорожно глотала воздух.

Курбатов подскочил к ней первым. Когда он вытащил ее на берег и, обняв, помог встать, женщина благодарно взглянула на него. Курбатов покраснел, чувствуя под своей рукой ее грудь и увидев стройную, обтянутую мокрым платьем фигуру. Он так же поспешно отошел,

буркнув в смущении, что надо быть осторожней, особенно если не умеешь плавать.

Потом за своей спиной он слышал голос молодой женщины:

— Нечего сказать, хорош муж. Тюлень какой-то, а не муж. Хоть бы руку протянул. Видно, не мила, не нужна стала.

— Марго, перестань, что ты говоришь? — отвечал телеграфист... Они скоро ушли.

Курбатов, собрав удочки, тоже направился к шалашам, чувствуя, как сердце у него почему-то бьется особенно гулко, а стыдливость, охватившая его на берегу, когда он вытащил женщину, уступает место какому-то новому, давно не бывавшему, сладкому и волнующему ощущению.

Он сел возле костра, где, блаженно вытянувшись на еловых ветвях, сладко всхрапывал Карпыч. Алеша Попов читал какую-то книгу. Приход Курбатова заставил его вскочить, он потянулся к котелку, щелкнул языком и полез в свой мешок — за луком, картошкой и солью.

— Ну, рыболов, много наловил?

— С лихвой хватит. Обьешься.

Неподалеку от них, возле костра сушилась, закутавшись в тонкое одеяло, неудачливая купальщица. Она сидела к Курбатову спиной, распустив свои красивые, почти медного цвета волосы.

Яков легонько толкнул Попова:

— Кто это?

— Это? — Попов мельком поглядел в сторону женщины. — Марго, Володьки-телеграфиста жена. Ничего баба, только Володька рогатый ходит...

Курбатов вздрогнул и уткнулся в свой котелок, когда женщина поднялась. Он не видел ее, но чувствовал, что она идет сюда, и, краснея почему-то, старался сделать вид, что ничего на свете, кроме пучеглазых ершей, его не интересует.

Марго стояла уже рядом, и он услышал ее приятный голос:

— Я вас еще не поблагодарила. Вы настоящий мужчина, не то что мой пентюх. Очень вас благодарю.

Курбатов осторожно пожал протянутую мягкую руку. Не выпуская его руки, Марго сказала:

— Теперь мы знакомы. Это всё равно, что мы

с вами на брудершафт выпили, можем теперь друг другу «ты» говорить. Надеюсь, вы... Я на неделе буду ждать вас к обеду.

Потом она резко повернулась к подошедшему мужу:
— А ты что? Опять тюленем стоишь?

Курбатов протянул руку мужу, и тот, поглядывая на жену, подтвердил ее приглашение на обед. Когда они отошли, Яков поймал себя на том, что руки его дрожат и ему трудно чистить рыбу.

Положив в котелок вычищенных ершей и окуней, он повесил его над костром; когда вода вскипела, бросил туда пару картошек, лавровый лист и соль. Скоро уха была готова. Карпыч, проснувшись, с наслаждением втянул в себя аромат бурлящей ухи и умчался разыскивать девушек.

Ели с аппетитом и всё время хвалили, но вдруг Алеша, почерпнув со дна котелка разваренную рыбу, бросил ложку, зажал рот рукой и побежал в кусты. Все с недоумением смотрели ему вслед. Потом девушки, подозрительно рассматривая содержимое котелка, прекратили есть и засмеялись: они еще даже не пробовали рыбу. Курбатов поглядел на брошенную ложку и пришел в ужас: на ней лежал самый обычный червяк — рыба наживка. Значит, когда он чистил рыбу, то, задумавшись, забыл вытащить наживку!.. Девушки смеялись, Карпыч растерянно пожимал плечами.

Через несколько минут вернулся Алеша; он был бледен и вытирал со лба мелкий бисер пота.

— Ну и накормил, секретарь! — почти простонал он. — Ты что, Яков, случайно не папуас? Говорят, папуасы тоже червей едят. Вот ведь повар какой. Ты о чем думал, когда рыбу чистил? Не о том ли, как спасал Марго?

Смущенный Курбатов только рукой махнул.

Скоро девушки уже возились с самой обыкновенной яичницей, свиное сало с треском шипело на чугунной сковородке. Скоро поспела и она, сгладив все неприятности.

— Век буду помнить это червивое варево, — ворчал Попов.

Карпыч, выливая уху из котелка, тяжело вздыхал:

— А аромат-то какой? Эх, Яша, Яша, какую уху загубил! И всё из-за бабы!

И потом еще долго смеялись ребята над курбатовской ухой, и даже в стенной газете «Колотушка» была помещена по этому случаю карикатура...

Встретившись через день с Лукьяновым, Яков сухо и скупно рассказал о прогулке, не преминул упомянуть и о том, что с начала и до конца вылазка за город была организована Карпычем.

— Значит, неплохо получилось? — спросил Лукьянов. — И пьяных не было?

— Не было.

— И сам отдохнул?

Курбатов, вспомнив о Марго, вспыхнул. Но Лукьянов не заметил этого. Строго глядя на комсомольского секретаря, будто тот был в чем-то виновен, он начал расспрашивать его о том, на какой квартире он живет, хватает ли денег, как отдыхает.

— Да никак, — рассмеялся Курбатов. — Вот только вчера и отдохнул.

— Плохо, — нахмурился Лукьянов. — Уметь отдыхать надо, Курбатов. Я вот староват, правда, а знаешь, что делаю? По дереву выпиливаю. Очень хорошо отдыхается.

«Странный разговор», — думал Курбатов, идя домой. Но этот разговор неожиданно совпадал с теми его мыслями, которые пришли ему на озере, мыслями о том, что должно же быть у человека и личное, одному ему принадлежащее, свое.

* * *

Две вещи волновали сейчас Курбатова: организация комсомольско-молодежной бригады для субботников по капитальному ремонту паровоза — подарок к Первому мая — и лодочная станция. Лукьянов оказался прав: стоило только Курбатову вскользь сказать деповским ребятам о том, что хорошо было бы на субботниках отремонтировать паровоз, как те загорелись и через два дня пригласили секретаря на комсомольское собрание по этому вопросу.

Карпыч ходил именинником. Идеи сыпались из него, как из рога изобилия. Начальник тяги, поначалу недовольно слушавший комсомольцев («А кто из них отвечать будет за ремонт?»), наконец махнул рукой: «А, делайте, как хотите, и так все под богом ходим». Ремонт-

ные бригады были организованы тут же, на комсомольском собрании; один только Рябов был недоволен, что не попал в них. «Когда трепаться — так вместе, а здесь — карточкой не вышел?»

С лодочной станцией дело обстояло сложнее, и сложность была в одном — в деньгах. Платные спортивные представления давали крохотные сборы. Учпрофсоюз отмалчивался, и к концу мая удалось построить всего лишь одну лодку, да и с той произошла неприятность. Первую шлюпку с тремя парами весел решили не тащить на озеро, а вначале испытать на пруду, в центре поселка. Под звуки гармошки, с флагами комсомольцы принесли ее на пруд. Вокруг него собрались жители поселка: зрелище для этих мест было невиданным. Шлюпку спустили на воду, но она оказалась такой вертлявой, что в нее едва села команда. Ваня Рябов цвел. Он был в новой морской форме «первого срока», гладко выбритый и надушенный, такой, каким вряд ли был когда-нибудь на инспекторских смотрах. «Весла на воду! Правое гребни, левое табань!» Поскольку ребятам приходилось только догадываться, что такое «табань», шлюпка сразу же чуть не опрокинулась. Рябов, казалось, не слышал ничего, ровно глухарь на току. «Суши весла! Весла на вале! Весла по борту!» Тут-то лодка и зачерпнула бортом воды, шатнулась с боку на бок и спокойно пошла ко дну. Ребята, а вместе с ними и Рябов, по горло оказались в грязной воде и двинулись с трудом по глинистому дну к берегу, на ходу подхватывая плавающие весла. С берега кричали разные сочувственные слова, — что, дескать, первый блин комом и что у первых-де российских мореходов получалось хуже. Утешали Рябова, что белая форменка отстирается, только поначалу из нее надо вытряхнуть карасей... Курбатов и досадовал и хохотал вместе со всеми, когда злополучную шлюпку вытаскивали и снова водворяли обратно на «верфь»: пришлось приделывать к ней дополнительный киль.

В тот же вечер, возвращаясь домой, он услышал за спиной веселый и одновременно укоризненный женский голос:

— Постойте, спаситель мой! Что же это вы как будто меня избегаете? Приглашали вас обедать — не заходите. Что это вы?

Курбатов смутился. Последние дни он думал о встрече на озере со стыдом и действительно избегал этой семейной пары, продолжительных и каких-то вызывающих взглядов Марго. Его невольно тянуло к ней, и он боялся этого, понимая, что женщина эта никогда не станет ему такой близкой, какой была Клава. Марго тем временем продолжала скороговоркой:

— Не секрет, Яша, куда вы идете?

— Какой же тут секрет! Просто иду...

Он хотел сказать «обедать», но вдруг передумал и сказал «в райком».

— Да, куда же еще... У меня там срочное совещание. Меня ждут. Я тороплюсь. Извините меня, Марго, я к вам в другой раз зайду... Пожалуйста, передайте привет мужу.

Он торопливо, как бы в сильной спешке, пожал руку погрустневшей женщине и пошел в сторону райкома.

9

Уезжая на губернский комсомольский съезд, Курбатов и не предполагал, что вернуться на работу в Няндому ему уже не доведется и придет он только за тем, чтобы передать дела, в последний раз поговорить с ребятами и собрать свой нехитрый багаж.

Никакие самоотводы не помогли. Не помогли и доказательства, что нельзя так срывать человека с места, когда он только-только начал налаживать работу. Не помогла телеграмма в Няндому, к Лукьянову — несколько коротеньких вызывающих слов: «Собираются выдвигать секретарем губкома зпт срочно опротестуйте перед Даниловым». В день выборов пришла ответная телеграмма. Курбатов распечатал ее с волнением: «Горячо поздравляю зпт одобряю решение конференции зпт лети высоко тчк Лукьянов». Фамилию Курбатова занесли в списки для тайного голосования; в члены комитета его избрали почти единогласно. На пленуме его выбрали секретарем губкома комсомола; как и прежде, против было два голоса. Но теперь он уже не думал: «Завалю, не справлюсь». В конце концов, справился же он с делами райкома.

В Няндоме уже всё знали. И жалко было ребятам

расставаться с Курбатовым, и радостно, что избрали секретарем именно его; впрочем, Карпыч, поздравив его, проворчал:

— Так я и знал, что ты на гастроли к нам приехал. Не работа это... Теперь пришлют нового. Добро, если нормальный человек, а то опять трепач какой-нибудь попадется.

— Никого присылать не будут.

— Как же...

— А так вот. Мало ли здесь своих ребят? Возьмут и тебя, например, изберут. Я обязательно посоветую.

Карпыч просто взъярился:

— Я тебе «посоветую»! Ты что, хочешь, чтоб здесь всё прахом пошло, да?

Этот спор оборвал Рябов. Счастливый, даже какой-то немного обалдевший от счастья, он ввалился в райком, такой же красивый и надушенный, как и тогда, на первом испытании лодки. Еще в соседней комнате он с кем-то целовался, гулко хохотал, а войдя к Курбатову, шумно обнял его.

— Я к тебе, секретарь! — гаркнул он. — Мой штурман снова мне военмора принесла на десять с половиной фунтов. Я его в Совете зарегистрировал, только как-то не то получается. Вот раньше крестины устраивали, — всё-таки шум, слышно было, что человек родился. А ведь нынче-то не просто новый человек рождается, а еще советский. А вокруг его рождения — молчок, тишина, когда, наоборот, надо бы звону... Очень тебя прошу: давай октябрьить моего пацана.

У Курбатова озорно, совсем по-мальчишески блеснули глаза:

— Ладно, Иван. Такие октябрины устроим!

На «крестинах» сына Ивана всё было честь честью: Курбатова избрали вместо крестного, «кумой» была приглашена второй секретарь райкома партии Мокина. Карпыч и здесь развернул бешеную деятельность: новорожденному нанесли много подарков. Счастливые отец и мать сидели в президиуме. Когда были сказаны речи, вручены подарки, Рябов встал, развернул своего сына и показал его голенького переполненному залу. Раздались одобрительные аплодисменты: мальчонка был здоровый, крупный, с ручками «в перевязочках».

Эти «крестины» были последним делом Курбатова в Няндоме. В тот же день вечером, стоя на перроне с ребятами, он прислушивался к далеким голосам, идущим из поселка, к последним петухам, скрипу телег, и легкая грусть поднималась в нем снова.

Карпыч молча стоял в стороне; когда появился поезд, он быстро, как-то боком придвинувшись к Курбатову, пробурчал:

— Ты... прости, Яша, если что было не так... Встретимся, я думаю...

Курбатов кивнул ему и еще раз оглядел низенькие дома, невысокие северные деревья, лица ребят, длинное кирпичное здание депо, увидел флаг над райкомом... Всё-таки он оставлял здесь часть своей души, большую ли, маленькую, но оставлял, и появившаяся было грусть вдруг куда-то ушла, уступив место радости от сознания, что жил он здесь не зря.

* * *

Несколько дней он знакомился с делами. Хотя на съезде много говорилось о различных неполадках, но то, что узнал Курбатов из сводок отчетов секретарей райкомов комсомола и низовых комсомольских организаций, заставило его посмотреть на вещи другими, куда более придирчивыми глазами.

В городе безработица. Окончившие школу не находят применения своим силам. Дисциплина на предприятиях расшатана, растут пьянство и хулиганство. Кроме того, часть молодежи еще находилась в плену порожденных нэпом упадочных настроений, кто-то назвал их ссенинскими. Выходили из комсомола, не подавая заявлений: просто посылали к черту секретаря, если тот пытался их «вразумлять».

Вскоре на бюро был поставлен отчет первого райкома комсомола города. Секретарем его был Митя Чубуков. Курбатов знал его еще по совпартшколе. Паренек из железнодорожных мастерских был неуравновешен, быстро загорался, хватался за любое дело, но так же быстро и потухал, а потом «дымил», ныл: «Вот опять ничего не получилось». Отчет Чубуков сделал такой, что впору было запеть «гром победы раздавайся», и прения поэтому начались вяло. Первым выступил

заведующий экономическим отделом губкома Галкин: как-то нехотя, словно по обязанности, похвалил он работу райкома и его секретаря Чубукова. Те, кто выступал за ним, так же говорили какие-то ничего не значащие слова, и только завполитпросветом Фомин, кадниковский комсомолец, покритиковал райком.

Курбатов сидел как на иголках: «Галкин голосовал против меня на пленуме. Может быть, вся эта похвальба и рассчитана на то, что я не сдержусь?» Но начал он спокойно:

— Галкин восхвалял здесь работу райкома. Кому-кому, а ему-то нужно было бы знать положение дела. Я в губотделе труда и у директоров предприятий поинтересовался, как работает молодежь на производстве. И надо сказать, что цифры я получил страшные, если, конечно, принимать их близко к сердцу, а не относиться к ним хладнокровно, как Галкин.

— Что, плакать мне прикажешь? — вызывающе бросил Галкин.

— Смеяться или плакать — это крайности. Цифры надо анализировать и делать выводы, правильно ли мы работаем. Я оглашу вам эти цифры. Из всех прогулов восемьдесят процентов падает на молодежь, а из прогульщиков больше половины комсомольцев. За полгода из всего количества административных взысканий шестьдесят процентов получила молодежь. Спрашивается, где же руководители комсомола? Почему мы не замечаем такого упадка дисциплины на наших советских предприятиях?.. Говорят, что некоторые хозяйственники тоже неправильно относятся к молодежи. Не всюду хотят брать подростков на сокращенный рабочий день: ждут фабзавучников. А известно ли вам, товарищи, что на бирже труда на учете много безработной молодежи. Какие-то умники там даже комсомольскую ячейку безработных создали.

— Ну и что такого, — отозвался Чубуков. — Это по уставу, по производственно-территориальному принципу.

— Я дал указание создать эту ячейку, — вызывающе поднял глаза Галкин.

— А ты бы хоть советовался в таких вопросах. Ум хорошо, а два лучше. Какой же здесь производственный принцип?

— Извините, товарищ начальник, больше не буду, — издевательски ответил Галкин.

Курбатов, чувствуя, что бледнеет, сказал как можно спокойнее:

— Чем так кривляться, ты бы лучше уважал тех, с кем работаешь, мы все ведь тоже — коллектив.

Но Галкина уже нельзя было остановить:

— С уважением и почтением к вам, синьор Курбатов.

Яков подавил в себе растущую злобу, не понимая, чем вызвано такое поведение Галкина. В конце концов, может, это просто зависть?

— С таким обсуждением мы далеко не уйдем и, конечно, правильного решения не примем. Я продолжаю дальше. Вот у меня справка из милиции. За прошлый месяц из трехсот приводов за хулиганство и в состоянии опьянения двести пятьдесят падают на молодежь. Были два случая группового изнасилования. Я думаю — цифры убедительные. До отчета я советовал Мите Чубукову достать и посмотреть цифры по району. Он этого не сделал, и это лежит на его совести.

Чубуков пожал плечами:

— Я советовался с Галкиным, а он посмеялся надо мной и сказал, что Курбатов чушь морозит. Он, мол, скоро тебя еще к сектантам пошлет — цифры у них о молодежи просить.

— А ведь правильно, — усмехнулся Курбатов. — Нам и сектантами надо заняться. Я недавно проходил мимо их молельни и заглянул туда: очень много там молодежи. Я не знаю, понял ли Чубуков всё, о чем здесь говорили?

— Понял, понял, — поспешно, даже, пожалуй, чересчур поспешно ответил тот.

— Раз понял, то и хорошо. Я предлагаю работу райкома признавать неудовлетворительной. Чубукова предупредить, что так работать нельзя. Практические предложения поручить комиссии. Срок — три дня.

Воздержался один Галкин. После бюро Курбатов попросил его остаться, но Галкин, усмехнувшись, махнул рукой:

— Отношения выяснять? Думаю, не стоит — не выясним. Притворяться не умею. Работать вместе будем, но и только.

— А я, между прочим, тебя не на чай приглашаю, — язвительно ответил Курбатов. Тот вспыхнул и, повернувшись, вышел. Курбатов кивнул Чубукову: видал?

— Чего это он? — удивился Чубуков.

— А у нас это еще с совпартшколы идет. Помнишь?

Чубуков поглядел на секретаря как-то исподлобья.

— Ну, Галкин с тех пор очень переменился... — начал было он.

— К худшему, — резко сказал Курбатов. — И не будем больше говорить об этом. В конце концов для меня работа важна. Кстати, если ты с ним по-прежнему в дружбе, то так и передай. Еще передай, что на все личные неприязни я плевал.

Он сердито отвернулся к окну, подумав: «А ведь так ничего он и не понял, Галкин...»

* * *

Вернувшись вечером домой, в общежитие губкомла, Курбатов ощупью добрался в темноте коридора до своей комнатки, устало кинул кепку на стул. Потом, нащарив рукой на стене выключатель, зажег свет и — вздрогнул: возле окна стоял высокий человек в черной кожаной тужурке, перепоясанной ремнями; на Курбатова глядели огромные, обведенные густыми тенями, черные глаза.

— Лобзик! — радостно воскликнул Курбатов. Тот шагнул к нему навстречу, обнял его.

Они сидели друг против друга — Лобзик на стуле, Курбатов на кровати, то начинали хохотать, ударяя один другого в грудь, в плечи, то оба замолкали, вспомнив каждый о своем, то вдруг Лобзик начинал рассказывать своей скороговоркой о старых друзьях, о том, что встретил в Москве Вальку Кията — он учится в институте, о своих злоключениях...

— А сюда-то ты как попал? — спросил, наконец, Курбатов.

— На работу прислан.

— На какую?

— Оперуполномоченным ОГПУ. Так что, товарищ секретарь губкомла, работать нам снова с тобой рядышком...

Приходя утром на работу, Курбатов прежде всего просматривал газеты. Так и в тот день, развернув «Красный Север», он пробежал глазами заголовки и наткнулся на кричащую строку: «Верный барометр партии». Слова эти были уже знакомы, их недавно бросил Троцкий. Под статьей стояли фамилия и должность автора — Иван Галкин, заведующий экономическим отделом губкомла. Сразу почуяв недоброе, Курбатов повернулся к окну и стал читать.

В самом деле: в статье пунктуально перечислялись все те недостатки, о которых несколько дней назад он, Курбатов, говорил на бюро. Но вывод, вывод! Он два раза, еще не веря себе, прочитал конец статьи: «Всё это является отражением того политического состояния, в котором мы сейчас находимся. Трудно в такой обстановке думать о каком-либо успехе. Мы вредим сами себе».

Курбатов, задыхаясь, скомкал газету. «Ах, сукин сын!.. Троцкий — так тот хоть более или менее отчетливо говорит, что у нас ничего не выйдет. А этот — «трудно думать об успехе»... Ах, сукин сын....»

Галкина в губкомле не было: он взял отпуск и укатил отдыхать — в Москву; Курбатову не удалось поговорить с ним. Он хотел позвонить Данилову, но тот позвонил сам, и Курбатов услышал в трубке какой-то знакомый, ледяной, плохо сдерживавший ярость голос:

— Читал? Обсуждалась ли эта статья на бюро?

— Нет. Он мне ее не показывал. Думаю, членам бюро тоже.

— Что ты думаешь предпринимать?

— Еще не решил... Но этого дела мы, конечно, так не оставим.

Данилов выругал в трубку троцкистское болото, уже спокойней попросил Курбатова зайти к нему: — Кстати, объясню тебе, откуда такие настроения... Всё больше культурой увлекаетесь, вечерами да забавами. Между прочим, Галкин правильно восклицает... возьми-ка газету. Взял? Вот во второй колонке: «Где же дела и подвиги под стать героине гражданской войны?» И на этом сыграл, подлец.

Курбатов, повесив трубку, задумался. Действительно, культработе отдавалось больше всего и сил, и времени, и внимания. Он чувствовал, знал, что это не самое главное в комсомольской жизни, но сложившаяся у губкомольцев привычка была прочной; вот и сегодня в городском театре комсомольская пасха — большой карнавал-маскарад, будет около тысячи комсомольцев. Конечно, лучше, чтобы они шли на карнавал, чем по пивнушкам, но на подготовку этого, как говорят в губкомоле, мероприятия ухнуло столько времени, что просто досада берет.

Слишком много этих «мероприятий» (и слово-то какое выдуманно: похоже на сухую и жесткую воблу!). Слишком много экскурсий, вечеров и танцулек. А вот на субботники ребята идут нехотя. Что-то усталое чувствуется в них; Курбатов только удивлялся, сидя на комсомольском собрании в одной из ячеек: ребята чего-то мычат, говорят скучно, по обязанности, и чувствует, что они сами не верят в то, что говорят.

На карнавал Курбатов пошел со стесненным сердцем, пошел вместе с Лобзиком, который сегодня вечером был свободен. Войдя в театр и стараясь держаться в стороне, они сели в глубине длинного, вытянутого фойе. Мимо них проносились веселые, смеющиеся люди: арлекины и толстопузые купцы, гусары в доломанах из прокатной конторы и нарядные красавицы в высоких кокошниках. Лобзик следил за весельем жадными, горящими глазами; Курбатов это заметил:

— Что, ноги сами в пляс идут?

— Идут, — сознался Лобзик. — Люблю, когда людям весело.

Потом они долго ходили среди танцующих, с кем-то здоровались, но с кем — нельзя было понять: все были в масках. Веселье затянулось. Казалось, оно достигло своей высшей точки, когда воедино сливается музыка и смех, а сама усталость отступает. Вот тут-то внезапно и потух свет.

Он потух так неожиданно, что какое-то время еще слышалась музыка, а молодежь продолжала танцевать. Лобзик схватил Курбатова за рукав. В крошечной тьме наступила вдруг недобрая выжидающая тишина.

Но глаза быстро привыкли к темноте: за окнами стояла светлая, мягкая весенняя ночь. Курбатов увидел

людей, отходивших к стенкам, услышал глухой ропот, чей-то выкрик: «Это что, намек?» Потом от дверей через весь зал донеслось:

— Всех просим остаться! Секретаря губкомла к телефону!

Курбатов и Лобзик, натываясь на людей и забывая просить прощения, ринулись к выходу.

Звонил снова Данилов. На этот раз голос у него был не злой, а какой-то очень спокойный, даже чуть усталый. Лобзик нетерпеливо дергал Яшу за рукав:

— Ну, что там? Что случилось?

— Что, перепугались? — говорил Данилов. — Неожиданный дивертисмент на балу?.. Успокойте публику: это еще не конец света, а просто авария на плотине. На реке был залом, и местные комсомольцы разобрали лес... Один человек погиб там... Ну, моль и понесло. Запань раскидало бревнами. Короче говоря, лес дошел до плотины и развалил перемычку. Она земляная, а тут еще паводок, будь он неладен. Понял ты меня?

— Да, да...

— Надо срочно поднять ребят. Сколько там у тебя человек?

— Около тысячи.

— Ого! Целая армия танцоров... Ну так вот — я уже распорядился подать эшелон.

Курбатов кинулся обратно в фойе. Подняв по привычке руку (никто в темноте этого не заметил, и шум продолжался), он крикнул, требуя тишины, но голоса его не слышали; те, кто стоял ближе, зашикали, и, наконец, в фойе стало тихо, слышалось только дыхание сотен взволнованных людей.

Курбатов вкратце рассказал, что произошло. Он не требовал, не просил, не уговаривал никого — он просто сказал, что надо всем сейчас же идти на вокзал. И когда все, один за другим, потянулись к выходу, он замешался в толпу... Выбравшись на улицу, снова крикнул:

— Строиться!

— Как они в костюмах пойдут? — спросил кто-то сзади.

— Так и пойдут. Переодеваться некогда, — резко ответил Курбатов, не оборачиваясь.

Странное это было карнавальное шествие по ночному городу. Люди почти бежали, и всё-таки ребята ухитрялись петь: «Ах куда ты, паренек, ах куда ты...» Впереди, как нарочно, шли черти, страшные, рогатые; среди них затесался Посейдон с трезубцем. Прохожие шарахались в сторону, некоторые крестились.

Данилов уже расхаживал взад и вперед по перрону, поглядывая на часы. Когда вагоны были взяты штурмом, он, подтолкнув Курбатова, сам влез за ним в теплушку и, держась одной рукой за перекладину, другой обняв комсомольского вожака за плечи, легонько прижал к себе:

— Бал продолжается... Танцы в полном разгаре... Много я, Курбатов, видел на своем веку, а такого еще не видел.

...Река уже пробила в плотине широкую, метров в десять, брешь. Через промоину, всё больше и больше размывая земляное тело плотины, с рокотом, подпрыгивая, лилась вода, кидая вниз, в водоворот, последние бревна принесенного паводком леса.

Нужно было на носилках, тачках, а то и просто в мешках на спине таскать песок и камни из берегового карьера. Пожарники, прибывшие раньше, не могли справиться одни... И вот, матрос, перепоясанный пулеметными лентами, взвалив на плечи мешок, тяжело бежит к плотине... Две девушки, одна — фея, а другая — Весна в зеленой тюлевой накидке, сняв туфли, быстро перебирая босыми ногами, несут носилки... Архиерей в клобуке, подоткнув рясу, тянет с лордом Керзоном рогожу, на которой высится целая пирамида сырого песка.

Когда через несколько часов последние струйки воды стекли вниз по плотине, Курбатов, разогнув занемевшую от мешков спину, с удивлением подумал: «Неужели кончили?»

Вместе с Даниловым он обошел весь участок; Данилов молчал. Вдруг, повернувшись к Курбатову, он спросил:

— Как ты думаешь, они жалеют об этом?

— О чем? — не понял его Курбатов.

— Ну, о том, что пошли сюда. Всё-таки бал, веселье... наряды... Смотри, ведь сегодня в баню не пориться будет, грязные все.

И, не дожидаясь ответа, ответил сам себе:

— Нет, не жалеют. А в чем же дело? Почему каждый день, на простых делах, у себя на работе, они живут не так? Плохо мы им доказываем, что каждый день можно совершать подвиги... И грязи еще много. Очень много, Курбатов...

Когда ребята собрались на берегу реки после того, как плотина была поднята, состоялся короткий митинг — очень деловой и непохожий на все те, какие приходилось видеть Курбатову. Он словно бы закреплял тот неожиданный взлет, которому суждено будет перейти в обычные, ничем не приметные внешне будни.

Стоя возле костра, Курбатов неожиданно встретился глазами со взглядом девушки, сидящей на носилках. Закинув руки за голову, она поправляла тяжелые волосы. Яков разом увидел острые локти, выскользнувшие из рукавов, нежный овал лица, задумчивые темные глаза, глянувшие на него, и отвернулся. Но тут же снова посмотрел на девушку, и теперь уже отвернулись оба.

Курбатов увидел ее снова на станции, когда она садилась в поезд. Вместе с ним был Петр Колчин, давний член бюро, хорошо знавший местных комсомольцев. Курбатов, показав глазами на девушку, спросил:

— Не знаешь, кто это?

— Знаю. Это Таня Воротова, член бюро комсомольской ячейки безработных. Идем в вагон, познакомлю.

В теплушке было человек десять, не больше. Едва Курбатов и Колчин вошли, Таня поднялась и перешла к противоположным дверям.

— Куда ж ты? — удивился Колчин. — Во-первых, здравствуй, а во-вторых... Вот, знакомься, человек с тобой поговорить хочет.

Колчин, познакомив их, отошел к ребятам, а Курбатов, внезапно растерявшись, не знал, с чего начинать разговор, смотрел в лукавые глаза девушки и терялся еще больше.

— Так о чем вы хотели говорить? — насмешливо спросила Таня. Курбатов, покраснев, нахмурился.

— Как вы относитесь к тому, что сказал на митинге Данилов? — сказал он, сам удивляясь неимоверной глупости этого вопроса; ну конечно, ей было ясно, что он брякнул первое, что пришло в голову.

— Положительно, — пожала она плечами. — Только вы уж очень меня разглядывали, я даже ушла. А что касается Данилова... что ж, он верно говорил о пьянках и безобразиях. Но знаете, хуже есть вещи.

Курбатов почувствовал, что разговор неожиданно наладился.

— Какие вещи?

— Ну, например, семейные вечера. Там не только пьянки бывают.

— Много ли их, — с сомнением произнес он. — Да и приукрашивают, мне кажется, много.

Таня, усмехнувшись, покачала головой, провожая глазами уходящие назад деревья:

— А вы не знаете. Сколько несчастий после них бывает, особенно у девушек! Вы слышали о самоубийстве комсомолки Марины Деминой? Это ведь и есть последствие такой семейной вечеринки, а в результате загублена молодая жизнь.

Курбатов слушал ее внимательно и, чтобы не обидеть девушку прямым вопросом, откуда она всё это знает, спросил осторожно:

— Вот я замечаю... вы всегда такая грустная.

— Вы наблюдательны, оказывается, — с иронией ответила Таня. — Да знаете, ничего веселого-то в моей жизни нет. Говорят о каких-то идеалах, а где они, эти идеалы, у безработной... Как-то даже смешно, что у нас при бирже труда существует комсомольская ячейка безработных и я — член бюро, политпросветработник ячейки. Ведь правда смешно?

Она как-то деланно рассмеялась. Курбатов тихо попросил:

— А вы расскажите мне, чем живет молодежь. Я ведь здесь человек новый.

Девушка не отвечала. Потом, вздохнув, опять пожала плечами:

— Чем молодежь живет? По-настоящему живет только тот, кто работает. Действительно, для рабочей молодежи у нас везде дорога, для нее и рабфаки и вузы, хотя и среди этой молодежи настроения не ахти какие и много погрешностей в быту. Некоторые недовольны тем, как работает комсомол. Всё одно и то же: политкружок, политлекция, политлотерея, политвикторина. Всё полит да полит. Или уж вечера

один за другим... Вы знаете, как всё это оскомину набило? Вот некоторые и ударяются в пьянку. Я знаю многих ребят, рабочих, которые воевали в гражданскую войну. У них тоже нехорошие настроения: «За что боролись?» Снова «Пивоваренный завод Киселева и К^о», «Колбасная Мазалева», «Мучная торговля Кожина». Ну, непонятно это многим, мне тоже непонятно, хотя я не такая уж неграмотная.

Такие разговоры Курбатов слышал уже не раз.

Не это ли говорили в Няндоме двое ночных гуляк («Опять брюханы с цепочками пошли!»)? Да, многие не понимали, что происходит, и тут тоже была вина комсомола: плохо объясняли.

Сейчас Яков, протестуя, замахав рукой, хотел было заговорить, но девушка перебила его:

— Не собираетесь ли вы мне лекцию о нэпе читать? Ой, не надо, убегу. Надоело, не хочу больше.

— Да я лекцию читать вам не собираюсь... Расскажите лучше о себе.

— Это что, анкета?

— Ну что вы, — испугался Курбатов. — Просто... Просто мне очень интересно узнать о вас хотя бы немного.

— Могу удовлетворить вашу любознательность, хотя я еще никто — ни рабочая, ни крестьянка, ни служащая... Год назад окончила школу и состою на учете на бирже труда. У нас там полсотни комсомольцев и, знаете, состав более или менее постоянный. Да это и понятно, там все такие, как я. А что дала мне школа? Общие знания и никакой профессии, никаких трудовых навыков. А кому нужны мои знания? Например, учила я астрономию, знаю географию звездного неба, знаю, где какая звезда. А кому это нужно? Да мне самой это не нужно. Один раз предложили мне пойти уборщицей в какую-то литейную мастерскую. Я не пошла. Не пошла не потому, что считаю это зазорным, а потому, что обидно. А другой работы нет. Отец у меня служащий, из-за этого я не смогла получить командировку в вуз. Справедливо это? Вот тут и тупик, податься мне некуда. А учиться очень хотелось, но я разве виновата, что мой отец не кузнец, не слесарь, а банковский чиновник? От такой жизни волком завоешь, опуститься можно... Да мои подружки, которые послабее, уже опу-

стились... Курят, пьют вино, перестали за собой следить. Всем этим и пользуются разные «уловители девичьих душ».

Разговор снова вернулся к тому, с чего начался. Голос Тани доносился до Курбатова словно бы изда-лека:

— ...Вы слышали что-нибудь о «вечерухах»? Так вот, я знаю, в одном месте они бывают частенько. Меня даже познакомили с компанией, которая этим занимается. Как всё это отвратительно...

— А что такое «вечерухи»? — спросил Курбатов.

— Не спрашивайте об этом. Это очень... скверно: групповой разврат.

Курбатов покраснел, нельзя было об этом спрашивать девушку. Однако он не успокоился. Внезапно нахмурившись, он взял Таню за локоть:

— А ведь этого нельзя так оставлять. У нас есть законы, преследующие таких людей. Тут одной воспитательной работы мало... Вы зайдите ко мне в губкомол... Да хотя бы завтра вечером. Зайдете?

Она ответила не сразу. Курбатов всё еще держал ее за локоть и выпустил, когда девушка повернулась к нему.

— Я давно хотела пойти... Пойти и рассказать. Адрес я знаю.

— Вот и хорошо.

— Хорошо? — грустно усмехнулась Таня. Тогда Курбатов заговорил о том, что сейчас волновало девушку больше всего:

— Вы не тужите. Такое положение среди молодежи будет недолго. Мы сейчас восстанавливаем наше хозяйство, а скоро будем много строить — даже памяти от безработицы не останется, людей не будет хватать... При поступлении в вузы отменяют все ограничения... ну, вот такие, с какими и вы столкнулись. Еще несколько лет — и мы сами себя не узнаем.

Девушка слушала его поначалу с прежней грустной улыбкой, а потом, иронически взглянув на него, сказала:

— А я, между прочим, всё это знаю... И... верю в это. Иначе совсем плохо было бы...

Курбатов не был в губкомоме три дня: ездил в Печаткино и вернулся, привезя с собой теплоту встречи с родными местами.

Когда он входил в свой кабинет, раздался телефонный звонок.

— Я тебе весь день звоню, — торопливо говорил Лобзик. — Где ты пропадал? Тут сегодня одно важное дело есть, подожди, я сейчас приеду...

Он появился минут через пятнадцать, прошел по комнате, скрипя кожей ремней, куртки, сапог. Лобзик, чуть расставив ноги, спросил:

— Пойдешь на «вечеруху»?

— Куда? — Курбатов не понял сразу. — А... Что, решили прикрыть? Почему же ты в это дело вмешался, а не угрозыск?

Лобзик не ответил; Курбатов усмехнулся:

— Тайна? В вашем чекистском деле от партии тайн нет.

Усмехнулся и Лобзик:

— Так ты же еще не партия, а только отдельный мыслящий коммунист.

Он хохотнул, запрокинув голову, и бросился в кресло:

— Никакой особой тайны нет. Но говорить об этом никому не надо. Задержали мы тут одного... деятеля, из-за кордона прибыл. Он на допросе раскололся. Оказывается, хозяин одной квартиры устраивает оргии по его заданию. Дело, так сказать, вроде бы уголовное, а если пошире поглядеть — политическое.

— Тогда ясно, — буркнул Курбатов. — А то — «тайна, тайна...» Когда идем?

Лобзик молчал.

— Вот что, — ответил он, наконец, сдержанно. — Сегодня в девять часов подходи к Сенной площади, пойдет группа комсомольцев-осодмилловцев. Ведет нас эта твоя девушка, Таня. Комбинация простая: ее ждут, она звонит, хозяева открывают, мы входим...

В девять Курбатов был уже на месте. Из подъезда одного из домов сразу же выбежала Таня и бросилась к нему. Он увидел ее немного растерянное лицо и, протянув руку, улыбнулся:

— Ну, что с вами? Страшно?

— Немного, — призналась она. — Они на всё способны. Один — я его видела — Геннадий, словно рысь: глаза желтые и клыки...

Лобзик подошел к ним неслышно и на ходу бросил Тане:

— Идите вперед. Мы сзади. Ты, — он придержал Курбатова за рукав, — со мной.

Курбатов шел, нащупывая в кармане шероховатую рукоятку браунинга. Он не видел ничего, кроме тоненькой девичьей фигурки впереди: Таня шла одна, осторожно ступая по камням тротуара. Курбатов слышал, как постукивают ее каблучки, и внезапное теплое чувство близости к этой девушке охватило его; он даже немного замедлил шаги, потрясенный.

«Может быть так, внезапно, когда не подозреваешь, и приходит любовь? Сама собой, будто случайно — приходит и занимает свое место в твоей жизни».

...Вот и калитка, ведущая в небольшой захламленный двор. Вдоль стены стоят сараи, а за ними — голубятня, сбитая из ржавого кровельного железа. Прижимаясь к дровяницам, осодмиловцы скользнули в глубь двора и оказались на крутой, с разбитыми ступеньками лестнице. Здесь пахло кошками, кислой капустой, и Курбатова передернуло: ну и логово!

Таня поднялась на второй этаж и, когда Курбатов и Лобзик встали рядом, дернула три раза ручку звонка. Сначала, когда умолк колокольчик, всё было тихо там, за дверями, потом послышался женский голос:

— Кто там?

— Я, откройте, — громко сказала Таня.

Дверь открылась:

— Что ты так поздно? С тобой никогда нельзя по настоящему договориться.

Таня вошла первой, а за ней Лобзик с пистолетом наготове и двое осодмиловцев. В прихожей они оттерли и прижали к стене открывшую им девушку в легком халатике с распущенными волосами.

— Только тише, — шепотом предупредил Лобзик, — иначе плохо будет.

Из комнаты, где сидела компания, донесся неприятный, силовый голос:

— Вера, с кем ты там застряла?

Другой голос отозвался смехом.

В это время Лобзик распахнул дверь и, вытянув слегка руку с пистолетом, приказал:

— Сидеть смирно, стрелять буду.

Курбатов вошел за ним. Двое осодмиловцев быстро встали у окон. Курбатов огляделся.

В большой комнате с мягким пушистым ковром на полу и дорогой, хотя и безвкусной мебелью стоял стол, заставленный бутылками. Было жарко и накурено. За столом сидело человек пять парней и две девушки — все почти голые.

— Ваши документы, — потребовал Лобзик.

Из-за стола медленно встал высокий худощавый парень. Свет от лампы упал на его лицо, и Курбатов узнал Генку. «Как он оказался здесь? Неужели ему простили и выпустили на свободу?..»

Желтые рысьи глаза с ненавистью глядели на Курбатова. Ленивым движением Генка накинул на голое тело пиджак, столкнул со своего стула девушку и, упершись руками о стол, так же медленно сел:

— А, чумазый! Вот ведь и снова встретились. Мне говорили, что ты в больших начальниках ходишь, а ты, оказывается, просто сексот.¹ Небольшая же шишка. Ну да где тебе, чумазому, в начальниках ходить. Документы тебе надо? Сейчас получишь.

Он стал рыться в карманах пиджака, и Курбатов вынул браунинг: мало ли что может выкинуть эта сволочь. Злоба душила его, он еле сдерживал себя. Но, забыв, что не он здесь главный, Курбатов приказал:

— Всем выйти из-за стола.

Лобзик, удивленно взглянув на Курбатова, подошел к Генке и точным сильным рывком заломил назад его руку. При свете закрытой снизу лампы тускло блеснул ствол нагана.

Обыск ничего не дал. Лобзик, кивнув осодмиловцам — «ведите!», сдернул с лампы плотный абажур; свет, словно ворвавшись в комнату, осветил ее всю — и омерзительные фотографии на стенах, и бутылки с вином, и смятую, скомканную постель...

Внизу уже стоял крытый фургон, и лошади нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

¹ Сексот — секретный сотрудник.

О том, что Ленинградский губком комсомола оказался в руках зиновьевцев, здесь, в городе, знали понаслышке — одни больше, другие меньше. Известие, что губком принял страшное в своем цинизме решение, отказавшись подчиниться постановлениям четырнадцатого съезда партии, оказалось неожиданностью: слишком трудно, невозможно было поверить, что такое могло произойти. Но это произошло, и всем стало ясно, чьи руки, чья злая воля направляли Ленинградский губкомол.

Однажды, придя в губком, Курбатов среди утренней почты увидел на своем столе увесистую бандероль с почтовым штемпелем Ленинграда. Разорвав бумагу, он вынул пакет с надписью: «Синяя папка», хотя на самом деле это была самая обыкновенная канцелярская папка. В ней оказались аккуратно уложенные антипартийные оппозиционные документы — платформа оппозиции, несколько листовок, решение Ленинградского губкоммол, книга Зиновьева «Ленинизм» и т. п.

Рассылкой этой «Синей папки» преследовалась одна цель: втянуть другие губернские комсомольские организации в борьбу против партии.

Курбатов безглаголиво поморщился и, захлопнув папку, отложил ее в сторону. «Покажу Данилову... Что-то уж больно оживленно трудятся ленинградские губкомовцы... Надо узнать, сколько и кому еще прислали...»

Данилов, наспех пробежав документы, бросил их в ящик, пошутив при этом, что «ящик долгий».

— Ты мне вот что скажи: у тебя-то в комсомоле как? Без этих?.. — он покрутил пальцами возле лба, и Курбатов невольно засмеялся — так это смешно и ехидно получилось у Данилова.

— Да нет, не без этих... Вы же Галкина знаете. Да вот его статья была — о градуснике, — усмехнулся он.

Курбатов коротко рассказал ему о Галкине, и секретарь губкома крикнул:

— Переводить его надо было, переводить...

— Переведешь... — снова усмехнулся Курбатов. — Он в ЦК поедет, правоверным сделается, меня же в личной неприязни обвинит.

— Ладно, — недовольно пробасил Данилов. — Поговорим после.

Курбатов понял, что Данилов недоволен тем, что в губкомле есть «умники», и тем, что он, Курбатов, с ними возится, хотя давно пора было бы причесать их как следует. Впрочем, он и хотел поговорить с Галкиным, но тот после возвращения из Москвы покаялся в грехах, напечатал в «Красном Севере» опровергающую самого себя статью, и дело ограничилось словесным внушением на партийной ячейке.

Был и другой «умник» — на механическом заводе. Здесь к Курбатову как-то подошел рабочий паренек и, вытирая ветошью измазанные маслом руки, сказал:

— Что же вы к нам всякое дерьмо присылаете?

— Какое дерьмо?

— Да этот, Антонов. Ходит, только воду мутит.

Антонова прислали из ЦК комсомола: какими-то путями он перевелся сюда из Ленинграда. Характеристика у него была обычной, и только после беседы на механическом Курбатов насторожился.

Когда Курбатов рассказал об этом секретарю райкома комсомола Чубукову (завод входил в его район), тот набылчился:

— Брось ты эту демагогию разводить, тебе уже всюду оппозиция мерещится. А если парень с мозгой и думает не так, как записано в решении под нажимом Курбатова, то еще не беда. Я его в состав пленума выдвину, между прочим.

Пленум был назначен на начало января; Антонову послали гостевой билет. Ждали Данилова, но он уехал в Москву, и Курбатов, волнуясь, открыл пленум.

— Еще до съезда на дискуссии и после съезда на проработку его решений у нас ушло много времени и сил, но зато мы можем сказать, что комсомольцы и молодежь, которые участвовали во всем этом, многому научились. На собраниях наших ячеек было предоставлено право говорить всем, также и оппозиционно настроенным товарищам. Я, пожалуй, огорчился, назвав их товарищами. Нашими товарищами могут быть только те, кто беззаветно предан партии и борется за ее генеральную линию, за решения съезда. Во всяком случае, они открыто проповедовали свои антипартийные взгляды. И вот сегодня мы

выдали им гостевые билеты на наш пленум. Не наша вина, товарищи, что от них все отвернулись и всем надоело слушать их трепотню и клевету на партию. Меня тут на механическом один парень так и спросил: «Зачем дерьмо прислали?»

Съезд партии, вы знаете, утвердил генеральную линию. Всё стало ясным; только, мне кажется, что еще не всё ясно тем, кто забрался в оппозиционные переулки. На этом пленуме мы должны потребовать от наших доморощенных оппозиционеров — от того же Галкина, Чубукова и Антонова — честно выступить и рассказать об их теперешних настроениях и о том, разделяют ли они решения съезда партии. Могут ли они сказать, что признают свои ошибки?

— Мы скажем! — раздался с места голос Галкина.

— Так я к этому и призываю вас. Кстати, несколько слов о Галкине... Он член бюро губкомла. Все мы его знаем, вместе учились, вместе работали. Партия его тянула, он стал вроде бы политически грамотным, а...

— Ты брось обо мне трепаться! Что я тебе, брюква на выставке, что ли? — зло перебил его Галкин.

— А ты зря сердишься, — улыбнулся Курбатов. — Видно, правда глаза колет.

По залу прошел легкий смешок: о Галкине в губкомле сложили «сентиментальный романс» со словами: «Но пусть непризнанный я гений — я не меняю убеждений. Умру, любя, умру, любя лишь только одного себя»...

Курбатов, подождав, продолжал:

— Галкин требует от нас поворота к старым формам работы, которые давно были отвергнуты самой молодежью. Он выступает против организации комсомолом досуга молодежи, политической учебы. По этим вопросам он нам навязывает спор, какую-то новую дискуссию. Спорить нечего: съезд партии очень ясно сказал, чем должен заниматься комсомол. Пускай здесь Галкин и скажет, как он относится к этим решениям съезда и будет ли он работать или по-прежнему мешать и разваливать организацию.

— И скажу! Думаешь, испугаюсь тебя, аппаратчика? Скажу, как ты критику зажимаешь! — крикнул Галкин. На него зашикали, председатель постучал

карандашом о графин и спросил, кто будет выступать.

Галкин поднялся со своего места:

— Дай-ка мне слово.

Он протиснулся между рядами и, на ходу доставая из карманов какие-то бумажки, поднялся на трибуну. Он был бледен, взволнован. Обеими руками приглаживая свою непослушную кудрявую шевелюру, Галкин, усмехнувшись, сказал:

— Вот тут Яков Курбатов произвел меня чуть ли не в вождя оппозиции. Договорился до того, что я мешаю работать и даже разваливаю работу в организации.

Кто-то крикнул из зала:

— Правильно, мешаешь!

— Давай, говори об оппозиционных взглядах. А насчет практических твоих дел я еще скажу, — поднялся с места и бросил реплику Карпыч: он только вчера приехал из Няндомы и весь вечер рассказывал Курбатову о директивах, присылаемых Галкиным.

— Вот тут требуют, — продолжал Галкин, показывая на Карпыча, — чтобы я сказал о своих якобы оппозиционных взглядах. А я скажу, что у меня этих взглядов и не было.

— Не ври, не крутись! На комсомольских собраниях со своим ленинградским дружкой Антоновым вместе выступали, — заметил Курбатов.

— Видите, мне не дают говорить. Где же демократия? Почему секретарь губкомла не дает мне высказать своих взглядов?

Колокольчик председателя наконец-то водворил тишину, и Галкин продолжал, подавляя волнение:

— Не во всех вопросах, а только в некоторых я был не согласен. Первое — я не был согласен, да и сейчас это мнение у меня осталось, что наши предприятия являются предприятиями последовательно социалистического типа. Если предприятия социалистические, то почему у нас есть безработица, почему мы вводим броню подростков, почему рабочий не получает полностью за свой труд в размере тех ценностей, которые он производит? Почему жмут на рабочего, заставляют выполнять его норму выработки, могут уволить с завода, если рожа рабочего не понравится начальству? Да и много

еще есть «почему»... Пока никто меня не убедил в обратном, а если так, то «госкапитализм назовемте госкапитализмом».

Он закончил свое выступление цитатой из книги Зиновьева и не успел сойти с трибуны, как сразу же на его место встал Чубуков — растерянный, даже, пожалуй, подавленный всем тем, что здесь происходило:

— Ну, что я вам скажу, ребята?.. Скажу по-честному, по-рабочему: запутался я, вернее — запутали меня, а я сразу не разобрался, да и стал звонить в чужой колокол. Ну и попал я в темный переулок. Вот только съезд партии мне помог... Здорово помог! Я полностью согласен с партией, что социализм в нашей стране мы построим, что наши предприятия — последовательно социалистического типа. Тут до меня Галкин болтал на эту тему. Видно сразу, что он промышленных предприятий не знает. Он думает, что работать на заводе всё равно, что коров пасти, — особой дисциплины не надо. А вот попробуй без дисциплины металл, литье из вагранки получить или на паровом молоте отковать что-либо, или паровоз отремонтировать. Без дисциплины тут ничего не сделаешь.

...И вот еще что: любой малограмотный рабочий не поверит, что он работает на капиталистическом предприятии. Разве бы у нас стала в таком случае развиваться рационализация? Стали бы сами рабочие заботиться о производительности труда? Хотя Галкин и заведующий экономотделом губкомла, а в рабочих ячейках не бывает. Он, конечно, грамотнее меня, умеет говорить красиво, а я говорю, как умею, и выкладываю вам начистоту.

...Простите меня, ребята! У партии я еще прощения просить буду. Простите, запутался. Я ослеп. Но теперь всё вижу, вижу, что не туда и не за теми пошел. А где я был с ними, завтра об этом расскажу на бюро партколлектива и туда же принесу всю «амуницию», которой меня снабжали.

— Предатель! — крикнул из зала Антонов. Чубукова передернуло. Он грохнул кулаком по трибуне; стакан, жалобно звякнув, свалился на пол:

— Чего кричишь, ты, замухрышка! Я партию и товарищей никогда не предавал и не предаю. О тебе же разговор особый... Поздно я тебя понял и о тебе еще

многое расскажу. Расскажу, как ты ловишь вот таких дураков, как я, пугаешь их и заставляешь идти против партии. Про тебя, про твоих подголосков Бека, Ханина расскажу.

В зале зашумели; колокольчик в руках председателя звенел беспомощно. Наконец, перекрывая голоса, председатель объявил:

— Слово имеет Антонов.

На трибуну выбежал коротконогий, с большой головой, взъерошенный Антонов. Поправляя очки короткими толстыми пальцами, он начал говорить путанно, поспешно, будто боясь, что ему не дадут говорить:

— Я, товарищи, много говорить не буду, знаю, что это бесполезно. Вас большинство, и вы не умеете уважать мнения меньшинства. Прежде всего я хотел рассказать вам о том, что Ленинградская комсомольская организация не согласилась с решениями четырнадцатого съезда партии и вынесла по этому вопросу свое решение.

— Организация или губкомол? — ехидно поинтересовались из зала.

— Решение вынес губкомол, но губкомол отражает мнение всей организации.

— Всей ли? Сколько сейчас там ваших сторонников? — снова крикнули с места.

— Я хочу не об этом сказать, а о том, что вот этот аппаратчик (он ткнул своим толстым пальцем в Курбатова) скрыл от вас и от всех, что он получил из Ленинградского губкомола «Синюю папку», где были все документы, о которых вам необходимо знать.

Это был точный расчет: в зале загалдели. Курбатов, никак не ожидавший такого поворота, побледнел. Он поднялся и спросил:

— Что, сейчас по этому вопросу дать справку или потом?

— Давай для ясности сейчас.

— Тогда проголосуем, а то Антонов скажет, что я не дал ему говорить. Кто за то, чтобы я сейчас дал справку? Большинство. Тогда минуточку, Антонов. Да, я получил «Синюю папку». В ней были те же самые оппозиционные антипартийные документы, о которых не раз говорилось на собраниях, и мне кажется, что все они вам надоели.

— Надоели, правильно, долой!

— Поэтому я вам ничего об этой папке и не сказал. Но все документы, которые там были, я сдал в губком партии товарищу Данилову. Продолжайте, Антонов, я кончил.

Антонов, подождав, пока в зале утихнут смешки, будто и не зарвался только что, начал говорить о другом, поблескивая стеклами очков:

— У нас, среди ленинградских активистов, распевалась, между прочим, такая частушка:

И решили мы на съезде:
Социализм в одном уезде
Будем строить без конца —
Ламца-дрица, гоп ца-ца.

Сейчас я и буду говорить об этом «уездном социализме», ибо это основной вопрос наших разногласий с большинством.

— Не с большинством, а со всей партией, — не выдержал всё-таки Курбатов: черт с ним, пусть кричит, что ему мешают говорить. Антонов с иронической вежливостью поклонился:

— Раз вы считаете, что со всей партией, то пускай будет так... Подумайте только, товарищи, об «уездном социализме», и вы придете к выводу, что его без мировой революции построить нельзя.

— А если ее долго не будет — пропадать нам всем, что ли? Что же мы тогда строить будем?

Антонов обернулся: сзади стоял Карпыч и тянул его за край пиджака. Обиженно отойдя в сторону, Антонов развел руками — мол, видели, какова демократия. А Карпыч, неуклюже ворочаясь на трибуне всем своим грузным телом, тиская одну в другой черные, неотмывающиеся руки, пробурчал:

— Прощу слова по порядку ведения нашего пленума. Что же это, товарищи? Разве опять после съезда дискуссия открылась? Почему сегодня нам снова приходится выслушивать клевету на решения съезда, на партию? Я предлагаю лишить Антонова слова и отобрать у него гостевой билет. Ты, Курбатов, не звони в колокол-то свой. Ты хотел показать, что партия оппозиционерам рот не зажимает, а мы сейчас с этим не согласны. Мы хотим покрепче им рот зажать. Хва-

тит, наслушались. А этого брехуна я предлагаю из зала вывести. Поднимайте-ка, ребята, кто «за».

Когда в зале поднялся лес рук, Карпыч, потоптавшись, повернулся к президиуму:

— Ты уж, Курбатов, меня извини, что я в твои функции влез. Я думал, так скорее будет, и оппозиционерам крыть, глядишь, нечем: не «аппаратчик» их зажал, а чумазый рабочий с паровоза.

Карпычу хлопали яростно. Он еще постоял, будто вспоминая о чем-то, но, видимо, так и не вспомнив, спустился вниз, на ходу пожимая протянутые руки. А Курбатов безудержно хохотал и не мог остановиться: «Ай да Карпыч! Ну и наловчился же говорить, парень». И хлопал ему вместе со всеми.

* * *

На следующий день был убит Митя Чубуков. Он шел на бюро партийной ячейки и нес с собой всю оппозиционную литературу. Кирпич, сброшенный с крыши одного из домов, убил его наповал.

Казалось бы, всё было ясно — кто и зачем это сделал: Антонов или, может быть, Галкин. Но чекисты их не нашли дома: оба — и Антонов и Галкин — оказались большими любителями подледной рыбалки и уехали за город. В час убийства их видели на озере десятки человек. Данилов, узнав об этом, усмехнулся:

— Ловко они устроили себе алиби, вроде не подкапашься. Только кто же поверит, что после такой вострепки они так сразу и захотели свежей рыбки? Ах, сволочи!..

Бека и Ханина, о которых упомянул на пленуме Чубуков, не нашли. Очевидно, убийство было их делом, и они успели скрыться.

11

Для людей молодых, если только они не праздны, три года — срок небольшой; к тому же в молодости не знают еще цену времени и торопят его, не боясь, что когда-нибудь будут вспоминать о прошедшей юности с грустью.

Курбатов, казалось, и не заметил, как прошли эти три года. Просто было немного странно, что однажды утром, проснувшись, он подумал: «А ведь сегодня мне двадцать пять»; странно было встретить на вокзале высокого парня, нет, мужчину, даже, пожалуй, эlegantного мужчину, инженера Валентина Эрнестовича Кията, — только такие факты и были для него приметамн прошедших лет. Он не удивлялся тому, что Печаткино разрослось, что там построили еще два завода, объединенные со старым в комбинат, и что упорно говорили о строительстве там тракторного гиганта. Не удивлялся он этому потому, что бывал там каждый месяц — то наскоками, то выбираясь к печаткинским комсомольцам «всерьез и надолго». Ведь так всегда бывает: родители, каждый день видящие своего ребенка, обычно не замечают, как он растет...

За три года выросло и укрепилось у Курбатова и другое — то, что пришло к нему неожиданно в теплушке, возле окна, и было еще тогда чем-то неосознанным — любовь к Тане. Поначалу он просто испытал желание чаще встречаться и говорить с хорошим, приятным человеком. Мало-помалу он начал замечать: что бы он ни делал, куда бы ни ехал, он вдруг ловил себя на мысли, что ему хочется, чтобы здесь была и Таня и чтобы он мог сказать ей что-нибудь — только затем, чтобы услышать ее ответ, ее голос. Когда один из членов бюро губкомла спросил его как-то, почему он, Курбатов, так внимательно следит за работой наробраза, Курбатов вспыхнул и резко ответил, что народное образование должно быть всегда в центре внимания комсомольских организаций. Это была правда. Но в наробразе работала Таня, и Курбатов — надо и не надо — часто звонил и навещался туда даже по мелким, не заслуживавшим такого внимания делам.

Образ Клавь, заслоненный другим, потух, поблек. и старая боль уже больше не появлялась.

Но Таня, казалось, не замечала ничего или, по свойственной девушкам манере, не хотела ничего замечать великолепно зная, что происходит в душе Курбатова. Он ревновал ее, — и это тоже было заметно, — буквально ко всему: к работе, к маленьким беспризорникам,

о которых она постоянно заботилась, к людям и вещам, которые ее окружали.

Наконец Курбатов решил, что дальше так продолжаться не может. У него бывало состояние, когда ему казалось, что он задыхается. Такое состояние появлялось всё чаще и чаще, оно становилось мучительным. Как-то, еле дождавшись конца одного заседания, Курбатов вышел на улицу и, еще не зная, что он скажет, пошел к Тане домой.

Он не застал ее. Дома были только двое пареньков лет двенадцати — беспризорники, с которыми возилась Таня. Тихо войдя в квартиру (двери были открыты настежь), Курбатов услышал деловитые и вместе с тем необычные мальчишеские голоса:

— Чинарик дашь?

— Факи.

— Зря обозвались Таньке.

Курбатов вошел, и ребята, вскочив, начали судорожно делать вид, что они — упаси боже! — не курили, а дым взялся неизвестно откуда.

Курбатов вспомнил, как сам начинал курить, и, расхохотавшись, сел.

— Смотри, рукав прожжешь, — заметил он одному из пареньков, который старательно прятал в рукаве окурки. Ребята, видимо, поняв, что ничего страшного им не грозит, переглянулись и заулыбались.

Через пятнадцать минут Курбатов уже знал, что эти двое — из Пензы, удрали из «стайки» налетчиков-отыма, что «факи» значит «ну, конечно», а «обозваться» — поклясться в чем-либо: они поклялись Тане не курить. На вопрос, как же они, эти двое, жили, ребята, снова переглянувшись, протянули вперед руки и запели высокими, срывающимися, хватающими за сердце голосами:

Ой ты, ноченька, ночка темная,
Погубила меня, молодца:
Этой ноченькой, ночью темною
Я зарезал родного отца.
И от ужаса преступления
Я над телом отцовским рыдал,
На колени встал, приготовился,
Но осечку мой маузер дал.
И теперь, за тюремной решеткою...

Вошла Таня, и ребята замолчали. Курбатов поднялся ей навстречу, охваченный одновременно и острой жалостью к этим двум хлопчикам с исковерканной судьбой, и любовью к ним, и невыразимой болью от сознания, что много еще таких ободренных пацанов ходит по всей России с протянутой рукой и заунывной, нивесть кем сочиненной песней о человеческих бедах.

Быть может, именно потому он не мог сказать Тане того, что хотел сказать, а, посмотрев на ребят, дружески попросил:

— Знаете что, пойдите, погуляйте, а? В кино зайдите, я вам денег дам... Только чур — без этих... чинариков. Ясно?

Таня молчала; она не воспротивилась этой просьбе Курбатова.

Когда ребята, сделав глупые лица, — хотя, конечно, они великолепно понимали, о чем идет речь, — ушли, Курбатов обернулся к Тане. Он с минуту глядел в ее глубокие, карие, с хитрыми золотистыми искорками глаза и, чувствуя, что бледнеет, шагнул к ней. Та решительность, с которой он сказал ей, что им пора быть вместе, что они (во всяком случае он) жить иначе не могут, немного удивила девушку. Встрепенувшись, словно пытаясь возразить, она замерла, прислушиваясь, что он скажет ей еще. Но Курбатов, дотронувшись до Таниного плеча, тихо попросил:

— Ты подумай... Я долго думал об этом... Только ты... сразу скажи.

Тут он растерялся, всю его решительность как рукой сняло. И тогда Таня, приподнявшись, обняла его, прижалась к нему и, пряча у него на груди лицо, тихо, счастливо рассмеялась:

— Глупый... Давно я... Глупый...

* * *

Данилов вызвал его неожиданно, в неурочный час — ранним утром. И, проходя по длинным коридорам обкома, Курбатов терялся в догадках относительно того, что случилось и почему секретарша Данилова, позвонившая по телефону, добавила: «Очень срочно».

Данилов был взволнован. Обычно ровный и внешне

спокойный, сейчас он ходил из угла в угол своего кабинета и, увидев Курбатова, даже не поздоровался с ним. Остановившись, он сказал ему как-то торжественно, не дожидаясь, пока тот пройдет в комнату:

— Слышал, комсомолия, новость? Начинаем проводить коллективизацию... Наконец-то... Будем раскулачивать мироедов, создавать новое — колхозы. Ты чуешь, какое время идет? Ах ты, какое время! Давно уже все об этом думали... Это революция... Да, да, революция, — подхватил он эту, внезапно пришедшую мысль. — Всю деревню с головы на ноги поставить, а? Завтра пленум. Лучших большевиков пошлем в деревню. Рабочих пошлем. Ты учти, тебе тоже придется ехать, так что выбирай район.

— В Няндому, — торопливо, словно Данилов собирался возражать, ответил Курбатов. В памяти сразу же всплыли рыжее, искривленное злобой лицо Рубца, его ненавидящие, подернутые какой-то белесой пеленой глаза...

Немного успокоившись, Данилов, поглядывая на часы (члены бюро собирались медленно!), познакомил Курбатова с присланными из ЦК документами. Собственно, ничего нового в них не было: о начале коллективизации знали и говорили давно, к ней готовились и документы ЦК воспринимались сейчас как приказ по армии о наступлении.

Курбатов в душе ликовал. Наконец-то сбывалось то, о чем он мечтал всякий раз, как только речь заходила о деревне.

Когда они поговорили обо всем, Курбатов, нерешительно глядя на Данилова и не зная еще, удобно ли начинать сейчас такой разговор, пробормотал:

— У меня, Алексей Николаевич, к вам еще дело есть.

Данилов, с трудом оторвавшись от своих мыслей, наклонился к нему.

— Так какое дело-то?

— Я хочу... Хочу посоветоваться с вами. Мне больше не с кем, а вопрос для меня серьезный... Лично для меня.

— Понятно. Ну, выкладывай, не смущайся.

— Я, Алексей Николаевич... Я решил жениться, — проговорил Курбатов, причем последнее слово он произнес с трудом.

Лицо у Данилова не изменилось, только в глубине его глаз как будто загорелся веселый огонек.

— Жениться, говоришь? Дело-то серьезное, тут с маху нельзя, надо всё взвесить. Ведь я не думаю, что ты хочешь жениться, как сейчас иные женятся или замуж выходят. Поживут неделю, месяц, год и трах, бах — характерами не сошлись. Ты не просто жених, а еще и молодежный вожак.

— Что вы, Алексей Николаевич! Я всё обдумал. Я серьезно... Да и Таня не такая. Мы... любим друг друга, — сказал, всё еще волнуясь, Курбатов.

— Ну, это еще не резон. Влюбляться каждый может быстро, а вот любить... Я всё это к тому говорю, что знаю, — люди женятся по-разному. Иные женятся просто от скуки, от тоски одиночества и оттого, что некому оторвавшуюся пуговицу пришить...

— Нет, я люблю Таню... и она меня!

— Ну, если так, то я на свадьбу приду, — поднялся Данилов. — Вроде посаженного отца буду. Пригласишь? Да ты не смущайся, стариков нынче молодежь не очень-то жалует. Только предупреди жену, что работа у тебя... трудная и что скоро придется уехать... Быть может, надолго. Вообще, сладкой жизни ей не обещай. До нее еще не близко...

— Да это она знает, Алексей Николаевич. Она понимает...

Курбатов ушел от Данилова с необычайным ощущением чего-то светлого и большого, что уже прочно, раз и навсегда, вошло в его жизнь.

«Революция»...

Он помнил это слово, сказанное Даниловым, и с удивлением прислушался к нему: да, революция, и он, Курбатов, будет ее участником, потому что эту революцию делает его партия, а для него иной судьбы нет.

* * *

На пленуме крайкома обсуждался только один вопрос: «О темпах сплошной коллективизации и о ликвидации на ее основе кулачества как класса». В постановлении пленума проектировалось создание в крае колхозов-гигантов, предлагалось обобществить весь крупный и мелкий скот, птицу. На совещании членов бюро об-

комов, созванном сразу после пленума, Курбатов не выдержал и спросил у секретаря краевого комитета партии Баранова:

— Куда мы будем девать раскулаченных?

Баранов ответил быстро и резко:

— Не твое дело о кулаке заботиться. Ты мне поедешь колхоз-гигант создавать.

На обратном пути Данилов хмурился, молчал, думал, а уже прощаясь с Курбатовым, сказал, усмехнувшись:

— Крутенок-то, оказывается, секретарь... Из молодых, да ранний...

И не понять было, сказал ли это Данилов с упреком или удивлением.

Таня не смогла проводить Курбатова: она отправляла партию колонистов, и прощание было поспешным, сумбурным и немногословным. Курбатов увозил с собой ощущение долгого поцелуя и сказанные шепотом ласковые, идущие откуда-то из самых глубин души, слова: «Береги себя...» Сидя в поезде и прислушиваясь к перестуку колес, он поймал себя на том, что думает о Тане, но уже без прежней тревоги. Он несколько раз повторил про себя непривычные слова «моя жена» и, улыбнувшись, начал думать о другом — о том, как удивятся ребята, увидев его в Няндоме.

Он ошибся. Ни Карпыча, ни Алеши Попова, ни Рябова в Няндоме не было. Лукьянов уехал в глубь округа.

В Няндомском округе уже с весны начали проводить большую разъяснительную работу о коллективизации, но сил явно не хватало. Крестьян интересовали вопросы о внутренней жизни колхоза, но мало кто мог осветить их по-настоящему: дело было новое, центральная печать тоже молчала. Существовавшая с двадцатых годов в округе коммуна была маломощной и явно не удовлетворяла местных жителей.

После долгих расспросов Курбатову удалось установить, что в Лемжу уехал Карпыч: «Ах, черт какой, надо ему было ехать именно туда...» Курбатов досадовал, не отдавая себе отчета в том, что досадует не потому, что Карпыч уехал, а что уехал он именно в Лемжу, куда первым делом хотел ехать он сам. Он торопливо договорился в окружке о том, что ему

дадут до Лемжи лошадей, и так же торопливо пошел в Дом крестьянина — писать первые письма.

Оставшись один, он лег на кровать, закрыл глаза, и неотвязные мысли снова полезли в голову, — те мысли, которые пришли к нему еще там, на пленуме, и на которые он не мог пока получить или найти ответа.

Думалось ему об одном. Да, время коллективизации назрело. Иначе жить страна не может, не может иметь высокоразвитую промышленность социалистического типа и рядом — мелкотоварное хозяйство в деревне. Всё это так. Верно, что коллективизация должна подкрепляться не только организационно, но и технически. Но многое неясно: например, новой техники в деревне пока не видели... Неужели придется пока обходиться старой «техникой» — лошадьми?

От мыслей его оторвал четкий стук в дверь.

— Войдите, — неохотно крикнул он.

Дверь открылась, и в нее боком просунулся тощий, низкорослый мужичок, о каких говорят «глиста, а не человек». Еще в коридоре он стянул с головы шапку, и Курбатов с удивлением разглядывал голую голову с тонким, почти детским пушком над ушами. Только реденькая рыжая бороденка украшала его лицо.

— Ты уж извини меня, товарищ полномоченный, — тонким голосом заговорил он: — Меня на это время к тебе приставили. А дело такое. Вызвал меня председатель Александра Васильич и говорит: ты, говорит, Пахом, отчаянный мужик и деревню знаешь. Опять же из Лемжи родом. Так что я смело тебя к нашему дорогому товарищу полномоченному приставлю, и ты, говорит, в случае чего, помогай ему...

Курбатова развеселила эта тирада, высказанная единым духом, тем знакомым и милым северным говорком, который он любил.

— Что ж, давайте знакомиться... Как вас — Пахом, Пахом...

— Лукичом кличут. Так я, значит, насчет лошадей пришел спросить: как ехать-то изволите — верхами или в тарантасе?

— А ты, дед, как думаешь?

— Да по мне что... Только в тарантасе для коней припасу взять можно.

— Хорошо, поедem в тарантасе.

Пахом присел на краешек стула, показывая всем своим видом: мол, я могу и встать, если начальству неприятно, что сижу в его присутствии.

Курбатов, всё еще с любопытством разглядывая кучера, улыбался. Тот, приняв эту улыбку на счет своей внешности, предупреждающе поднял руку:

— Так что не сумлевайтесь, меня к вам не зря поставили... У кого хошь спросите, какой я отчаянный...

Вечером Курбатов выехал в Лемжу. Он вспоминал, как ехал туда же с неразговорчивым возницей и как тот потом разговорился. На этот раз возница был другой, и Курбатов не знал, как его остановить. Сидя не на облучке, а рядом с ним, в тарантасе, он то плел про свою службу в Питере денщиком у какого-то полковника, то вдруг начинал уговаривать Курбатова:

— Ты, товарищ полномоченный, дозвожь мне Рубца да Бахвалова раскулачить. Я ж у них, стервецов, в работниках ходил, как есть с зари до зари спину гнул, они у меня, конкретно, всю душу выпили. Я уж им, гадам, всё припомню. Я, можно сказать, один раз в жисть себя человеком почувствовал, да и то, когда попом был.

Курбатов, изумленно поглядев на него, спросил недоверчиво:

— Как это — попом?

— Да так, — ответил Пахом, словно сам удивляясь тому, что с ним произошло. — Дело так было. Серость тогда и неграмотность совсем деревню заели... Ну, в бога-то, значит, все верили, а церковь не действовала: попа за агитацию против советской власти в исправдом посадили. Дьякон остался, а попа нет. Ну, а я, надо вам сказать, всю воскресную обедню наизусть знал, не хуже попа... Жена моя портниха была, много к ней заказчиц ходило, деревенских баб да девок. Жена-то и проговорилась, что я-де обедню, значит, знаю. После этого деревенские бабы и пристали ко мне: отслужи да отслужи. Я это вначале отбивался от них, — дуры, говорю, вы. Конечно, обличием своим и похож я на попа и обедню знаю, это точно. Только ведь и в сан-то я не посвящен, да и рясы у меня нет. Что, говорю я, в портках на выпуск да в пинжаке служить-то буду? Смехота ведь, говорю. Понимать надо, о чем просите-то. Всё же отбиться не мог. Ничего не

помогает. Одна шустрая бабенка мне и говорит: «Один-то раз и без посвящения в сан отслужить можно. А ряса — что? Она тебе и не нужна. Ты в ризе служить будешь». Я опять говорю: «Ну что вы, дуры, как это так можно. Риза-то, говорю, только зад прикроет, а ведь перед-то весь голый, из-под него всё мое обличье видно». Одна из баб и говорит: «Ничего, мы тебе юбку черную наденем. Она за рясу и сойдет, из-под ризы не видно. А грудь-то ризой всё едино будет прикрыта». С этим и остальные согласились, и вот, значит, уговорили меня. Известно — бабы: они кого хошь уговорят.

Подошло и воскресенье. Расчесал я утром, смазал деревянным маслом волосы (Курбатов еле сдержался, чтобы не фыркнуть, посмотрев на пушок над ушами Пахома), примерил юбку, что бабы принесли. Длинновата была, да, думаю, ничего, сойдет. Завязал я ее в узелок и пошел в церковь. Правда, оторопь меня брала, страшновато было, да уж отказаться-то нельзя. Пономарь еще глаза не успел продрать, а уж, что ошале-лый, звонил в колокола на всю округу. Звон далеко слышно. Своих-то, деревенских, я не боялся, да ведь к обедне в церкву шли и из других деревень.

Стал я, значит, готовиться. Надел юбку, застегнул ее на крючки. Ризу надел. Вроде всё ничего. Правда, хвост от юбки немного по полу волочится, будь ты не-ладна!

Из-за этого-то всё и приключилось. Пошел это я с крестом кадить в народ, махаю кадиллом. Дьякон, черт рыжий, и наступил мне на юбкин хвост, крючки лопнули. Лопнули крючки — и юбка свалилась. Я, правда, не растерялся, — подобрал юбку и сунул ее под ризу. И вид, говорят, у меня такой был, точно ничего не произошло. Конечно, многие это видели. А потом без юбки-то из-под ризы весь мой костюм видно. Брюки в полосочку со складочкой. Конечно, которые не наши, деревенские, зашумели и стали обидные для меня слова произносить: «Леший, говорят, какой-то, а не поп. Что это он, прошелыга, над леригией глумляется? В церкву ряженным пришел. Из-под ризы-то не поповские портки видно. Какой же это поп?»

Обидно было слышать, но всё еще ничего. Дальше хуже получилось. Дьякон этот, черт рыжегривый, причастье готовил. Готовит он причастье, а церковного

вина, значит, у него и не хватает. Так он, не спросив, бухнул туда чистой водки. Значит, не причастье, а ерш получил. Я-то, конечно, всего этого не знал.

Причащаю я это православных христиан и вижу, что бабы чего-то морщатся, а детишки — так те кашляют. Вот подходит под причастье кум мой. Ехидной такой мужичонка был. Дал я ему причастье, а он проглотил, да и крякнул. Громко так крякнул. А потом и говорит: «Ох ты, и причастье сегодня! Дюже чего-то крепкая стала кровь христовая. Рыжичком бы ее соленым закусить. Уж ты, поп, в следующий раз рыжичков вынеси на тарелке» Я и думаю: что за черт? Взял да и попробовал сам. И верно — чисто водка. Дьякон тут рядом стоял, я шепотом и матюкнул его: «Что же ты, сучий сын, с причастьем-то сделал?» Дьякон мне и отвечает: «А ты не сучись. Я еще после обедни с тебя деньги за водку взыщу. Ты бы, говорит, прежде чем служить, посмотрел, всё ли у нас для обедни есть. Я только на донышке бутылки кагору-то нашел. А народу-то звон сколько! Кагором-то только покрасили да еще воды малость плеснули, а то бы и этого не хватило».

После обедни мы с дьяконом поделились выручкой да остаток причастья выпили. Вот тогда я себя человеком и почувствовал: на ту выручку в город и уехал. А жену на земле оставил, — жалко совсем-то от земли себя отрывать. Ты, товарищ хороший, теперь сам раскажи, как с землей у нас будет...

Курбатов ответил ему не сразу. Этот вроде бы смешной рассказ неожиданно предстал перед ним совсем в другом свете. Правда его была не смешной, а страшной. Курбатов подумал о маленьком, скудном, нищем человеческом счастье, пришедшем по воле дурацкого случая. Только так, обманом собрав деньги с прихожан, смог уйти этот мужик от Рубца. Теперь он, конечно, снова мечтает о земле, о том, чтобы тронуть ее своей квадратной, с короткими красными пальцами и потрескавшимися ногтями рукой.

Пока он говорил Пахому о коллективизации, тот одобрительно качал головой, время от времени взмахивая веревочным кнутом. Потом, когда Курбатов замолчал, кучер повернул к нему свое узкое, в крупных и грязных морщинах лицо и с уважением сказал:

— Верная это затея. Ты, полномоченный, полагайся на меня. Я за твое дело костей своих не пожалею. — И добавил, уже с чувством собственного достоинства, но пытаясь казаться равнодушным:

— Верно, только вот... отчаянный я.

Показалась Лемжа.

12

Убогие, почерневшие от времени домишки, серые соломенные крыши, серые заборы, колодцы, дворы... Уже однажды поразивший Курбатова отпечаток серости лежал здесь на всем, словно ничего не изменилось за прошедшие годы. Но так было только на первый взгляд. Вдруг на стене старой, бог весть когда выстроенной избы перед ним возникла вывеска — «Имба-читальня», на другой избе — аршинными буквами объявление о собрании в сельсовете, о новой кинокартине, и это были приметы нового...

Пахом, остановив тарантас возле своего дома, пригласил Курбатова в избу, а сам, не поднимаясь на крыльцо, задумчиво пробормотал:

— Пойду, пожалуй, по соседям.

Жена Пахома — такая же маленькая и тщедушная женщина, с белыми поджатыми губами — проводила Курбатова на сеновал. Но прежде чем уйти и лечь, он долго еще стоял и слушал, как спала деревня, как легкий ветер шуршал в листве да где-то далеко лениво, нехотя погромыхивал гром. С повети доносились знакомые запахи сена, полевых цветов.

Он заснул сразу же, а проснулся оттого, что кто-то ходил по сеновалу. Было уже утро, солнце врывалось через широкие щели золотыми полосами, и в лучах вились пылинки, вились и исчезали, попадая в тень, словно растворяясь в ней. «Проспал», — тоскливо ахнул Курбатов, садясь.

Двое мужиков волочили под руки Пахома. Он со стоном опустился на пол и начал часто икать.

— Что с тобой, Лукич? — встревоженно крикнул Курбатов.

За Пахома ответил один из мужиков:

— Так что, товарищ полномоченный, дела-то Загнеткина бабы здорово потрепали.

— Как потрепали? За что?

— Да так вот, — неожиданно оживился Пахом, морщась от боли. — Смотрю утром: народ в сельсовет идет, ну и я туда. А там, значит, баб насчет колхозной жизни собрали.

— Ты помолчи, Пахом, — оборвал его мужик. — Может, говорить тебе сейчас вредно. Пришел, значит, Пахом в сельсовет, а там собрание... Бабы собрались... Докладчик Иван Карпыч пришел, а председателя Совета всё нет. Ну, Пахом это прямо к столу прется и с докладчиком вместе — за стол. Чего-то пошептались они, а потом Пахом встает и говорит: «Как есть я, говорит, вместе с товарищем полномоченным приехал, значит, он перепоручил мне это собрание». Тут он слово докладчику предоставил. Сказал это свою речь докладчик и сел на место. Опять встает Пахом да и говорит: «А теперь, гражданочки, мы дебаты о новой колхозной жизни устроим». Бабы наши, конечно, городских-то слов не понимают, — мало ли что на дебаты подумали, ну, известно, загалдели они все сразу, закричали на Пахома. Тут Пахом разъяснять им стал: «Дебаты, говорит, гражданки, это всё равно, что разговор: кто, говорит, хочет из вас к новой жизни притолкнуться?» Тут Соколиха, язвенная баба, подходит к столу, подняла сзади подол, да и говорит Пахому: «На, дескать, притолкнись». А Пахом-то возьми и тресни ее кнутовищем по этому месту. Вот и ошалели бабы...

Курбатов, еле сдерживая смех, подошел к Пахому, но тот, покрхтывая, уже поднимался сам.

— Ничего... Отбили мужики-то... Только я вам одно, товарищ полномоченный, доложу: неосознанный они народ, бабы. Ну чисто дети какие. Никаких выгод себе не понимают, пока по голому месту кнутом не распишешься.

— Попробуем без кнута... Только плохо, что ты о собрании меня не предупредил, — сказал Курбатов, выскакивая на улицу. Смех его душил.

Но сразу же уйти в деревню ему не удалось. Жена Пахома, угрюмо стоявшая у забора, потащила его в избу пить чай, и, как он не отнекивался, она настояла на своем: просто вцепилась ему в рукав своими сухими, жилистыми руками; пришлось идти.

Пока он торопливо пил чай, прислушиваясь к

голосам, доносившимся из деревни, женщина сидела напротив него, кулаками подперев шелушащиеся щеки. Он спросил, чтобы хоть что-нибудь сказать:

— Где сейчас Егор Русанов, не знаете? И Ясин...

Женщина нехотя разжала белые губы:

— Да вот Егорку-то вчера и окулачили. Главный из Няндомы и окулачил.

— Карпыч? — удивленно спросил Курбатов, чувствуя, как бледнеет.

— Нет. Главный-то там Савин. Может, знаете, председатель ЕПО у нас был, Евлаха? — Курбатов вспомнил маленькие, клюквенные глазки сюсюкающего человека. — Так вот — его сынок. Сам-то Евлаха после Рубца вторым лавочником в Лемже стал... Да куда вы?

Курбатов, наскоро поблагодарив, выбежал из избы. Улица была пуста, и только в конце толпился народ. Он еле сдерживался, чтобы не побежать, понимая, что подойти надо к людям спокойно, деловито и сказать что-то такое, от чего они сразу бы стали внимательными к нему.

Еще издали он увидел шалаш напротив русановского дома, а возле шалаша плачущих женщин и детей. Он не выдержал и побежал.

От толпы отделились двое: в одном из них Курбатов сразу узнал Карпыча. Другой — высокий, размахивающий руками, обогнал Карпыча и пошел навстречу Курбатову с радушной, безмятежной улыбкой.

— А, приехали... Мы вас будить не хотели. Савин, из окружкома.

Карпыч, подойдя к Курбатову, засопел, облапил его и, тиснув пару раз, отпустил, почему-то краснея.

— Ну, вот и... хорошо, — буркнул он, отворачиваясь. Савин уже торопил Курбатова:

— Идемте, идемте, дел неспорно. Вон одну миродскую семью уже раскулачили, сейчас дальше пойдем...

Курбатов подошел к шалашу. Перед ним, бессильно опустив руки, стояла жена Русанова — Устя; двое ребят в рубашонках орали, вцепившись в ее юбку, размазывая кулачками слезы.

— Устя, где Егор? — тихо спросил Курбатов.

— Там, — ответила она, не двинувшись, и Курбатов понял, что «там» — это в шалаше, потому что шалаш

был теперь их домом, взамен того, который стоял напротив и в котором сейчас ходили — это было видно через окна — какие-то люди.

Он подошел к шалашу. Егор сидел на деревянном чурбане, спиной к входу, закрыв руками лицо, и плечи у него мелко дрожали. Курбатову редко приходилось видеть, как плачут мужчины, и ему стало жутко. Он дотронулся до трясущегося плеча:

— Как же это... — выдохнул Курбатов. — Егор, да скажи ты... Как это всё... Почему?

— Да так, — не узнавая Курбатова, ответил тот. — Чего уж...

Присмотревшись, он в изумлении провел жесткими ладонями по воспаленным глазам и встал:

— Это ты?.. Ах, ты... Яша... Милый, как хорошо-то... Ах ты, господи... — забормотал он. Курбатов, надавив ему на плечо, снова посадил его на чурбан, потребовал:

— Рассказывай!

— Чего ж рассказывать-то... Верно, прошлый год в страду держал батрачку, было это. А как не держать. Раненый я. Устю в город свез, в больницу... А тут косить, жать надо... Да еще детишков двое у меня — не котята, не кинешь. Вот за то и в кулаки попал. Ты спроси у батрачки-то... Как родная у меня живет... Всё пополам...

Курбатов, с трудом разомкнув сведенные яростью челюсти, вышел из шалаша.

Перейдя улицу, он толкнул дверь в палисадник и пошел к дому. Савин побежал за ним. Уже на крыльце он торопливо принялся объяснять, что здесь будет правление колхоза, и когда Курбатов обернулся к нему, Савин, дружелюбно улыбнувшись, спросил:

— Верно придумано?

— Вы кто такой? — вдруг грубо спросил Курбатов, не замечая, что те, кто стоял на улице, следовали за ним и остановились, когда остановился он.

— Кто? Я? — полуудивленно, полуобиженно спросил Савин. — Как это «кто»? Представитель округа. Мандат есть, могу показать.

— Сволочь ты, — тихо сказал Курбатов. — Понял? Сволочь.

Схватив Савина за лацканы пиджака, он легко стряхнул его со ступенек вниз, прямо в объятия Карпы-

ча. Тот, поставив Савина на ноги, в свой черед толкнул его дальше и, тяжело поднимаясь по ступенькам, пробурчал:

— Я то же самое ему говорил... Покрепче только... Письмо в окружном уже послал. Убрать его отсюда надо.

Курбатов не слушал его. Люди расступились, пропуская вперед Устю с детьми. Ребята шли притихшие, испуганные и вместе с тем любопытно поглядывали по сторонам.

Устя вошла в сени. Курбатов слышал, как она хлопнула дверью в горницу; из-за окна донесся ее резкий голос:

— Наследили-то как, господи... Да отцепитесь вы от меня, ошалелые, — не видите, прибираться надо.

Все молчали, а Курбатов, медленно спускаясь с крыльца, думал, что это только начало, и будет трудно, очень трудно.

* * *

Русанов, будто наверстывая упущенное, дневал и ночевал в сельсовете, проводил вместе с Карпычем собрания, ходил по домам, кого-то уговаривал, кому-то доказывал, с кем-то ссорился. Курбатов время от времени поглядывал на него веселыми, хитроватыми глазами.

Но пора было приниматься и за Рубца, и за Бахвалова: собранием бедноты было решено раскулачить их в первую очередь. Ни того, ни другого Курбатов еще не видел: Бахвалов жил на хуторе, а Рубец на улицу не выходил не только сам, но и запретил показываться кому-либо из семьи.

Настроение у Курбатова упало, когда нарочный из Няндомы доставил ему письмо. Писал Данилов. Пробежав первые строчки, Курбатов поежился: слова были резкие и беспощадные:

«...Тебя послали в округ, а не в Лемжу. Учти, что в деревнях, как сообщает Лукьянов, режут скот. Обрати первое внимание на это, а уж потом на раскулачивание, если не можешь обращать внимание на то и другое одновременно. Громить же кулака должны все, а не ты один — тоже учти. Если всем миром на него не навалиться — значит, загубить дело. А ты единолично решаешь вопросы. Мне Савин доложил. Проведи со-

брание бедноты, пусть она решит — следовало раскулачивать Русанова или нет. В следующий раз за самоуправство не только снимем, но и обсудим на бюро...

Короче говоря, помни не только о том, что ты делаешь и как делаешь. Помни и о том, что каждую твою ошибку будем рассматривать круто. Сейчас каждая ошибка — нож острый».

Курбатов не мог ничего возразить Данилову, надо было ехать. Но, тем не менее, он решил остаться еще на один день — на тот день, когда будут раскулачивать Рубца. И Курбатов — коль скоро это было в его силах — поторапливал события.

...Утро выдалось на редкость ясное; высоко в небе, как огромные рыбы в тихой речной заводи, стояли вытянутые неподвижные облака, и невидимое еще с земли солнце уже играло в них, переливалось, отсвечивая по краям ровным розовым светом.

Даже не верилось, что под этим тихим и ласковым небом, под этими замершими в безветрии облаками, и именно сейчас, в это ясное утро, когда птицы с бронзовых верхушек деревьев многоголосно приветствуют зарю, происходит то, о чем мечтали многие поколения мужиков — нищих, темных, забитых, голодных.

В группу, которая шла раскулачивать Рубца, втерся Пахом. Он шел впереди всех, как мельница размахивая руками и крича, что дом Рубца вообще надо раскатать по бревнышку, а его самого, Рубца то есть, пустить в расход, потому что такая гнида всё равно устроится и будет жить по-своему.

У Курбатова он потребовал, чтобы ему выдали наган, потому что хоть он, Пахом, и отчаянный («У кого хошь спроси»), но нерезонно лезть с колом против берданов Рубцова, а у него берданов три. Нагана ему Курбатов не дал, но, скрывая смех, посоветовал:

— Ты бы не ходил, Лукич. Нам с тобой вечером ехать надо, а, глядишь, тебе остатки бороды выдерут.

Лукич рассердился и пошел просто так.

Карпыч и Курбатов шли сзади всех. Оба молчали. Первым заговорил Карпыч:

— А знаешь... Вот иду и волнуясь...

— Чего ж волноваться-то? Тебе волноваться нельзя, Карпыч. Я уеду — ты здесь один останешься. Ошибку сделаешь — партийным судом судить будут.

— Это я знаю... А вот всё равно волнуюсь. Потому волнуюсь, что не знаю еще, как вести себя буду. Ты, в случае чего, придержи меня... С Рубцом-то у меня старые счеты.

Курбатов рассмеялся, откидывая голову:

— Ты попроси его угостить тебя... из твоей же братины.

— Тебе всё смешки, — недовольно проворчал Карпыч. — Чего это там твой кучер орет?

Курбатов прислушался. Идущий впереди Пахом, размахивая руками, остановился возле рубцовского дома и, повернувшись, кричал:

— Мне, мне доверьте... Чую, суждено мне всё на этих плечах вынести.

Видимо, в доме их уже ждали. Тимоха Рубец, в одной майке, колот на дворе поленья, мягко играя тяжелым колуном. Он даже не поглядел на Пахома; когда тот, осторожно приоткрыв калитку, вошел в палисад, Тимоха, яростно рубанув толстое полено, бросил колун и поднялся в дом. Пахом, отскочив в сторону, споткнулся и упал: ему показалось, что Тимоха метнул в него колуном. Падаая, Пахом в кровь разодрал себе руку о забор и теперь, мелко дрожа, обращался то к одному крестьянину, то к другому:

— Видали? Видали, а? Ка-ак он в меня... Подтвердите перед полномоченным, что первые-то удары я на себя принял, что если б не я...

— Молчал бы, брехун... — сказал кто-то.

Вместе со всеми Курбатов вошел в избу и вздрогнул. Светила возле образов лампада. Под образами, в мягком кресле, обтянутом малиновым бархатом, сам Рубец, недавно выпущенный из тюрьмы, где он сидел за нападение на Курбатова. Рубец, сдвинув очки на нос, читал учебник по политграмоте Коваленко; он отложил его нехотя, будто досадуя, что ему помешали каким-то назойливым, но мелким и не заслуживающим его внимания делом.

— Раскулачивать пришли? — спокойно спросил он, не вставая. — Что ж, власть теперь ваша и сила ваша, открыто грабить можно.

Один из бедняков, Назар Новый, ответил ему так же спокойно, но с усмешкой:

— А мы не грабить пришли, а выполнять постановление собрания бедноты.

— Кого-о? — протянул так же насмешливо Рубец. Курбатов только удивился его выдержке. — Бедноты, говоришь? Это голи-то перекаточной? Нет, дядя, если бы власть вам таких прав не дала да вот этих двух (он быстро кивнул на Курбатова и Карпыча) не было, так вы бы ко мне еще с поклоном пришли. Поди, ведь если я сопротивляться буду, то вы еще милиционера призовете... Вот то-то и оно! Ну что ж, приступайте... С богом, как говорится.

И он широко, истово перекрестился на тусклые образа.

Бедняки, пришедшие сюда, чувствовали себя смущенно — топтались на месте, оглядывали сундуки, пузатый комод, шкаф... Пришлось вмешаться Карпычу. Вытащив из кармана замусоленную тетрадку и огрызок карандаша, он басовито сказал:

— Что ж, начнем с описи, благо хозяин разрешает.

Тимоха Рубец безучастно сидел на лавке и, наклонив голову, перебирал лады своей гармошки. Казалось, его ничего на свете не интересует, кроме этих звуков, свободно вырывающихся из-под пальцев. И когда Назар Новый, подойдя к нему, положил на гармошку руку, Тимоха спокойно, даже лениво поднялся, положил инструмент на лавку и, коротко развернувшись, страшным ударом сбил Назара с ног.

— Дурак, — равнодушно заметил из своего кресла отец. Он даже не пошевелился, когда Тимохе скрутили руки и вывели из избы.

Вдруг в светелке за перегородкой раздался отчаянный, полный смертельной тоски женский вой. Курбатов, рванув из кармана наган, прыгнул к дверям и открыл их носком сапога: там, в каком-то диком клубке катались по полу трое. На секунду мелькнуло искаженное лицо жены Рубца, затем другое — дочери и бледное, но торжествующее лицо Пахома. Женщины выли, а Пахом, тяжело дыша, норовил забраться за ворот то к одной, то к другой:

— А-а, стервы!

Курбатов еле оттащил его и припер к стенке.

— Растяпы вы! Их держите, а не меня! Ох, растя-

пы!.. Ты посмотри, товарищ полномоченный, что у них за воротом-то, посмотри...

— Чай, не маленький, и так знает, — заметил кто-то.

— Юрод несознательный, — огрызнулся Пахом. — Врешь, меня не проведете! Я ученый да отчаянный, знаю, где рубцовские часики и сахарница. Ишь ты, куда зачихали!.. У, стервы кулацкие!

Бабы снова завыли, божась, что никаких часов у них нет, а Пахом полез к ним из озорства. Дед рассвирепел. Яростно выругавшись, он выпучил глаза, стараясь найти какие-то необычайные, насмерть уничтожающие слова — и, наконец, нашел их:

— Я когда в городе у полковника в денщиках проживал, то с графьями, может быть, амуры крутил. А тут с этим дерьмом буду лапаться. Тьфу!

* * *

Вечером в сельсовете Курбатову дали сводку о переписки скота в Лемже. Оказалось, что за несколько дней было забито больше половины коров, свиней и овец. Карпыч, заглядывая в сводку через плечо Курбатову, угрюмо молчал, и Курбатов понимал его: ему ведь тут оставаться, а много ли сделаешь, когда скот бьют направо и налево, лишь бы только не вести его в общий хлев. «Плохо разъяснили людям, — подумалось ему с горечью. — Не поняли... Душой не почувствовали».

И хотя люди в колхоз всё же шли, хотя на столе у Егора Русанова уже лежала стопка заявлений, и он, получая новое, каждый раз перекладывал свое заявление наверх, этого было мало: крайком требовал, чтобы в колхозы были записаны все, кроме кулаков, разумеется.

Положение в районе было напряженным. По дороге Курбатов вытащил последний номер краевой газеты, который за делами еще не успел посмотреть, и, раскрыв его, увидел большой, через всю полосу заголовок: «Превратим Лемжинский район в единый колхоз с восьмидесятитысячным населением!» Бросилась в глаза фотография — какие-то крестьяне толпились у стола, протягивая то ли председателю сельсовета, то ли уполномоченному окружкома заявления о приеме в колхоз. Много места в газете было занято статьей, тоже безымян-

ной, словно автор постеснялся поставить свою подпись под этой писаниной. Курбатов зло сунул газету обратно в карман. Вот бы сюда этого писаку — посмотрел бы он, как «легко уговорить, убедить и привлечь массы, которые уже забыли привычки одиночек и душой давно стремятся к коллективизму». Тут пуд соли надо съесть, чтобы уговорить... а пока этот пуд съешь, пройдут установленные крайкомом сроки. И всё же Курбатов торопился...

В одной из деревень он остановил свой тарантас возле плотной толпы кричащих и плачущих женщин. Несколько женщин подскочили к тарантасу и, вытирая слезы, наперебой стали что-то выкрикивать, но что — он так и не мог разобрать.

— Да не все сразу! — крикнул он, стараясь придать голосу тот полусерьезный, полущутливый тон, который обычно действует успокаивающе.

Оказалось, что здесь, в селе с древним и непонятым названием Челмохта, обобществили всех коров, согнали их в один хлев, вот бабы и дежурят с утра, каждая проверяет, как за ее коровой ухаживают, вовремя ли доят. Каждая приносит своей буренке гостинцев — то болтушку, то хлебных корок с солью. Дояркам, конечно, житья нет. Бабы ругают их почем зря: то они корову плохо накормили, то водой обнесли, то сильно за дойки дергают...

Курбатов вылез из своего тарантаса, и бабы, догадываясь, кто он такой и зачем пожаловал сюда, начали верить ему свои обиды:

— Неверно это, последнюю корову отбирают. У меня пятеро детишков, видишь... Кормить эту ораву не знаешь чем...

— Или птица, вот еще беда с ней. Помещений у нас для птицы нет. Разбегаются куры по домам и несутся. Для колхоза убыток один. С кочетами не знаем что и делать. Передрались, в кровище все... Намедни Домнин кочет выбил глаз Маришкиному петуху, так ведь сами бабы, Домна с Маришкой, сцепились...

Постепенно вокруг Курбатова, незаметно для него, собралось человек пятьдесят: молва о том, что приехал еще какой-то уполномоченный, быстро облетела село.

Курбатов отвечал на вопросы неторопливо, тща-

тельно выбирая слова. Не потому, что так говорил Данилов, которому он любил подражать, а потому, что понимал — говорить надо только так, обдумывая каждое слово, с тем, чтобы оно не прошло мимо, а запало в душу и пустило бы там свой, пусть маленький пока, росток.

— Привыкли к своему вы: моя корова, моя свинья, мой кочет, мой гусак... К клочку земли привыкли. Знаю, трудно от таких привычек отказываться. А надо. Нельзя ведь, чтоб крестьянские хозяйства оставались мелкими, единоличными. Погибнем тогда все. А так — город даст вам технику, трактора придут...

— Соловья баснями не кормят, — хмыкнул кто-то.

— А это не басни, — спокойно возразил Курбатов. — Вот я, например, сам из рабочих, родом из Печаткина, — слышали такой городишко? Так вот, в этом городишке сейчас тракторный завод строится...

— Улита едет!..

— ...И строится быстро. Через год он уже даст первые машины — вот-те и басни.

— Выходит, обязательно нужно записываться в колхоз? — пригорюнившись, детским голоском спросила какая-то старая бабка, еле стоявшая на ногах. Курбатов посмотрел на нее и расхохотался. Смеялся он заразительно, звонко, откидывая назад голову. Стоявшие рядом заулыбались, какая-то девушка довольно громко сказала: «Складный мужик, а? Такого бы захоронить», — и тогда засмеялись все: то ли замечанию бабы, то ли потому, что смеялся веселый «полномоченный». И Курбатов подумал внезапно о том, что никогда не надо унывать, что бы ни случилось, с улыбкой должен жить на земле человек!..

Однако, хотя Курбатов и старался развеселить себя и окружающих его людей, на душе у него было неспокойно и тревога не отпускала его.

* * *

Он устал до такой степени, что не заметил, как уже подкралась осень, встали в полях желтые скирды, бурым листом покрылась ольха...

Он словно новыми глазами смотрел на мир в этот вечер, сухой и ясный, когда тарантас с усталым Пахомом

на облучке тащился обратно в Лемжу. Стервец — старый и норовистый мерин — шел нехотя. Когда раздался из придорожных кустов выстрел и Пахом, тихо охнув, сполз под колеса, лошадь понесла. Второго и третьего выстрелов Курбатов уже не слышал: вдруг что-то тупое, сильное, совсем небольно ткнуло его в бок... Повернулись и опрокинулись небеса, потускнел диск солнца, и он провалился в теплую оранжево-зеленую муть.

Так и влетел тарантас в Лемжу — без возницы, с полумертвым седоком, лежавшим в луже крови.

13

Данилова не было в городе, и Курбатову удалось настоять, чтобы его выписали из больницы. Два дня он прожил дома, тоскуя без Тани (жена возвращалась поздним вечером), без всяких забот, дел, и не выдержал: на третий день сбежал. Ходить еще было больно: каждый шаг отзывался в простреленном боку. Но он шел, прислушиваясь, как скрипит под ногами снег, как свежий, морозный воздух легко входит в него, пощипывает лицо, — и ему было хорошо. Он словно впервые видел всё вокруг себя и глядел на всё с какой-то восторженностью, любясь жизнью и удивляясь ей.

Сначала он зашел в облкомол. Здесь было пусто, ребята разъехались по деревням: недавно было проведено новое районирование на области и районы. Управделами, необычайно серьезная девушка, встала, когда он вошел, и, будто с ним ничего не произошло, будто он не был здесь день или два, доложила о том, что сегодня должен быть областной актив и ему, Курбатову, надо на нем присутствовать. «С корабля на бал», — рассмеялся Курбатов; управделами глядела на него по-прежнему строго и без улыбки, а ему хотелось, чтобы все кругом него улыбались.

Впрочем, он знал, что особых улыбок не будет, особенно на активе. В крае — и об этом сурово писала «Правда» — был допущен в первые месяцы коллективизации левацкий загиб.

Курбатов, еще в больнице несколько раз подряд прочитавший газету, почувствовал, что всё это в полной мере касается и его. То, о чем он смутно думал, что

видел, но не мог осмыслить, встало теперь на свое место. Надо было называть вещи своими именами, и он нашел имя той торопливости, спешке, с которой работали все, — искривление линии партии. Он не испугался этих слов, не попытался заменить их какими-нибудь другими, более мягкими. В самом деле, разве не он, а кто-нибудь вместо него одобрил действия бригады в Челмохте, и сам еще писал об этом в обком? Это ведь он говорил с женщинами, уговаривал их, не поняв справедливости многих требований крестьян.

Курбатов крепко зажмурил глаза... «А ведь она была права, та женщина, которая говорила о последней корове. И как он, Яков Курбатов, сам вдосталь хлебнувший шилом патоки, мог в общем-то спокойно слушать ее... Неужели только потому, что на всё это была директива крайкома, директива Баранова?..»

На актив он пошел, попросив управделами забросить к нему домой записку. Простреленный бок ныл, Курбатов уже не улыбался, морщился от тупой, тянущей боли и ругал себя за то, что пошел: в конце концов, никто не мог сказать, что он уклоняется от возможных неприятностей.

Все знакомые, пришедшие на актив, подходили к нему, спрашивали, как здоровье, один только Лукьянов, сев рядом с ним, обнял его за плечи и, осторожно прижав к себе, шепнул:

— Не надо было приходить, родной. Разнервничаешься. Сегодня тут черт знает что будет... Слышал — Баранов приехал? А он, знаешь...

Курбатов кивнул: знаю.

Прошлая (и пока единственная) встреча с секретарем крайкома произвела на него удручающее впечатление.

Это впечатление не исчезло, не сменилось другим, когда актив начался, и Баранов, выкидывая вперед кулаки, начал ругать райкомы. Слова были резкие, хлесткие, во многом справедливые, но Баранов даже звуком не обмолвился о вине крайкома. Лукьянов снова шепнул: «Чуешь, куда гнет, а? Чуешь?.. Местные работники»...

Баранов закончил свое выступление так:

— Товарищи! Сущность большевистской критики и самокритики заключается в том, что если нашелся

дурак, то и назови его дураком; если появился осел, то и назови его ослом. Я и призываю вас сегодня, товарищи, выступить с такой критикой, с критикой, невзирая на лица.

Как не уговаривал Лукьянов Курбатова, тот не смог удержаться, чтобы не выступить в прениях: послал в президиум записку. И когда ему дали слово, когда он поднялся на трибуну, Баранов злорадно и громко сказал:

— А, герой! Расскажи, расскажи активу, как ты загибал в районе. Всю птицу в Челмохте в колхоз записал!

— И расскажу! — пожал плечами Курбатов. Он подождал, пока утихнет вспыхнувшая боль, и, повернувшись к залу, начал тихо, чтобы не сорваться: — Я признаю, что мы в районах действительно оказались «ослами», как об этом только что сказал секретарь крайкома. Но сегодня я хочу, чтобы все подумали о том, почему мы оказались ими. Мы «ослами» оказались потому, что выполняли директивы тех людей, которых секретарь крайкома так почему-то и не назвал.

Вынув из кармана решение пленума крайкома, где были и колхозы-гиганты, и сжатые сроки, и «поголовный охват», он прочитал его вслух и, сунув листок обратно, заметил:

— Вот, товарищи, и судите, кто в этом деле был «дурак», а кто был «осел».

В зале послышался смех и аплодисменты. Побледневший Баранов, резко повернувшись, крикнул:

— Что же, по-твоему, крайком «дурак»?

— А это сам актив разберется, — невозмутимо ответил Курбатов.

— Ах ты, молокосос, сопляк! — не удержавшись, грохнул по столу ладонью секретарь крайкома.

Курбатов снова пожал плечами:

— Не пугайте, товарищ Баранов. Да, возможно я еще молокосос, но сопли вы мне своевременно не вытерли, как это делает каждая мать, если у ее малого сына они текут... А потом, «молокосос» — это еще не доказательство... Не по годам быют, а по ребрам, товарищ Баранов.

В зале снова вспыхнул веселый смех: Баранова не любили.

На другой день Курбатова вызвали на бюро обкома; Данилов еще не приехал, а на бюро присутствовал Баранов. Курбатов, чувствуя, что дело принимает крутой оборот, решил держаться до последнего. Но о таком обороте он не мог даже предполагать. Баранов, усмехаясь, сказал:

— Сегодня мы тебе и по годам и по ребрам как следует набьем. Я предлагаю немедленно снять Курбатова с работы и направить в распоряжение крайкома. Его надо научить уважать старших, уважать партию.

Курбатов, усмехнувшись в свой черед, спокойно ответил:

— Вы же сами, товарищ Баранов, сказали активу о сущности большевистской критики и самокритики. А что же получается: критиковать ни вас, ни крайком нельзя. Меня всю жизнь учили уважать старших, но тех, которые правильно понимают и проводят линию партии. То, что с этой работы меня снимают, я даже приветствую: сейчас трудно мне это. А поехать — я никуда не поеду. Если бы это было действительно необходимо для партии, то я бы хоть на луну полетел. Но все видят, что это только месть с вашей стороны за критику, и в крайком я не поеду. Я прошу или откомандировать меня в распоряжение Цекамола или отпустить работать на производство слесарем.

Баранов, обращаясь ко всем, хмыкнул:

— Видишь ты, ерш какой. Ну да из ершей уха хорошая бывает.

— Я для уха не гожусь. Я и в ухе критиковать буду.

— Ладно, черт с тобой, иди работать на производство, раз сам желание изъявил. Может, дальше из тебя еще и толк выйдет.

Члены бюро задвигались, зашумели, но Баранов, предупредительно постучав карандашом по столу, тихо спросил:

— Что такое? Дисциплина, товарищи, дисциплина... Данилов сам писал вам об освобождении Курбатова, кажется?

Курбатов вспыхнул. Единственное, о чем он действительно жалел сейчас, — это о том, что здесь не было Данилова.

Впрочем, директор машиностроительного завода Ро-

дин, откинувшись на спинку стула, сказал, в упор глядя на Баранова:

— Я полагаю, что вопрос еще не решен. Мы не голосовали. А во-вторых, отпустит ли Курбатов ЦК комсомола?

— Что же вы предлагаете?

— Я против скоропалительности и за коллегиальность, — отрезал Родин. Тогда секретарь крайкома встал. Он прошел до дверей, от них — к окну и, повернувшись к членам бюро, заложив руки за спину и слегка расставив ноги, тихо и жестко произнес:

— Отпустит ли ЦК — это моя забота, а не ваша. Предложение об освобождении Курбатова прошу голосовать в порядке партийной дисциплины.

Родин и еще двое членов бюро рук не подняли. Курбатов, встретившись ненавидящим взглядом с Барановым, медленно встал и пошел к дверям. Его пошатнуло: закружилась голова. Родин быстро подскочил к нему, крепко взял под руку и помог выйти. Так они и вышли на улицу — вдвоем.

* * *

Данилов пришел неожиданно, поздней ночью, и Таня, запахивая свой халатик на большом, круглом животе, металась по комнате, готовя хоть какой-нибудь ужин.

— Ты меня прости, — басил он, устраиваясь поудобней на шатком стуле. — Раньше никак не мог. Ай да Таня — скоро, значит, мамой будешь? Не красней, дело святое. Ну, а ты как, всё переживаешь? Не переживай, не надо...

Курбатов смотрел на секретаря обкома, на его доброе, темное от усталости лицо, и не верил, что этот человек, к которому он привязан всей душой и за которым готов идти действительно в огонь и в воду, — что этот человек сам писал членам бюро о его снятии...

Лукавить было незачем; молчать и ждать, пока Данилов сам об этом заговорит, — тоже; Курбатов спросил его, правду ли говорил Баранов на бюро обкома.

Данилов, отпивая мелкими глотками теплый чай, кивнул:

— В общем — правду. Только ведь и правду по-своему повернуть можно. Баранов так и повернул. Я писал, чтобы тебе пока нашли другую, менее утомительную работу. В дальнейшем я рассчитывал перевести тебя в партийный аппарат. Но Баранов, видимо, рассудил иначе...

Курбатов, приподнявшись на локте, слушал его, сдерживая волнение. То, о чем думал он еще робко, осторожно, теперь начинало приобретать вполне определенные формы:

— Значит — личные счета и ничего больше? Личные счета, в результате которых любой работник может быть отстранен?

— Значит, так, — усмехнулся Данилов.

— Но ведь это... — Курбатов задохнулся. Секретарь обкома, допив чай, отодвинул стакан и повернулся к Курбатову так, что стул жалобно заскрипел под его грузным телом:

— Ты хочешь сказать, что это нарушение ленинских принципов? Да, так оно и было в этом случае. И не только в этом. Я сегодня приехал с пленума крайкома; видел бы ты, как вел себя Баранов! А вокруг него угодничают, либо запуганные, либо подхалимы. Так что он даже сам морщится. Он, конечно, работник энергичный, знающий, образованный, но...

— И спорить с ним нельзя? — усмехнулся Курбатов.

— Нет, почему же, можно. Только вот ты поспорил и увидел, что из этого получается. Кстати, Родин уже снят с работы как несправившийся, снят решением крайкома, а вернее, одного Баранова. А всё потому, что за тебя заступился. Я вот, — он грустно усмехнулся, — тоже с ним спорил и за тебя заступился. Обещал ему поднять этот вопрос в ЦК. Знаешь, что он мне ответил? «Ты, — говорит, — Данилов, не ересься. Ты про старые методы руководства забудь. Сейчас наступает такое время, когда нам нужна одна сила — сила авторитета». Тут я, откровенно говоря, испугался и не стыжусь признаться тебе в этом...

Он оборвал себя: ему было больно говорить дальше, и Курбатов понял это.

Когда Данилов спросил его: «Ну, а теперь как думаешь жить?» — Курбатов понял, что вопрос этот задан неспроста и что секретарь обкома уже сам подумал

над тем, как будет жить и что делать Яков Курбатов. Он ответил, отворачиваясь к стене:

— Как? Я всё-таки слесарь. Плохой ли, хороший... Уеду в Печаткино.

— Значит, в кусты? — тихо сказал Данилов. — Или фордыбачишься? Мол, сняли — так я вообще больше пальцем о палец не ударю. Для кого не ударишь? Для партии? Не позволим.

Голос у него стал неожиданно жестким, в нем появились знакомые Курбатову твердые нотки — первое свидетельство того, что Данилов недоволен человеком. Курбатов посмотрел ему прямо в глаза и так же тихо спросил:

— А вы думаете, мне Баранов даст работать? Нет, не даст.

— Пока что не на одном Баранове свет клином сошелся, — с теми же нотками в голосе ответил Данилов. — Как выздоровеешь — поедешь в Печаткино. Обком будет рекомендовать тебя секретарем парткома на комбинате. Думаю, коммунисты тебя выберут: ты у них вырос.

Он встал и начал ходить по комнате, — давнишняя привычка в минуты раздумий. Комната была мала для его шагов, и он едва поворачивался между шкафом, кроватью и диванчиком, продолжая говорить, будто рассуждая вслух с самим собой:

— Будет трудно... Чухалин постарел, характер у него переменялся. Он считает, что ему на комбинате дано право осуществлять и свои, административные, и заодно партийные функции, как старому большевику. Так сказать, един во двух ипостасях. Думаю, и нынешний секретарь парткома будет не очень рад тебе. Конечно, Булгаков и слова не скажет, но червячок его грызет: как так! Мальчишку прислали!

Он всё ходил, всё говорил, и Курбатов слушал его, не отдавая себе отчета в том, что всё это — его собственные, Курбатова, мысли, желания, и что он действительно мальчишка еще, раз мог так «фордыбачиться»: слесарем, слесарем...

— ...Но главное не в этом, — продолжал Данилов. — Печаткино — уже город. Город, который растет. И производство растет. На комбинате же дел уйма, производительность низкая, планы не выполняются... В Мос-

кве кое-кто начинает говорить: нерентабельно. Короче говоря, не на курорт поедешь.

Он ушел через час, оставив у Курбатова ощущение какой-то необычайной легкости и уверенности в том, что трудности в конце концов вещь преодолимая, а главное — что люди думают о нем, помогают и помогут ему, как и он думал о них и помогал им...

На прощание, пожимая Курбатову руку, Данилов вдруг задумчиво, даже с какой-то грустью качая головой, сказал то ли удивленно, то ли с сожалением:

— Комса, комса, как ты выросла!